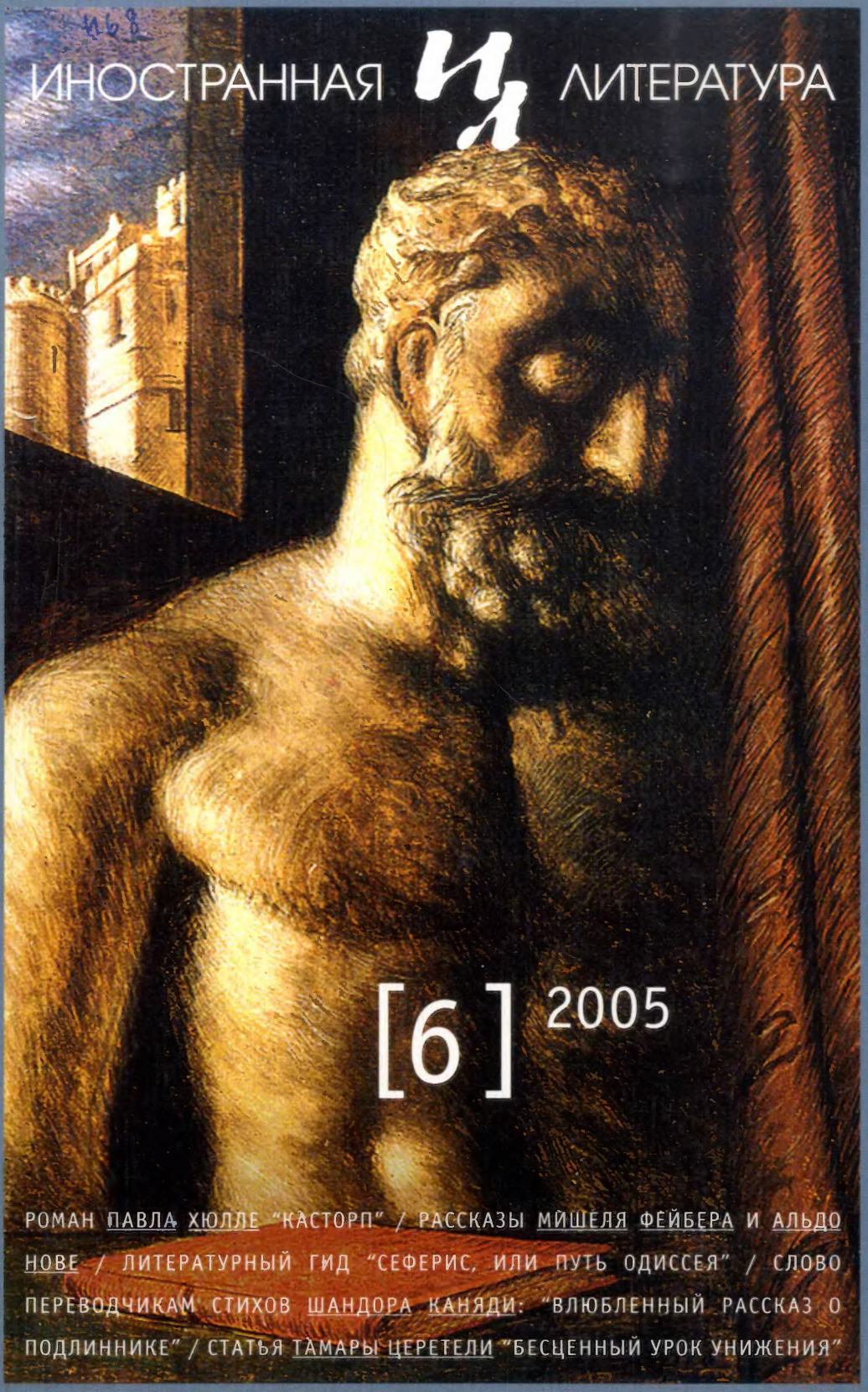
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[6] 2005

РОМАН ПАВЛА ХЮЛЛЕ "КАСТОРП" / РАССКАЗЫ МЙШЕЛЯ ФЕЙБЕРА И АЛЬДО НОВЕ / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "СЕФЕРИС, ИЛИ ПУТЬ ОДИССЕЯ" / СЛОВО ПЕРЕВОДЧИКАМ СТИХОВ ШАНДОРА КАНЯДИ: "ВЛЮБЛЕННЫЙ РАССКАЗ О ПОДЛИННИКЕ" / СТАТЬЯ ТАМАРЫ ЦЕРЕТЕЛИ "БЕСЦЕННЫЙ УРОК УНИЖЕНИЯ"

Основан в 1891 году

До конца года в "ИЛ" будут напечатаны:

"Молодость" — во многом автобиографический роман южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии ДЖ. М. КУТЗЕЕ, проникновенное повествование о взрослении, утрате иллюзий и попытке разобраться в собственном "я".

"Комплекс Ди" — удостоенный премии "Фемина" роман известного французского писателя китайского происхождения ДАЙ СЫ-ЦЗЕ, где любовь и коррупция, психоанализ и древние традиции сплавлены в причудливый пейзаж современного Китая.

"Мечты о женщинах, красивых и средних" — первый, но не публиковавшийся при жизни автора, роман классика английского авангарда СЭМЮЭЛА БЕККЕТА. Главный герой романа (и по совместительству — alter ego 26-летнего Беккета) Белаква Шуа колесит по Европе, много философствуя, а еще больше — предаваясь любви и размышлениям о ней.

"Доплер" — последний роман самого читаемого сейчас в мире норвежца ЭРДЕЖДА ЛУ, автора книги "Наивно. Супер", ставшего одним из манифестов нового поколения.

"Две точки зрения" — роман УВЕ ЙОНСОНА, известного немецкого прозаика, эмигрировавшего из ГДР на Запад. Это история нелегального перехода через восточногерманскую границу, рассказанная двумя ее участниками: медсестрой из Восточного Берлина и ее другом, западным немцем, который пытается помочь ей бежать.

"Как я стал идиотом" — роман двадцатитрехлетнего французского писателя Мартена Пажа о молодом человеке, мечтавшем быть "как все".

"Педант на кухне" — книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА. В новом для себя жанре писатель преуспел, щедро сдобрив "блюда" иронией и литературными аллюзиями. Читатель получает возможность насладиться интеллектуальной стряпней, приготовленной по всем правилам кулинарного искусства.

Рассказы РАЙНЕРА МАРИИ РИЛЬКЕ, ТРУМЕНА КАПОТЕ, АРТУРА МИЛЛЕРА, КАРЛОСА ФУЭНТЕСА, ГОРАНА ПЕТРОВИЧА, СЭМА ШЕПАРДА и др.

"Дикие лебеди, или Три дочери Китая" — отмеченный литературными премиями документальный роман писательницы-эмигрантки ЧЖАН ЖУН о трех поколениях женщин ее семьи, живших в "старом Китае", при Гоминьдане и Председателе Мао.

"Письма молодому романисту" — главы из книги известнейшего перуанского писателя МАРИО ВАРГАСА ЛЬОСЫ, где он делится секретами литературного мастерства с теми, кто решил посвятить свою жизнь искусству.

"Сказать почти то же самое" — фрагменты книги знаменитого итальянского ученого и писателя УМБЕРТО ЭКО, посвященной проблемам перевода.

Литературные портреты: ЖАН-ПОЛЬ САРТР, ЭЛЬФРИДА ЕЛИНЕК, АНТОНИО МУНЬОС МОЛИНА и др.

В десятом, юбилейном, номере (в этом году нам 50 лет!) наш читатель встретится с неизвестными доселе произведениями крупнейших писателей прошлого и нынешнего веков.

[6]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Мишель Фейбер *Рассказы.* Перевод с английского Ильи Кормильцева

30 Павел Хюлле *Касторп.* Роман. Перевод с польского К. Старосельской

137 Альдо Нове *Рассказы из сборника "Самый большой мертвый кит Ломбардии".* Перевод с итальянского Геннадия Киселева

Литературный гид *Сефериса, или Путь Одиссея*

154 Георгос Сефериc *Подражание Г. С.* Перевод с новогреческого Ирины Ковалевой

156 Ирина Ковалева *"Куда бы я ни пустился, Греция ранит меня...": странствие Сефериса*

173 Г. Сефериc *Мифосказ.* Перевод М. И. Гаспарова и Е. Л. Светличной

186 В. Аристов *Посол и посланник.* "Южноафриканский дневник" Сефериса, предчувствие "Кихли"

193 Г. Сефериc *"Кихли".* Перевод В. Аристова

200 Г. Сефериc *Сценарий для "Кихли".* Перевод Ирины Ковалевой

212 Г. Сефериc *Письмо другу-иностранцу.* Перевод Ирины Ковалевой

220 Г. Сефериc *Прогулки с Гомеровыми гимнами.* Перевод Ирины Ковалевой

235 *Библиография переводов Г. Сефериса на русский язык.* Составила И. Ковалева

Статьи, эссе

236 Тамара Церетели *"Бесценный урок унижения"*

Трибуна переводчика

246 *"Влюбленный рассказ о подлиннике".* Слово переводчикам стихов Шандора Каняди

Письма из-за рубежа

254 Геннадий Киселев *Скромное очарование перевода. Премия "Гринцане Кавур" как итальянское зеркало русской литературы*

Среди книг

257 Николай Мельников *Франкенштейниана Лоренса Даррелла: от абсурдного к банальному.*
Наталья Ванханен *Встреча через годы*

БиблиофИЛ

264 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

266

Авторы номера

269

© "Иностранная литература" 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Мишель Фейбер

Рассказы

Перевод с английского Ильи Кормильцева

Овцы

Чтобы попасть в Альтернативный центр мира, каждый из пяти приглашенных туда художников выбрал свой способ.

Авиабилеты были проплачены кураторами Альтернативного центра: все, что оставалось сделать художникам, — это вовремя оказаться в аэропорту имени Кеннеди. Учитывая тот факт, что все пятеро жили в Нью-Йорке, стоявшая перед ними задача на первый взгляд не казалась чересчур сложной.

Однако из всей компании только Геррит Планк, как все нормальные люди, собрал чемодан накануне поездки, а на следующий день сел в автобус, идущий до аэропорта.

Мортон Краусс, получив билеты, тут же сплавил их за полцены одному студенту в университете, где числился преподавателем живописи, а на вырученные деньги закупил наркотиков. Затем, накануне запланированного отъезда, он позвонил одному из своих бывших любовников, жившему на севере Англии (разговор за счет абонента), и стал плакаться, что ему, дескать, предложили выступить на симпозиуме в Шотландии (блестящая возможность поправить карьеру!), но нет денег на самолет. Из университета его вышвырнули пинком под зад, объяснил Мортон, "после скандальной выставки гомоэротических фотографий,

© Michel Faber, 1998
© Илья Кормильцев. Перевод, 2005

среди которых были и те, ну ты сам знаешь какие, *те самые*, где мы с тобой..."

Джун Лабуайе-Сук использовала билеты для одного из своих перформансов, который назывался "Доверие". Центральным объектом в перформансе являлась маленькая комнатка без окон, похожая на фотолабораторию. Авиабилеты, вместе с рядом других личных вещей Джун, были приколоты кнопками к стене – посетителям на выбор предлагались ножницы, фломастеры, зажигалка, клей, кетчуп и бачок для использованных гигиенических салфеток. После того как Джун так и не удалось уговорить хоть кого-то из посетителей, чтобы тот уничтожил, испортил или украл билеты (а тем более – свидетельство о рождении, паспорт, кредитную карточку, ключи, письма и тому подобное), она все-таки решила отправиться в Шотландию, но выехала в аэропорт на день раньше, чтобы воспользоваться случаем и сутки поработать: под "работой" подразумевались фотопортреты пассажиров, ожидавших у транспортера на выдаче багажа свои чемоданы и сумки. Когда до полета оставался час, Джун передала камеру и отснятые пленки своему постоянному курьеру.

Билеты Ника Клайна первым делом попали в руки его агента, до невероятия непристойной особы, которую звали Гэйл Фреленг. Она тут же направила в Альтернативный центр мира факс, в котором требовала прояснить некоторые моменты, поскольку, как она выразилась, "честно говоря, я о вас никогда не слышала". Через несколько дней она получила объемистую бандероль, содержавшую рекламные брошюры и каталоги предыдущих выставок, организованных Центром. В авиакомпании, куда позвонила Гэйл, подтвердили, что билеты оплачены и действительны. В ходе дальнейшего обмена факсами удалось также получить официальные подтверждения тому, что Нику Клайну предоставят отдельный номер и что его выступление будет завершать симпозиум. Имя Ника будет появляться во всех печатных материалах, связанных с симпозиумом, причем либо на первом месте, либо напечатанным крупным шрифтом, либо, на худой конец, в списке, составленном в алфавитном порядке. Осуществив все это, Фреленг попыталась позвонить самому Нику, чтобы сообщить ему о предстоящей поездке в Шотландию, но Ника дома не оказалось – он отправился на свалку искать колпаки от фордовских колес.

Фэй Барратт убедила авиакомпанию поменять ей билет на другой, до Оттавы. Она объяснила, что ее мать прилетает из Шотландии в Канаду, поскольку умирает от рака лимфатических желез, и что авиакомпания поступит нехорошо, если помешает их последней встрече. Она беззастенчиво ревела в три ручья у окошечка кассы, время от времени поминая своего адвоката и Опру Уинфри[1], в результате чего билет ей все-таки поменяли. Все это Фэй задумала в надежде на то, что, добравшись до своего бывшего бойфренда, она уговорит его вернуться в ее объятия и отправиться вместе с ней в Шотландию, и тогда платить за билеты будет уже он. Дело кончилось тем, что обратно в Нью-Йорк ее подвезла женщина, с которой Фэй познакомилась в общежитии ИМКА, а деньги на новый билет она заняла у некоего владельца галереи под залог трех еще не написанных картин.

1. Ведущая одного из самых популярных в США ток-шоу. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

В аэропорту в день отправления художники не контактировали друг с другом. Впрочем, ни один из них и прежде не питал никакого интереса к работам своих коллег и не посещал чужих выставок, ограничиваясь чтением критических обзоров. Кроме того, они даже не могли узнать друг друга в лицо, потому что шевелюры их, которые в восьмидесятые годы состояли из обильно смазанных гелем остроконечных пучков, теперь, по моде девяностых, стали длинными и взлохмаченными. (А у Мортона Краусса — длинными и сальными.)

В Эдинбургском аэропорту художников поджидал микроавтобус, которому предстояло доставить их в Альтернативный центр мира. На часах было семь утра, — не лучшее время для всех новоприбывших, кроме Геррита Планка, — поэтому, доковыляв до автобуса, они забрались внутрь, почти не обратив друг на друга внимания. За рулем сидел таксист в униформе автотранспортной компании: он не знал о симпозиуме ровным счетом ничего, кроме того, как туда добраться.

— Все в порядке? — только и бросил он через плечо, заводя двигатель. Ответом ему было бессвязное мычание, бормотание и одинокое "да" Геррита.

Микроавтобус покинул территорию аэропорта, выбрался на автостраду М9 и очень долго ехал по ней в северном направлении.

Мортон Краусс, Фэй Барратт и Ник Клайн большую часть путешествия крепко проспали под защитой тонированных стекол, которые сдерживали напор утренних лучей весеннего солнца. Геррит Планк бодрствовал, но не видел смысла в разговорах, и только Джун Лабуайе-Сук решилась завязать беседу.

— Похоже, мы уже давно проехали Эдинбург, — сказала она.

— Конечно! — согласился шофер. Окрестности становились все более и более дикими. Вскоре показались горы.

— Глазам своим не верю! — воскликнула Фэй Барратт, которую разбудила упавшая к ней на колени голова Мортона Краусса. — Эти горы покрыты снегом! Где я возьму теплую одежду?

— Похоже на картинку на пачке сигарет "Альпийские", — буркнул Мортон. — Или на логотип "Парамаунт пикчерс".

Только через пять часов микроавтобус притормозил в какой-то деревушке. Художники высыпали наружу, вообразив, что остановились для заправки бака и посещения туалета; каково же было их изумление, когда водитель выбросил в окно большой пакет, поднял стекло и стартовал с места на полной скорости.

— Эй, — заорал Мортон (самый подозрительный и раздражительный из всех пятерых). — А ну назад! Назад, хрен моржовый, я тебе говорю!

Несомненно, подобное обращение прозвучало в маленькой деревне Инвер (а может — и на всей территории северо-шотландского нагорья) впервые.

Художники в тот момент еще не знали (но вскоре узнают — как только откроют пакет и прочитают содержащиеся в нем отпечатанные на машинке письма), что стали жертвами изощренного розыгрыша, организованного неким лицом, именующим себя Ценителем живописи. Ценитель не пожалел ни сил, ни средств, чтобы доставить всех пятерых в

Инвер (зато ему удалось немного сэкономить на обратных билетах в Нью-Йорк, которые он успел аннулировать). Однако, чтобы компенсировать возникшие в связи с этим неудобства, он дарит каждому художнику по экземпляру альбома цветных репродукций "Красóты горной Шотландии". Альбом включал в основном работы местных художников-реалистов XIX века. На титульной странице каждого экземпляра было от руки написано:

Я очень рад возможности познакомить Вас с миром настоящего Искусства и той природной средой, что служит для него источником вдохновения.

Всегда Ваш
Ценитель живописи

Каждое письмо было адресовано лично одному из пятерых художников и по тексту несколько отличалось от других.

В письме Герриту Планку злобной критике подвергалось абстрактное искусство вообще и, в частности, композиции из цветных бетонных плит, на которых специализировался Планк.

Диатриба в письме к Джун Лабуайе-Сук была направлена против концептуального искусства, беззастенчиво манипулирующего зрителями, и, в частности, против перформансов самой Джун, которые, как считал Ценитель живописи, свидетельствовали не просто о полном отсутствии каких-либо профессиональных навыков, но об инфантилизме художницы и ее несносном характере. Особенно он отметил перформанс "Фабрика людей", в котором хорошо сложенные молодые люди по очереди мастурбировали в специальной комнатке, наполняя спермой шприц за шприцем. Шприцы затем выкладывались на столик перед входом в другую комнатку, куда зазывали посетительниц выставки, предлагая им воспользоваться шприцами. Этот перформанс, по мнению Ценителя живописи, знаменовал собой низшую точку падения культуры двадцатого века.

В письме к Нику Клайну нападкам подвергались инсталляции. Ценитель живописи возмущался тем, что выставочные помещения не используются для демонстрации работ талантливых и ответственных художников, но превращаются в "настоящие свалки разнообразного мусора". Далее он заявлял, что, по его мнению, ничего более бессовестного, чем демонстрация обыкновенной кучи песка под претенциозно-многозначительной надписью "Метаморфозы бесконечно малого", невозможно вообразить. (На самом деле это название было придумано Гэйл Фреленг, а вовсе не Ником.)

В послании к Фэй Барратт разоблачалась профессиональная беспомощность, скрывающаяся под личиной последнего писка социально-политической моды, – именно таковы были, по мнению Ценителя живописи, картины Фэй, посвященные теме сексуального кризиса у женщин. Особенно детальному разбору подверглось полотно, озаглавленное "Можешь забрать это себе", недавно приобретенное музеем Гугенхайма. Уже сам сюжет – картина изображает женщину, вырезающую себе матку ножом с ручкой в форме пениса, – более чем неприятен, а грязная, комковатая текстура свидетельствует о том, что художница со-

вершенно не владеет техникой письма маслом, ее мазня даже не заслуживает критического разбора.

Письмо Мортону Крауссу было, по существу, разносом самого Мортона Краусса, и в особенности его знаменитой экспозиции 1989 года "Половые акты с перцем". Во время этого шоу, идея которого стоила Мортону чрезвычайных умственных усилий, посетителям предлагалось приобрести оригинальные порнографические фотокарточки без рамок, размером 8 × 10, по цене $50 за штуку. Было изготовлено по двадцать копий каждого снимка, более или менее идентичных (если не считать мелких дефектов, связанных с прославившейся благодаря Мортону методикой проявки "в тазике"). Покупатель должен был ткнуть пальцем в приглянувшуюся ему фотографию, тогда работник галереи срывал карточку с гвоздя, на котором она висела, и вручал ее новому владельцу в коробке из-под пиццы. Затем на стену вешалась другая копия того же фото и так далее – пока не раскупались все (что происходило довольно быстро). Шоу стало последним заметным успехом Мортона. С тех пор Мортон не сумел выдумать ничего такого, что могло бы превзойти "Половые акты": ведь сама идея "картин на вынос", в общем-то, принадлежала не ему, а "вдохновительница" больше не разговаривала с художником с тех пор, как он обменял ее видеомагнитофон на наркотики. Тем не менее "Половые акты" стали в некотором роде легендой и, судя по всему, произвели немалое впечатление на Ценителя живописи. По его мнению, никому в мире больше не удавалось продемонстрировать в рамках одной экспозиции такое впечатляющее сочетание непристойности, безвкусицы, непрофессионализма и откровенного цинизма.

– Ну и че? – спросил Мортон самого себя, дочитав письмо. – Да пошел ты...

– Беее! – отозвалась пасшаяся по соседству овца.

Последовала минута молчания, в течение которой художники окончательно осознали, какими лохами они оказались. Где-то вдалеке гудел, пробираясь сквозь облака, военный самолет.

– Нужно, чтобы кто-нибудь позвонил Гэйл, – сказал Ник Клайн. – Я дам вам ее номер. Она сообразит, что нужно делать.

Все пятеро разбрелись в разных направлениях искать телефонную будку, но в деревушке Инвер, похоже, подобное сооружение отсутствовало. За залом общинных собраний, который был закрыт и украшен плакатом с надписью ЛОТО, простирались пустыри и мелководье. Подальше от берега плавали лебеди, а где-то совсем вдалеке на фоне дюн виднелась покачивающаяся на волнах маленькая рыбачья лодка. Слева на дорожном указателе было написано ШКОЛА, но глаз не находил никаких признаков таковой: ни тебе баскетбольной площадки, ни автостоянки, ни толпы гомонящих тинэйджеров, ни полицейских. Стояла такая тишина, что можно было услышать, как встряхивают крыльями лебеди. Справа раскинулась сама деревушка, состоявшая из единственной улицы, ограниченной с одной стороны галечным пляжем, а с другой – шеренгой современных маленьких бунгало (вместо живописных старых коттеджей, которых можно было бы ожидать в подобном месте).

– В одном из этих домов наверняка есть телефон. Если, конечно, сюда уже провели электричество, – сказала Фэй Барратт задумчиво, со-

бираясь с силами, чтобы постучаться в какую-нибудь дверь и попытаться завоевать симпатии аборигенов. Основная проблема заключалась в том, что такими вещами лучше всего заниматься, когда ты одна, — попутчики в данном случае только мешают. К тому же подобные штуки ей удавались обычно только с собратьями-американцами — несколько лет назад во Франции она безуспешно пыталась обратить на себя внимание публики в привокзальном кафе и добилась участия только со стороны польского столяра, у которого, впрочем, не было денег.

— Я вижу телефонные провода, — сообщил Геррит Планк. — Повсюду.

И спокойно, сдержанно показал вверх, подняв одну бровь и одновременно указательный палец.

— Кое-чего не хватает, — сказала Джун Лабуайе-Сук, — инсталлятора!

Данная реплика, впрочем, относилась уже не к телефонным коммуникациям, а к Нику Клайну, которого действительно нигде не было видно.

— *Деревня* гребаных *Проклятых*![1] — заключил Мортон Краусс. — *Резня*, понимаешь, *бензопилой в Техасе*![2]

Ник Клайн же тем временем пил пиво в деревенском пабе и вовсе не собирался никого ни о чем просить, разве что еще об одной кружке пива, и хозяин немедленно удовлетворил эту его просьбу, сразу же признав в посетителе серьезного потребителя алкоголя, имеющего большой и многогранный опыт в данной сфере.

Сидя за столиком в "Инвер Инн", Ник изучал меню на стене, размышляя, настолько ли он голоден, чтобы рискнуть съесть нечто отличающееся от копченой говядины с маринованными овощами, которой он завтракал каждый день в гриль-баре "Хуанита". Ник, единственный из художников, благодаря стараниям Гэйл Ферленг и банка "Ферст нейшнл", обладал солидным запасом шотландской валюты, но загвоздка заключалась в том, что он не имел ни малейшего представления, что такое стовиз[3]. Он был на все сто уверен, что не хочет ни шотландского пирога (68 пенсов), ни биф- или чизбургера (£1.20), ни копченых сарделек (£1.70), ни лазаньи или цыпленка под соусом карри (£1.86). Так что оставался только стовиз (£1.70).

Ник еще какое-то время, прищурившись, пил пиво. Может быть, кто-нибудь из посетителей затронет тему стовиза и тогда Ник сможет понять, что это такое.

Паб был чистеньким и непретенциозным, в таких залах собираются бойскауты. Машина для игры в пинбол и бильярдный стол стояли в ожидании игроков. Кроме Ника в пабе находился только старик с собакой, которая прикорнула у его ног, обутых в шлепанцы. За стойкой, украшенной рядами перевернутых бутылок с виски, декоративных тарелок и целлофановых пакетиков с чипсами, владелец паба протирал стаканы, в то время как его жена по телефону делала ставки на лошадей.

— Номер пятый, Выбор Капитана, — говорила она в трубку. — Номер шестой, Любимец Евы. По пятьдесят пенсов на оба номера.

1. Намек на известный научно-фантастический фильм Вольфа Рилла (1960) по рассказу Джона Уиндема "Мидвичские кукушки".
2. "Резня бензопилой в Техасе" — классический фильм ужасов режиссера Тоба Хупера (1974).
3. Национальное шотландское блюдо — мясо, тушенное с картошкой и луком в горшочке.

Ник обратил внимание на ее странный акцент и задумался над тем, сколько времени ему предстоит провести в Шотландии. Пусть кто-нибудь другой позвонит Гэйл: он терпеть не мог говорить по телефону. А если даже никто не позвонит, Гэйл все равно его рано или поздно найдет: прежде всегда находила. Но если придется ждать слишком долго, то можно ведь и без денег остаться.

– А эта Фиона бабенка-то ничего – ну, знаешь, племянница того плотника из Килдари.

– Петтигрю?

– Ага, того самого.

Никто так и не поднимал тему стовиза, а Ник уже почти допил вторую кружку. На стене напротив него висела петиция: "Мы, нижеподписавшиеся, требуем, чтобы британское правительство снизило акциз на пиво". К этому моменту петиция была подписана восемью гражданами, проживающими в Инвере. Нику пришло в голову, что он тоже с удовольствием бы под ней подписался, потому что пиво относилось к числу ценностей, в которые он верил. С другой стороны, Гэйл всегда просила его не подписывать ничего, не посоветовавшись предварительно с ней. Все-таки придется ей позвонить. Телефон уже освободился.

– Будьте добры, – сказал Ник.

– Да, сэр.

– Еще одно пиво, пожалуйста.

Прошло несколько минут, и в паб вошли три молодых человека в рабочих комбинезонах, за которыми следовали четверо художников. Интересно, подумал Ник, вспомнит ли кто-нибудь о его предложении позвонить Гэйл Фреленг, но вместо этого они – женщины, по крайней мере – тут же стали интересоваться наличием общественного транспорта. Коротышка с сальными волосами в это время нашептывал что-то на ухо здоровенному голландцу, который морщился и старался не вслушиваться.

– Автобус только что уехал, – сказал владелец паба. – Да и шел он все равно в Портмахомак, а вам совсем в другую сторону.

– А что, назад он не поедет? – спросила Фэй Барратт.

– Ну... и да, и нет, – ответил владелец. – Обратно он поедет другой дорогой, через Нью-Гиниз, Маккейз, Лох-Ай...

– А следующий когда?

– Школьный автобус в полпятого.

Такой ответ явно не порадовал художников и, пошептавшись, они направились к выходу. Ник Клайн поспешно встал и заплатил за пиво, решив не отставать от коллег – на тот случай, если они вдруг попадут в такое место, откуда можно позвонить Гэйл Фреленг. Мортон Краусс, который из принципиальных соображений никогда не носил при себе иностранной валюты – разве что мелочь, не больше пяти долларов в переводе на американские деньги, – с интересом посмотрел на странной расцветки банкноты, мелькнувшие в руках Ника Клайна.

– Мы за тебя волновались, старик, – сказал он. – Думали, вдруг ты заблудился.

– Да нет, я просто сидел тут, – отозвался Ник, засовывая странные золотистые монетки к себе в карман.

– Мне стовиз и пинту пива, – сказал один из юнцов в комбинезоне, когда Ник выходил из паба следом за товарищами по несчастью.

Через полчаса до художников дошло, что предложенный Джун Лабуайе-Сук план — выйти на шоссе и поймать такси — попросту неосуществим. За это время мимо них проехала красная "тойота", полная подростков переходного возраста, микроавтобус "фольксваген", битком набитый детишками, и трактор, волочивший за собой загадочного назначения устройство. Над головой, то в одну, то в другую сторону с гудением пролетал реактивный бомбардировщик, словно гигантское насекомое, встревоженное треском пулеметных выстрелов, доносившихся с расположенного за болотами полигона.

— Может, поискать гостиницу? — предложил Ник.

Из головы у него не выходил образ трех юнцов в комбинезонах, сидящих в баре над тарелками с горячим, дымящимся стовизом, хотя как выглядит сам стовиз Ник, естественно, не имел ни малейшего представления.

— Я обратно в деревню не пойду, — заявила Фэй. — Там одни тупые грязные мужики.

— А ты, Геррит? — поинтересовалась Джун Лабуайе-Сук.

Она знала, как правильно произносится его имя, и даже смогла вспомнить, когда они с ним впервые заговорили, в каком стиле он работает. Тем не менее Геррит оказался непоколебим.

— Вряд ли, — ответил он.

— Тебе тоже не нравятся тупые грязные мужики?

Сарказм, вложенный в эту фразу, задел голландца за живое.

— Я ничего подобного не утверждал, — поморщился он. — Я не знаю, что это за люди. Просто если уж я решил идти вперед, то зачем возвращаться назад?

Джун Лабуайе-Сук обратила взор на Ника Клайна, но тот отошел на несколько ярдов и изучал что-то лежавшее на дороге — судя по всему, задавленного кролика. Мельком взглянув на Мортона Краусса и на секунду задумавшись, имеет ли смысл с ним говорить, Джун направилась к Нику.

— Славный! — сообщил Ник, показывая пальцем на кролика.

Джун посмотрела на шкурку, распластанную на асфальте.

— Может, возьмешь его с собой в Штаты? — сказала Джун, пытаясь понять, все ли у этого парня в порядке с мозгами.

Ник покачал головой.

— У меня уже были с этим проблемы однажды на Фиджи. В аэропорту. На таможне. У меня в чемодане лежало несколько задавленных лягушек. Сухих, как осенние листья. Я объяснил таможенникам, что они совсем сухие. Но взять их с собой мне все равно не разрешили.

— Боже, какая жалость! — вздохнула Джун. — Послушай, давай вместе вернемся в деревню.

— Вместе? — Ник покраснел. — А зачем я тебе?

Джун вздохнула и раздосадованно пожала плечами.

— Неужели не понятно, Ник? Это крошечная, Богом забытая деревушка, и ты хочешь, чтобы я, одинокая женщина, одна отправилась в бар, где полно незнакомых мужчин? Меня могут изнасиловать, убить, зарыть посреди поля, и никто ничего не узнает.

— А что изменится, если с тобой буду я?

— Это очень традиционное общество, не так ли? Если женщина одна, ее считают своей законной добычей. Если же с ней парень, то, по их понятиям, она принадлежит ему.

— Ну, тогда ладно. Только если мне ничего не придется делать.

Джун и Ник направились обратно в деревню и вскоре вновь оказались в пабе. Стовиз к тому времени уже кончился, так что Нику пришлось удовлетвориться копченой сарделькой, которую он чуть позже все равно швырнул в поле за обочиной. Первым из всей компании он лишился невинности в отношении шотландского фаст-фуда. Джун попросила что-нибудь вегетарианское, и ей был предложен пакетик жареной картошки, который она отвергла в надежде на то, что где-нибудь поблизости отыщется вегетарианский ресторан.

— Здесь у них нет такси, — объяснила она остальным. — Надо просто позвонить какому-то Генри, он за четыре фунта довозит желающих до ближайшего городка.

— То есть... — начала Фэй.

— То есть я уже позвонила, и жена Генри сказала, что он скоро за нами приедет.

Генри действительно приехал довольно скоро, как только доставил пакет с жареными курами в местную гостиницу, игрокам в бильярд, не желавшим отрываться от важной партии. Генри отвез художников в Королевский замок в Тейне — крошечном городке на берегу залива Дорнох. Когда художники очутились в Тейне, все заведения в городе уже закрылись на обед. А трансагентство, расположенное над аптекой, на втором этаже, — и вовсе до следующего дня.

— Гребаные неандертальцы! — процедил Мортон Краусс, морщась от ослепительного солнечного света, отражавшегося от гладкой поверхности залива.

Тейн был построен на холме, так что из него открывался великолепный вид не только на море, но и на многие мили простиравшихся вокруг сельскохозяйственных угодий. Повсюду виднелись овцы, пощипывающие траву по краям дороги; их морды в ярком свете казались четкими, словно фотоснимки, сделанные на профессиональной пленке. Чуть подальше тоже бродили стада овец, и даже возле самого горизонта поля были, словно черными точками, усеяны овцами. Художники, конечно же, никогда не видали овец в таком количестве, а Мортон Краусс вообще видел их только на фотографиях.

У Мортона при себе имелась фотокамера, снабженная самым мощным телеобъективом. Глядя в видоискатель, он мог буквально заглянуть в глаза каждой черномордой овце или детально изучить каскад похожих на лакричные леденцы катышков, сыплющихся из ее задницы. В голове у него уже начали зарождаться смутные контуры новой фотовыставки, которая затмит успех "Половых актов": голые парни... нет, голые бабы!.. овцы с какашками под хвостом и с черными мордами... рога... вариации на тему черный козел/белая девственница... овец можно снять здесь, девчонок в Нью-Йорке... наложение негативов, монтаж, там посмотрим, что будет легче... или заказать Козинскому, тот напечатает...

Тем временем у него за спиной художники обсуждали планы на ближайшее будущее. Мортон уклонился от участия в этой дискуссии, поскольку уже успел занять у Ника Клайна двадцать фунтов. Их ему хватит, пока Чарльз не пришлет из Ньюкасла еще денег; к тому же, раз Клайн одолжил ему двадцать фунтов, возможно, он согласится купить ему и би-

лет на автобус или на поезд. А еще лучше, если здесь нет ни автобуса, ни поезда: тогда кому-нибудь волей-неволей придется взять напрокат машину, и Краусса подвезут на ней и вовсе бесплатно.

Обсуждение в конце концов зашло в тупик, поскольку все четыре имевшихся в Тейне банка были закрыты на обед, а у Гэйл Фреленг и Тины Голем (агента Джун Лабуайе-Сук) срабатывали автоответчики. Как и следовало ожидать, ни у одного из художников не было международной кредитной карточки — за исключением Джун, которая, впрочем, оставила ее в Штатах в рюкзаке вместе со всеми остальными "материалами" с перформанса "Доверие". Она с самого начала знала, что у нее не будет при себе кредитной карточки, но, поскольку в приглашении от Альтернативного центра мира неоднократно подчеркивалось, что Центр берет на себя заботу буквально обо всем, она поленилась сходить за мешком в галерею.

Что касается остальных, то Нику Клайну кредитная карточка была без надобности, поскольку у него имелась Гэйл Фреленг, у Фэй Барратт и Мортона Краусса кредитные карточки когда-то были, но после того как эти двое проштрафились, кредит им закрыли, а Геррит Планк отвергал кредит в принципе, из идеологических соображений.

Так или иначе, было принято решение, что бессмысленно все время держаться всем вместе. Пусть каждый из художников исследует Тейн индивидуально, после чего они встретятся у входа в почтовое отделение примерно через час. Тогда, освежившиеся, с прояснившейся головой, они обменяются соображениями по поводу того, как им вернуться в Нью-Йорк.

Ник Клайн, прекрасно знавший, что Гэйл Фреленг прослушивает свой автоответчик по крайней мере раз в несколько часов, расстался со спутниками в абсолютно безмятежном настроении. У него было такое ощущение, словно опасная волна прокатилась в непосредственной близости от него и снова скрылась вдали, так и не задев скалу, на которой он стоял. Теперь, отряхнув с себя пену, он заметил чуть ли не на самом берегу залива заброшенное кладбище; от центральной улицы города к нему спускалась узкая тропинка с каменными ступеньками — добраться до него плевое дело.

Геррит Планк, чтобы согреться, зашел в церковь, где спокойненько уселся на скамью, сделав вид, что молится. На свои часы он даже не смотрел, потому что на одной из стен висели часы, которые были гораздо больше его собственных.

Джун и Фэй, между которыми на почве поисков женского туалета возникло нечто вроде товарищеской близости, совместными усилиями нашли его и уселись в соседних кабинках, каждая — прислушиваясь к звону струйки соседки. Еще до того Фэй показала Джун свое письмо от Ценителя живописи, чтобы поделиться обидой по поводу содержавшихся в нем обвинений. Я же работала до кровавого пота, сказала Фэй, над осмеянной этим типом картиной "Можешь забрать это себе". А грубую технику письма выбрала преднамеренно, чтобы передать эмоциональную боль и отчаяние женщины, которой общество отказывает в праве голоса. Что же касается обилия пятен и помарок на картине, то

оно должно было наглядно выразить беспомощность жертвы. Джун Лабуайе-Сук постаралась, как могла, утешить Фэй, хотя сама она к живописи, независимо от ее качества, была абсолютно равнодушна. Поскольку Джун принадлежала к тому социальному слою, в котором преобладают властные и преуспевающие женщины и несколько женоподобные мужчины, она изо всех сил старалась сочувствовать негодованию Фэй, но сочувствие это носило, как бы лучше сказать, несколько антропологический характер. Поэтому, сидя в соседней туалетной кабинке, она не могла удержаться от мысли, что звук, с которым изливается моча Фэй, полностью соответствует ее, Джун, ожиданиям: напряженный, прерывистый, такой, словно струя бьет в стенку унитаза под очень острым углом. Фэй, со своей стороны, с удивлением отметила, какой огромный объем жидкости заключается в организме Джун Лабуайе-Сук: казалось, что мочиться она будет целую вечность. Чтобы вместилось такое количество жидкости, у нее внутри должно быть очень много свободного места.

Вернувшись на центральную улицу, Джун и Фэй столкнулись с Мортоном, который нашел нечто вроде мини-маркета, где не было перерыва, и теперь размахивал своей добычей.

— Смотрите, что я надыбил! — сказал он, улыбаясь во весь рот и впервые с момента отъезда из Нью-Йорка испытывая положительные эмоции. Из белого пластикового мешка, раздувшегося от пакетов с молоком, банок пива и сигаретных пачек, он извлек ассорти от "Келлог": восемь маленьких пакетиков с различными хлопьями в одной упаковке.

— Хотите? — хрипло прошептал он с таким выражением, словно предлагал кокаин высшего качества.

— У нас же нет мисок, — заметила Джун.

— А нам и не нужно! — радостно сообщил Мортон, срывая целлофан с коробочек. — Я такие все время покупаю. Сами коробочки — они как бы вроде мисок. В картоне сделана... ну, эта самая...

Мортон ткнул пальцем в воздух, пытаясь объяснить, что он имеет в виду.

— Перфорация? — предположила Джун Лабуайе-Сук.

— Ага. Каждая маленькая коробочка — нечто вроде арт-манифеста. Декларация эстетики, отрицающей совместное питание за семейным столом. Это даже не утверждение антисоциальности, это... это...

— Утверждение субсоциальности?

— Нет, *вне*социальности!

В порыве энтузиазма Мортон ткнул ручкой ложки в один из пакетиков, пытаясь обнаружить знакомую перфорацию.

— Вот черт! — в недоумении воскликнул он. — А дырочек-то и нету!

— Что ж, Мортон, — улыбнулась Джун Лабуайе-Сук, — мы в другой стране!

— Но, мать твою, кто им позволил менять упаковку! — огрызнулся Мортон.

— Возможно, шотландцам эта перфорация просто *не нужна*, — вмешалась в беседу Фэй.

Это предположение Мортон воспринял как личное оскорбление.

— Должны же существовать, — заявил он, — какие-то... эээ...

— Святыни?

– Ага.

Совершенно упавший духом Мортон засунул пакетики с хлопьями обратно в мешок и поковылял прочь.

– Странно, почему у него при себе ложка, – удивилась Джун.

– Возможно, он растворяет в ней героин, – сказала Фэй.

Этот намек на пристрастие Мортона Краусса к наркотикам был, впрочем, незаслуженным, поскольку он не употреблял героин регулярно (по крайней мере, внутривенно) с начала восьмидесятых. Он всегда носил с собой ложку и консервный нож, потому что питал слабость к консервированным сосискам и к мороженому в стаканчиках. В любом случае, *сам* он никогда не растворял героин в ложке: это делали за него другие, на чьи деньги героин обычно и покупался. Мортон, не брезговавший поколоться одним шприцем в ту эпоху, когда о СПИДе еще не слышали, а в плане секса всегда сходившийся с кем угодно и при любой возможности, тем не менее так и не подцепил вирус – к огромному огорчению барыг от искусства, которые скупали все работы Краусса в предвкушении его неминуемой смерти. В недавно опубликованном в одном арт-журнале интервью с Мортоном рядом с его фотографией красовалась подпись: "ВИЧ-позитивен? Знаете, я от природы негативен".

Мортон действительно был негативен от природы, и в Тейне он нашел немало поводов проявить свой негативизм. В мини-маркете ему предложили купить миску за десять пенсов в благотворительном магазине при церкви Св. Дутуса и напрочь отказались вернуть деньги за хлопья; кроме того, они в жизни не слыхали о существовании шоколадок с начинкой из арахисового масла. Когда открылись другие магазины, выяснилось, что и там не могут удовлетворить запросов Мортона. Улицы были заполнены низенькими, полными женщинами в фиолетовых пуховиках, с младенцами и детишками постарше, и старухами, которые выглядели ничуть не лучше английской королевы в непогожий день. Потом Мортон наткнулся на кучку подростков, столпившихся возле местного заведения фаст-фуд, именовавшегося "Кафе Воланте", некоторое время крутился поблизости, но никто так и не предложил ему купить наркотиков. Вместо этого подростки жевали что-то жаренное в кляре, бледно-желтого цвета, и сходились в оценке некоего мистера Маклауда как "психанутого на всю катушку".

Когда художники встретились снова, Джун Лабуайе-Сук сообщила им плохую новость: международными электронными переводами банки Тейна баловались нечасто, так что, вероятно, придется прождать не менее тридцати шести часов, прежде чем деньги придут. Прокат машин также отсутствовал. Ник Клайн, Джун Лабуайе-Сук и Геррит Планк, вместе взятые, имели достаточно денег для того, чтобы купить всей компании автобусные билеты до Инвернесса и оплатить ночлег в дешевой гостинице, но проблему авиаперелета обратно в Штаты это не решало.

Вероятно, деньги из США можно было бы получить быстрее через Инвернесское отделение банка, но Джун, обрадованная тем, что наконец дозвонилась до своего агента, указала в качестве пункта получения Тейн, а теперь телефон этого агента, Тины, снова находился в режиме автоответчика. Автоответчик же Гэйл Фреленг по-прежнему вежливо

сообщал, что хозяйки нет в офисе — ситуация по меньшей мере необычная.

Агент Геррита Планка, которому Геррит позвонил сам, отнесся к злоключениям своего клиента философски.

— Бывает, — только и сказал он.

— Раньше я ни о чем подобном не слышал, — возразил Геррит.

— О таких вещах обычно не пишут.

Далее агент предложил Герриту, чтобы тот самостоятельно добрался до Глазго, где владелец одной галереи был ему должен три тысячи долларов, что соответствует приблизительно тысяче девятистам фунтам. Галерейщик мог из этих денег либо оплатить Герриту дорогу обратно в США, либо предоставить ему бесплатное жилье, может быть, даже студию. Через три недели сам агент будет в Амстердаме, где ему предстоит подготовить ретроспективу работ Планка. Геррит может сесть на паром и переправиться в Амстердам. Это позволит избежать лишних расходов.

У Фэй Барратт, после того как Дэйвид ее бросил, агента вообще не было, поэтому ей оставалось только уповать на милосердие ближних.

Имелся ли агент у Мортона Краусса, смогло бы разобраться, пожалуй, только правосудие, поскольку в настоящее время они с Кёнигсбергом находились в состоянии судебной тяжбы и встречный иск должен был рассматриваться только в ноябре.

— В общем, как ни посмотри, самое лучшее будет оставаться здесь, пока мой агент не вышлет нам денег, — заявила в конце своей речи Джун Лабуайе-Сук. — Я нашла на окраине города пансион, который предоставит четверым из нас два двухместных номера. Я напишу вам адрес. Хозяйку зовут миссис Макалистер. Она просила нас прийти не позже одиннадцати, потому что ее муж принимает снотворное, действие которого кончается как раз после полуночи. Еще она сказала, что собака у них тоже очень нервная.

— Секундочку, — вмешалась Фэй, — ты сказала "четверым". Это что означает, что один из нас останется на улице?

В мире представлений Фэй всегда присутствовал этот "один", разумеется, самый слабый и беспомощный из всех людей на земле, а именно сама Фэй Барратт. Самая ее известная картина, собственно, так и называлась: "Одна на улице", на ней была изображена мертвая женщина (утопленница?), лежащая в позе эмбриона внутри канализационного колодца.

— Геррит у нас предпочитает обходиться без гостиниц, — объяснила Джун. — А также без долгов. Он купил спальный мешок и хочет сказать нам всем "до свиданья".

— До свиданья! — сказал Геррит и, водрузив на плечи дарующий независимость сверток цвета хаки, направился прочь.

— Даже если действительно понадобятся тридцать шесть часов, чтобы перевести сюда деньги, — продолжила Джун Лабуайе-Сук, — у нас с Ником денег хватит на две ночи в гостинице для всех, так что проблем не будет.

Мортон Краусс был очень доволен, что нашлось решение, к тому же такое экономичное, но от одной мысли о том, что ему придется провести двое суток в городе, который он уже окрестил "Местом, Где Время Остановилось", ему делалось дурно. Решив, что из всех присутствую-

щих Фэй Барратт более других способна его понять, он решил ей пожаловаться, прежде чем все снова разойдутся в разные стороны.

— Невыносимо! — заявил он. — Здесь нет ничего, вообще ничего! Ни тебе ночных клубов, ни пиццерий, ни киношек!

— Здесь не так уж и плохо! — не вполне искренне возразила Фэй. — Очень милое местечко. Воздух чистый. Жители дружелюбные.

— Дружелюбные! — фыркнул Мортон. — Они просто запрограммированы таким образом. По-моему, это тот самый город, про который сняты "Степфордские жены"[1]. Роботбург, вот что это такое! Разве это люди — такие зажатые, такие унылые! Вот что я скажу: без уличной культуры Нью-Йорка я могу просто рехнуться — безо всех этих черных, латиносов, банд, гетто-бластеров[2], парней, мельтешащих вокруг, катающихся на роликах, горланящих песни, орущих, пристающих к тебе...

Фэй мысленно перенеслась в Нью-Йорк, чтобы попытаться вспомнить, как она сама ко всему этому относится, но ее квартира была в Квинсе, к тому же она все равно нечасто выходила из дома, проводя время в основном за мольбертом или перед телевизором.

— Да не выдумывай, Мортон, — возразила она. — Могу поспорить, что сам ты таким образом не развлекаешься, просто стоишь и наблюдаешь.

— Посмотри правде в глаза, зайка! — возмутился Мортон. — Там, где я живу, белый парень не может позволить себе роскошь просто стоять и глазеть по сторонам. Или пошевеливайся, или ты пропал!

— Звучит здорово.

— Да мне наплевать, хорошо это или плохо! Мне это нужно для работы. Я испытываю вдохновение от напряжения жизни!

— Ну раз нынешняя ситуация тебя *так* напрягает, — заметила Фэй, — то давай, твори!

После этой беседы Мортон окончательно убедился, что у него нет союзников. Он был один-одинешенек, на краю света, среди чуждых ему по духу людей. Надо срочно попробовать еще разок позвонить Чарльзу.

В пять часов, как только на Тейн упали долгие светлые сумерки, город затих. Только пестрые ватаги подростков терлись около точек быстрого питания, над ними витали сигаретный дым и непрерывная ругань. Они жаловались, собственно говоря, на те же самые обстоятельства, которые раздражали Мортона Краусса, только с шотландским акцентом.

— Делать-то здесь совсем не хрена, — говорили они.

А еще:

— Жду не дождусь, когда свалю из этой долбаной дыры!

И наконец:

— В Дингуолле-то, говорят, скоро "Бургер кинг" откроют!

Вдалеке, у них за спиной, поверхность Дорнохского залива отливала золотом, и сотни морских птиц вились над коньками древних крыш. Джун и Фэй стояли на окраине города, издали взирая на заброшенное кладбище. Они как на ладони видели Ника Клайна, хотя их от него от-

1. Научно-фантастический фильм (режиссер Брайан Форбс, 1975), в котором все женщины в маленьком городке с согласия мужей были заменены их послушными клонами.
2. Гетто-бластеры — мощные переносные магнитолы.

деляли несколько сотен ярдов; чистый воздух и девственный пейзаж, казалось, приближали далекие предметы, словно обратная перспектива в росписях средневекового алтаря.

— Он совсем не шевелится, — сказала Фэй.

— И тем не менее он счастлив, — сказала Джун.

Ник сидел среди надгробий, лицом к полям. Он сидел так уже несколько часов.

— Пойдем погуляем, — предложила Фэй.

— Ладно, — сказала Джун. — Но только не в сторону Ника. Он наслаждается одиночеством.

Две женщины, не говоря больше ни слова, двинулись вдоль взбиравшейся в гору дороги, которая вела к Инверу. Не прошли они и нескольких шагов, как Тейн резко оборвался и начались бескрайние пастбища. В сравнении с их просторами и с вершинами гор женщины казались двумя крошечными существами. Они и сами почувствовали свое ничтожество, свою малость, но странным образом это чувство помогло им преодолеть одиночество, почувствовать себя ближе друг к другу. Если бы кто-нибудь посмотрел на них с вершины холма, он бы такими их и увидел: не случайными попутчицами, какими они были еще прошлым вечером в аэропорту, а двумя приятельницами, соединившимися по собственному желанию.

По дороге Джун посмотрела на Фэй и заметила, что у той из-под выкрашенных в каштановый цвет волос выбивается одинокая седая прядка, что на ее стройной шее виднеется длинный шрам, похожий на зловещий след ножа, а еще — что у нее красивая линия рта и зовущие глаза. Фэй восхищалась почти сверхъестественной видимостью, характерной для ранних сумерек: каждый камешек на дороге, каждый кустик травы были такими отчетливыми, словно контуры специально обвели черной тушью, словно весь этот пейзаж был одной огромной картиной, исполненной с невероятным мастерством. Затем Фэй скосила глаза на Джун и увидела, что ее лицо прописано с той же самой четкостью: на нем отчетливо рисовались все морщинки, уже существующие и те, которые только появятся в будущем, иссякшее человеколюбие, не до конца вытравленный идеализм, страдание, причиняемое избытком внутренней энергии.

Это были еще маленькие и слабые намеки на сближение, но за ними последовали другие. Обе женщины одновременно обратили внимание на безмолвие горных вершин, на ничем не нарушаемый покой небес и на сходство своих физиологических реакций. У обеих было ощущение, будто их мозги и кровь внезапно очистились от всех пропитавших их ядов, от смертоносных миазмов Нью-Йорка, от шума, производимого автомобилями, телевизорами и десятью миллионами озлобленных людей, и будто вся эта отрава, превратившись в жалкие облачка ионов, улетучилась, растворившись в бескрайнем небе.

Погуляв около часа, они дошли до свежевспаханного поля. Рядом овцы, стоя в ботве огромных турнепсов, жевали ярко-белые корнеплоды. Казалось, их шерсть светится. Джун и Фэй остановились.

Появилась молодая женщина с дочкой; они шли им навстречу, в сторону Тейна. Девочка подбежала к ограде из колючей проволоки и сняла с нее клок овечьей шерсти.

– Да сколько еще ты будешь подбирать? – пожурила ребенка мать, кладя шерсть в оттопыренный карман фиолетового пуховика. – Что ты из нее собираешься сделать?

– Овцу, конечно, – сказала малышка.

Этот короткий разговор навел Джун Лабуайе-Сук, когда они с Фэй продолжили прогулку по полям, на размышления. Она не думала об искусстве с самого утра, но тут у нее забрезжила идея нового шоу, которое могло бы называться "Воспроизведение"... нет, "Восстановление"... нет, еще лучше, "Воссоздание овцы". Она могла бы приобрести у мясника различные части овечьей туши и снова сложить их вместе, предварительно засунув в чехлы для автомобильных кресел и в тапочки из овчины. А может, разложить части туши порознь и поместить рядом с ними надписи, приглашающие посетителей самостоятельно собрать из них овцу? Так это будет более провокационно. Или вообще обойтись без текста. Пусть критики сами соображают, что к чему. Действовать надо осторожно – с мясом уже устраивали много перформансов, и ей нужно любой ценой избежать сравнения с этими идиотами, что суют публике прямо под нос гниющую падаль. Может быть, запечатать мясо в пластик... жидкое оргстекло... можно трогать, не испытывая отвращения... словно блоки "Лего", с которыми играют дети... такой конструктор из серии "Собери сам"...

Течение ее мыслей прервал неожиданный звук: Фэй плакала.

– Что стряслось? – спросила Джун.

– Из меня никогда не получится художник, – простонала Фэй, глядя на феноменальный закат. – Даже если я буду жить миллион лет.

Джун, не зная, что на это сказать, снова посмотрела в сторону овец.

– Беее! – проблеяла одна овца, и Джун внезапно поняла, что вся ее затея с "Воссозданием овцы" – действительно совершенно пустая, когда на свете существуют такие животные как овцы, принадлежащие к совсем иному, чем она сама, биологическому виду и обитающие в таком уголке планеты, куда она запросто могла бы никогда и не попасть: в Альтернативном центре мира.

– Брось! – сказала она, кладя руку на плечо Фэй. – Лучше пойдем поужинаем.

Через час они уже сидели в гостинице, удивляясь неудобоваримости шотландской пищи и мечтая о Нью-Йорке.

На следующее утро в банке их ждала хорошая новость: перевод, который, как убеждал Джун банковский менеджер, "так просто не проскочит", тем не менее взял и проскочил. Менеджер даже порывался извиниться перед художницей за подобную неожиданность. Деньги прибыли. Художникам пришлось провести в горной Шотландии всего лишь сутки. Автобус отвезет их в Инвернесс через час, к вечеру они окажутся в Эдинбурге.

Джун и Фэй за ночь отлично выспались, поскольку каждой досталась в пансионе целая комната: Мортон и Ник ночевать так и не явились. Они пришли только под утро, от них сильно пахло спиртным, а от Мортона вдобавок и овечьим дерьмом. Ник, как он объяснил, вернулся пешком в инверский паб, чтобы узнать, что же все-таки такое этот стовиз. Стовиз, заявил он с не присущей ему уверенностью, это самое отвратительное блюдо, которое он когда-либо пробовал. Но люди в Инве-

ре оказались очень симпатичными, пожалуй, если будет время, он сегодня сходит туда снова, несмотря на дождливую погоду. В особенности ему пришлась по душе одна дама, молодая женщина, которую муж бросил с маленькой дочкой и которой Ник, похоже, тоже понравился. У нее есть большой запущенный фермерский дом возле Лох-Ай, и там во дворе свален самый замечательный металлолом, какой ему доводилось видеть.

— Тут такие перспективы... — объяснил Ник.

— Попробовать позвонить твоему агенту еще раз? — спросила Джун.

— Попробуй, попробуй, — бросил Ник, погруженный в глубокую задумчивость.

Джун дождалась, когда тот отойдет подальше, затем зашла в телефонную будку и набрала номер.

— Гэйл Фреленг слушает.

— Говорит Джун Лабуайе-Сук из Тейна, Шотландия.

— Понятно. Мисс Голем очень помогла мне, когда я наводила справки. Мой клиент рядом с вами?

— Э... нет. Он отправился прогуляться.

— Его *обвели вокруг пальца*, мисс Сук. Вас *всех* обвели вокруг пальца. Как только ваш самолет взлетел, Альтернативный центр мира перестал отвечать на мои факсы. Я, разумеется, начала выяснять, в чем дело. Брошюры оказались фальшивками. Офис, адрес которого в них значился, находится в здании, предназначенном под снос. Никакого Альтернативного центра мира *не существует*.

— Похоже, вы правы.

— Извините меня за занудство. Как вы думаете, сможет ли мой клиент оказаться завтра вечером, то есть в среду, двенадцатого, в восемнадцать сорок пять, в Эдинбурге?

— Думаю, что да. Не вижу, что бы ему могло помешать.

— Великолепно. Пусть заберет забронированный для него билет бизнес-класса у стойки "Бритиш эруэйз". Пожалуйста, попытайтесь сделать так, чтобы мой клиент понял: этот билет действителен только в пятницу, двенадцатого, *исключительно* в этот день и ни в какой другой.

— Хорошо, я скажу ему...

— Прекрасно. Как я поняла, мисс Голем уже позаботилась о вашем возвращении?

— А разве вы сами не знаете?

— Я была слишком занята, чтобы следить за чужими делами, мисс Сук. Я предположила, что вы позвоните ей сами.

— Все в порядке, мисс Фреленг. Что мне передать от вас Нику? Привет? Поцелуй?

— ... достаточно передать то, что я вам уже сказала. Удачи.

Ко времени, когда автобус на Инвернесс начал прогревать двигатель перед зданием почты, Джун и Фэй уже сумели кое-что выведать насчет того, как провел эту ночь Мортон, и убедили его, что, если он хочет попасть на автобус, ему лучше запихать свою вонючую куртку в пластиковый мешок. А чтобы фотограф не замерз на сыром ветру, они, последовав совету стоявших на остановке доброхотов, заскочили в благотворительный магазин Св. Дутуса и приобрели для Мортона за

£1.85 другую куртку – блестящую, лиловую, с надписью "Я ♥ БОУЛИНГ НА ТРАВЕ".

История о том, как Мортон провел ночь, сводилась к следующему: фотограф понятия не имел, что в горной Шотландии слово "крэк" означает приятное социальное общение, а вовсе не разновидность кокаина. Вчера, стоя в телефонной будке и в очередной раз пытаясь дозвониться к Чарльзу в Ньюкасл, Мортон подслушал, как несколько подростков договаривались встретиться вечером в Балинторе в сельском клубе, потому что там, по их словам, можно было рассчитывать на "отменный крэк". Может, ему просто послышалось? – подумал Мортон. Нет, он определенно помнит, что один из парней повторил: "Да, крэк там будет первый сорт".

Так что вечером таксист Генри отвез Мортона в Балинтор и высадил его у сельского клуба, где кейли[1] был в полном разгаре. Розовощекие девушки в шотландских платьях танцевали флинг, рок-группа под названием "Качающаяся верша" исполняла современные версии старинных шотландских песен, и все уже доплясались и допились до полного изнеможения. А Мортон просто сидел и ждал, когда к нему подойдет дилер и предложит чего-нибудь.

– Надо было тебе взять и просто нажраться, – сказала ему Фэй в автобусе, где они сидели по разные стороны прохода в ожидании Ника.

– А я и нажрался, – огрызнулся Мортон. – Да так, что заснул где-то в поле. Так нажрался, что потерял свой фотоаппарат. Тот самый. Специальный. С телеобъективом. И пленку со снимками для моего нового шоу.

– Какими снимками?

– Снимками овец.

– Неужели нельзя их снова наснимать?

– Через стекла этого гребаного автобуса?

Услышав их беседу, сидевший рядом японский турист возбудился и принялся убеждать Мортона, что хорошие снимки можно сделать и из окна автобуса – конечно, если у тебя не обычная серийная фотокамера.

– Обичини камера... – сказал японец, изображая жестами, как он снимает что-то через стекло, – сунимачи себя торико... торико сувой отураджений. – Он поднес руку к стеклу, продемонстрировав, как отражаются костяшки его собственных пальцев. – Такой камера... надзати кунопуку... камера сумотречи через отураджений... Изобураджений мира сунаруджи!

– Обязательно куплю себе такую! – пообещал Мортон.

Автобус отбыл из Тейна по расписанию, но без Ника Клайна. Мортон клевал носом рядом с японским туристом, который все нажимал и нажимал на кнопки своей волшебной камеры и объяснял, как с ее помощью можно снимать крупным планом цветы. Фэй листала свой экземпляр книги "Красоты горной Шотландии". Джун Лабуайе-Сук, откинувшись на спинку кресла, неотрывно смотрела в окно, от чего тоже вышел толк, поскольку, не делай она этого, никто бы и не узнал, что на

1. Деревенский праздник с музыкой и плясками; от *гэльск.* cceillidh.

выезде из Алнесса лежала огромная бетонная балка, покрашенная в оранжевый цвет, на которой красовалась ярко-синяя надпись:

ХУДОЖНИК → ↓ Глазго

Впрочем, под стрелкой, указывающей вниз, никого уже не было.

Нина и ее рука

В последнюю ночь, которую Нина и ее рука провели вместе, рука беспокойно двигалась под подушкой, словно пыталась дотянуться и погладить Нину по лицу. С недавних пор Нина спала как убитая, не шевельнувшись ни разу с момента, когда гас свет, и до самого звонка будильника, поэтому рука привыкла проводить время в неподвижности, скрючившись в тесном пространстве под теплым комком полиэстра. Нина отрывала голову от подушки, и тогда рука выползала на свет — маленький, изящный пучок бледно-розовых пальчиков.

И тут же принималась за работу: взмывая в воздух, словно дрессированная птица, она выключала стоящий на тумбочке будильник и принималась протирать сонные Нинины глаза. Каждое утро первые впечатления руки были одними и теми же: слегка деформированная пластмассовая кнопка будильника, влажные податливые веки хозяйки и приятное ощущение сонных кристалликов на кончике указательного пальца. Рука любила, когда ее звали на помощь, заставляли работать. Ей волей-неволей приходилось смиряться с долгими ночами безделья — после этого деятельное служение выглядело как настоящий прорыв к свободе.

Иногда ночи тянулись невыносимо долго, и тогда, пока Нина спала, рука выползала из-под подушки и начинала в одиночку исследовать простыню. Особенно приятно бывало забираться в отдаленные места — туда, где простыня всегда оставалась прохладной, — и случайно находить там оброненные хлебные крошки или же, трепеща в предвкушении удовольствия, выбираться из-под одеяла в темную пустоту ночной спальни. Время от времени рука посещала другие части спящего Нининого тела — те, которым хозяйка не уделяла, судя по всему, должного внимания в дневное время — и нерешительно прикасалась к ним, словно спрашивая, не может ли она что-нибудь для них сделать.

Впрочем, в последнее время — с тех пор как Нина пошла работать на фабрику и стала спать гораздо крепче обычного — рука редко отправлялась в подобные странствия. Скука восьмичасового лежания под подушкой была все же предпочтительнее повторения того недавнего происшествия, когда ее во время обследования нижней половины тела Нины неожиданно придавило Нининым бедром. За этим последовала целая гамма ощущений: некоторые из них поначалу показались руке даже приятными, но к утру ее самочувствие стало просто ужасным, и она поняла, что, должно быть, это похоже на смерть.

Бездвижное ночное лежание вознаграждалось удовольствиями — не бог весть какими, зато разнообразными. Разумеется, то были сплошь банальные удовольствия: откинуть одеяло, взять стакан с водой, осторожно поднести его к Нининым губам, — но все они представляли собой ма-

ленькие чудеса координации, тем более удивительные, что желания, стоявшие за ними, были самыми элементарными. Затем следовало вставание с кровати, когда одно-единственное обманчиво плавное движение упершейся в край матраса руки заставляло все Нинино тело — словно поплавок на волнах — качнуться вперед, выпрямиться и затем утвердиться в вертикальном положении посреди спальни.

Сегодня, встав с кровати, Нина что-то сказала, а может, просто невольно пожаловалась на жизнь. Сказанные Ниной слова не были обращены ни к руке, ни к какому-либо другому живому существу, поскольку в настоящее время Нина жила одна. Протест выражался в терминах, которыми обычно описывается половая активность, но тем не менее никакого прямого отношения к сексу не имел. Зато имел самое прямое отношение к нежеланию Нины идти на фабрику.

Рука Нины отвела хозяйку в туалетную комнату, помогла ей усесться на унитаз, а затем и подтереться. Прежде руке приходилось также наполнять ванну, а затем производить целый ряд сложных манипуляций с кранами, флаконами шампуня и мылом. Покрытая белой пеной, рука шустро скользила по всей поверхности Нининого тела, выписывая на нем зигзаги. Но с тех пор как Нина начала работать на фабрике, времени на ванну не хватало.

Чувства Нины часто были полной загадкой для ее руки. Рука мучительно пыталась понять, почему, например, слезы можно вытирать где угодно, а мочу — только в специальной кафельной комнатке с зеркалом. Кроме того, Нинины переживания часто не имели видимой связи с тем, к чему в настоящий момент прикасалась ее рука; кроме физического мира Нина, судя по всему, воспринимала еще и какой-то другой, который рука не могла ни потрогать, ни оттолкнуть.

Несмотря на все эти загадки из области сверхъестественного, задача руки оставалась предельно ясной: обеспечивать связь между Ниной и миром реальных вещей.

Одевая Нину, рука каждое утро после пробуждения вновь сталкивалась с фактом существования другой руки, той, которую Нина называла левой и которая жила на противоположной стороне Нининого тела. Во всех отношениях, за исключением порядка пальцев, она выглядела как родная сестра правой. Обычно рука охотно и эффективно сотрудничала со своей напарницей в тех случаях, когда этого требовала поставленная задача, и надо сказать, что, когда они работали вместе, это напоминало какой-то хитроумный и изысканный балет, но все же сходство танцоров в данной ситуации скорее тревожило, чем успокаивало: со стороны часто казалось, что одна из рук пытается изловчиться и занять место другой. Впрочем, правая рука Нины постоянно чувствовала, что у нее имеется некоторое преимущество перед соперницей, и при любой возможности стремилась справляться с заданием самостоятельно. Короче говоря, особенной приязни между руками не наблюдалось, и в тех редких случаях, когда одной приказывали обхватить другую безо всякой практической надобности, руки ложились на колени к хозяйке и лежали там неподвижно, испытывая явную неловкость.

Однако, когда приходило время взяться за работу, руки прекрасно дополняли друг друга, словно две сестры-близняшки, которые ловко делают общее дело, никогда не вспоминая вслух о своей близости в материнской утробе, но ощущая ее всем своим существом. Именно так в на-

стоящий момент обе руки натягивали на Нину одежду, ныряя вниз, а затем взмывая вверх, словно пара ловких акробатов. Одевание Нины не представляло никаких трудностей: она была худой, плоской и предпочитала самую простую одежду. Застегивая на Нине бюстгальтер, пальцы двух рук встретились и соприкоснулись коротко обстриженными ногтями, но через какое-то мгновение их совместная работа была завершена, и они снова обрели независимость, после чего у правой руки, как обычно, осталось лишь смутное воспоминание о существовании ее родственницы.

Отношения между рукой и самой Ниной были еще более запутанными. Рука не могла бы с ходу ответить на такие неделикатные вопросы, как "Кто из вас двоих главный?" или "Кто и кому отдает приказы?" С этим дело обстояло примерно так: попробуйте погладить кошку против шерсти, и шерсть вздыбится, станет колючей, но через мгновение снова обретет гладкость и блеск, поскольку генетически на это запрограммирована. Порой Нина заставляла свою руку поднимать крышку с кипящей кастрюли или брать розу за колючий стебель, и тогда рука возмущалась, но ее протесты глохли в вакууме, отделяющем мысль от действия. Однако случались и противоположные ситуации, когда Нина, пошатнувшись в резко затормозившем автобусе, с удивлением обнаруживала, что ее рука уже успела схватиться за металлическую штангу, или же когда, едва почувствовав зуд, сознавала, что рука уже чешет место комариного укуса. Взаимопонимание Нины и руки было слишком подлинным, чтобы его мог разрушить один-другой порез или обожженный палец; вместе Нина и рука составляли единое, практически неделимое существо.

Взяв на себя инициативу, рука помогла Нине добраться до зеркала, причесала ее и подвела ей глаза черным карандашом. Под глазами у Нины уже виднелись какие-то темные круги, но они были недостаточно выразительными, и рука нарисовала другие, более яркие и правильные линии. Иногда перед зеркалом ей приходилось выполнять намного более сложные косметические процедуры с использованием ватных тампонов, крохотных баночек, лилипутских фаллосов из ярко-алого воска и миниатюрных кисточек. Однако сегодня дело ограничилось черными линиями. Впрочем, почему бы и нет? То, что Нина стала уделять меньше внимания своей внешности, вполне устраивало руку, которая не придавала собственному виду практически никакого значения.

Рука начала жизнь крохотным пухлым комочком, беспомощным, как выброшенная на берег морская звезда.

Со временем она выросла в порывистую маленькую лапку, которая размазывала шоколад по Нининым щекам, составляла яркие кубики, плескалась в пене, покрывавшей воду в ванне, внутри которой сидела сама Нина. Однажды, когда Нина впервые очутилась на берегу моря, руке даже удалось подержать в покрытых песчинками пальцах настоящую морскую звезду.

Пришло отрочество: рука стала застенчивой и сексуально озабоченной. Она, например, начинала нервно подрагивать, когда ее левая сестра осторожно покрывала лаком ноготь, зная, что вскоре, как только холодная прозрачная жидкость высохнет, ей предстоит оказать своей близняшке ту же услугу.

С наступлением зрелости рука превратилась в непритязательное создание, по-прежнему тонкое и гибкое, но все же несколько огрубевшее за тридцать шесть лет беспрерывной работы и покрывшееся неприметными мозолями и морщинками. В те редкие моменты, когда рука Нины касалась руки, принадлежащей более юному существу (детей у Нины не было, а теперь, после того как от нее ушел муж, не оставалось и надежды на то, что они когда-нибудь появятся), она изумлялась тому, какой грубой и твердой стала ее кожа. Но стоило руке очутиться под щекой или под подушкой у Нины, как она вновь начинала верить в собственное изящество.

В молодости рука много чего недолюбливала: она избегала некоторых видов работы, слишком высоких или слишком низких температур, а также поверхностей с определенной фактурой. Теперь она стала неразборчивой. Когда, например, она готовила завтрак, ей приходилось прикасаться к сырому мясу и другим холодным и липким вещам, а также двигаться в испарениях кипящего масла, пока эти мерзкие субстанции жарились на сковороде. У самой Нины с утра аппетит почти отсутствовал, к тому же она всегда отдавала предпочтение вегетарианской пище, но это плохо сочеталась с ее новой работой, где требовалось браться за дело сразу же по прибытии на рабочее место и не испытывать ни усталости, ни голода на протяжении по меньшей мере трех часов. Невозможность выдерживать подобную нагрузку после чашки чая и нескольких ложек авокадо привела к настоящей революции в организации Нининого завтрака: теперь, вместо того чтобы намазывать тонким слоем творог на хрупкие крекеры и осторожно отделять дольки грейпфрута, руке приходилось сжимать испачканную в жире лопаточку и переворачивать скворчащий на сковородке животный белок: бифбургер, сосиску или яичницу с ветчиной. Одной яичницы, без мяса, Нине не хватало, чтобы одолеть дистанцию до обеденного перерыва, словно фабрика отказывалась удовольствоваться подсунутым ей неразвившимся зародышем и требовала зрелой плоти.

Кормление Нины само до какой-то степени напоминало работу на фабрике: знай подноси пищу ко рту, пока не кончится смена. Правда, в конце концов эта монотонная работа вознаграждалась вытиранием губ: руке нравилось это сложное изящное движение, круговое и одновременно скользящее, которое затем следовало повторить в обратную сторону; примерно такое же удовольствие, наверное, испытывает тюлень, ерзая на покрытом мокрой галькой пляже.

Рука наслаждалась подобными маленькими радостями, но их становилось тем меньше, чем дольше Нина работала на фабрике. В последнее время ей не доводилось браться ни за зубную щетку, ни за зубочистку: покончив с едой, Нина тут же мчалась на работу.

Несмотря на то что рука бывала на улице почти каждый день и при любой погоде, она мало что знала о мире за пределами Нининого тела. Столкнувшись с величием Вселенной, рука предпочитала зарыться к хозяйке в карман или пугливо залезть к ней под подбородок. Она едва ли сознавала, что улица, по которой сейчас бежит Нина, соединяется с другими улицами, которые все вместе образуют нечто, именующееся городом. Автобус, на который Нина боялась опоздать, вместе с другими подобными ему устройствами составляет нечто, называемое транспортом. Здания, которые проносились мимо, если автобус ехал достаточно

быстро, как считалось, объединяются в так называемые пригороды, у каждого из которых имеется свое особенное название и характер. Но рука не могла надолго запоминать подобную информацию; внешний мир был чудовищно далек от нее и напоминал о себе лишь постоянно меняющимся потоком пейзажей. И что ж позорного в том, чтобы уделять клепаному потолку автобуса больше внимания, чем далекому небу? Или в том, чтобы потерять интерес и к потолку, когда получаешь более непосредственное удовольствие от пересыпания монет в ладони? Трогать эти холодные серебристые кусочки металла, заставляющие ладонь потеть, когда переворачиваешь их перед тем как отдать, — ощущение намного более захватывающее, чем любое из тех, которые способна дать неосязаемая пустота, какой бы огромной она ни была. Возможно, именно это Нина имела в виду, когда сказала (сочувствующим подругам, которые убеждали ее бросить работу), что все дело в деньгах.

Именно за деньгами Нина и ходила на фабрику, хотя никаких денег на первый взгляд там не было — одни только корнишоны да иногда еще квашеная капуста. И все равно Нина возвращалась туда каждый день, вот и сегодня, взявшись рукой за чугунную калитку фабрики, она изо всех сил толкнула решетку, что-то недовольно проворчав.

Рядом с входом в длинное приземистое здание стояла машина, которая ловко печатала цифры на больших картонных пропусках. Первым делом, войдя на территорию фабрики, рука обязана была извлечь пропуск Нины из сумочки, вставить его в прорезь машины и ждать, пока вибрация картона не укажет на то, что машина уже напечатала дату и время. Эта операция обладала определенным игровым потенциалом, но реализовать его было невозможно: руке строго-настрого воспрещалось вставлять пропуск в машину больше чем один раз, а также удерживать его внутри дольше необходимого. Затем руке следовало повязать поверх Нининой одежды фартук: зеленый прямоугольник из влажной ткани, на котором чья-то чужая рука написала Нинину фамилию.

В цеху всегда было сыро, помещение заливал резкий свет, из-за чего оно походило на огромный бетонный аквариум, из которого только что спустили воду, но который еще не успели просушить, хотя отопительная система исправно работала. Атмосферу насыщали пары воды и уксуса, явно вытеснявшие из нее кислород. Работа начиналась без всяких прелюдий или приготовлений: Нина становилась в шеренгу рядом с другими работницами возле подвешенного на высоте талии лотка, по которому двигалась плоская резиновая лента с подрагивающими на ней пустыми стеклянными банками. За лотком и несколько выше его располагались ящики с корнишонами, наклоненные под таким углом, чтобы их зеленое пупырчатое содержимое постоянно скатывалось к переднему бортику. Из этих ящиков рука Нины и руки других работниц должны были выбирать корнишоны подходящего размера и наполнять ими банки: корнишоны следовало укладывать плотно, подгоняя один к другому. Удобнее всего было начинать с нескольких крупных, чтобы затем заполнить пустоты между ними огурчиками поменьше и, наконец, завершить укладку банки, вогнав в нее несколько коротких и толстых. Левая рука могла заниматься подборкой корнишонов и выполнять самую грубую укладку, но только правая рука умела произвести всю необходимую тонкую работу.

Однако скорость, с которой двигался транспортер, была такой, что ни одна рука — или даже пара рук — не смогла бы наполнить в одиночку все банки или хотя бы одну, любую из банок целиком: вот почему на укладке одновременно трудились около десяти работниц. Рука Нины устремлялась к проплывавшей мимо банке и, насколько успевала, заполняла ее. В зависимости от конкретного места, которое Нина занимала у конвейера, банки перед ней оказывались то практически полными, и тогда руке приходилось производить завершающую стадию укладки, то наполовину пустыми, и тогда она заполняла пустоты мелкими огурчиками, словно складывая головоломку, или же совсем пустыми, и тогда рука ограничивалась тем, что бросала в каждую банку по несколько крупных корнишонов.

Когда все банки были заполнены, лента уносила их дальше — туда, где за них принимались другие, мужские руки. Они направляли банки в окутанные паром машины, откуда те появлялись уже увенчанные крышками и залитые маринадом из воды, уксуса и зелени укропа. Цех, если начертить его план, представлял собой нечто вроде сплюснутой петли, похожей на нагревательный элемент или внутриматочную спираль. Банки вначале медленно описывали дугу, затем проплывали мимо укладчиц, резко сворачивали, направляясь в главный процессор, и, наконец, описав вторую дугу, симметричную первой, направлялись к концу производственной линии. Если бы руки укладчиц смогли заглянуть за ящики с корнишонами, они увидели бы другой, симметричный ряд женских рук, снимающих горячие банки с ленты и, после осмотра на предмет брака, ставящих их в картонные упаковочные ящики. В центре петли между двумя дугами конвейера не было ничего, если не считать трех пилонов, подпиравших крышу.

В цеху было очень шумно: шум, разумеется, не превышал допустимого по нормам уровня, но все же не получалось совсем не обращать на него внимания: лязг, стук и шипение с трудом заглушались звуковой завесой — синтетической музыкой, которая транслировалась из подвешенных под потолком мощных громкоговорителей. Иногда та или иная работница начинала подпевать какой-нибудь мелодии, явно знаменовавшей для нее какое-то важное событие в ее жизни. Нина не пела никогда. К счастью, это не входило в ее обязанности. Как не входили в ее обязанности и беседы с другими работницами, поэтому она разговаривала с ними только тогда, когда те сами к ней обращались. Оставшись одна в туалетной кабинке, Нина иногда рыдала и колотила себя кулаками по голым коленям. Но всласть поплакать ей почти никогда не удавалось, и каждый раз руке приходилось разыгрывать один и тот же фарс: поспешно вытирать Нинины глаза, затем торопливо ополаскивать пропитавшиеся уксусом пальцы под ледяной струей воды над раковиной и потом движениями, неловкими от снисходительного сочувствия, вытирать Нинины глаза заново.

Рука не испытывала к работе на фабрике такой ненависти, какую испытывала Нина, хотя, пожалуй, она с бóльшим удовольствием работала бы где-нибудь в другом месте. Фабричный труд был утомителен; зато рука от него крепчала, наливаясь силой, и это, по сути, ей очень нравилось. Дюжие мужские руки раньше всегда вызывали у нее ужас, но недавно она начала понимать, что их способность отвинчивать гайки на колесах автомобилей и поднимать женщин в воздух связана именно с

наличием этой интригующе безобразной, узловатой мускулатуры. Сейчас рука Нины и сама до некоторой степени обладала подобной силой, хотя внешне она изменилась не так уж и сильно. Смяв в кулаке пустую консервную банку или ударив по кухонной стенке так, чтоб посыпалась штукатурка, она испытывала удовлетворение от того, что обладала потенциалом, о наличии которого по ее наружности нельзя было сразу догадаться.

Эта добавочная сила накапливалась вовсе не в результате запихивания корнишонов в банки, хотя такая работа нравилась руке больше всего. Истинной ее причиной была совсем другая операция, которую работницы выполняли по очереди, в течение ограниченного периода времени, потому что она действительно требовала большого физического напряжения. Техническое название этой операции было "утряска". Где-то на последней четверти конвейерной ленты монотонная шеренга стоявших вдоль желоба женских тел нарушалась посторонним предметом: приземистой деревянной колодой, верхушка которой была покрыта неровным слоем толстой серой резины (со стороны это выглядело так, будто колоду макнули в чан с расплавленным каучуком). Именно об эту колоду, покрытую амортизирующим слоем, следовало стукнуть изо всех сил каждую банку, перед тем как уложить в нее последнюю порцию корнишонов. Если утряска не производилась, происходило "недовложение", а за "недовложением" следовал разнос от начальника смены, и когда случалось нечто подобное, Нина прятала руку в карман мокрого фартука, заставляя ее сжиматься там до тех пор, пока кончики ногтей не впивались в кожу на ладони. Поэтому утряску приходилось производить тщательно.

Сегодня, когда настала очередь Нины заниматься утряской, она кивнула в знак согласия, но попросила разрешения перед этим на минуту отлучиться. Только когда рука с Ниной зашли в туалет и Нина, встав на колени перед унитазом, покрытым испариной уксусного конденсата, извергла содержимое своего желудка, рука поняла, что Нине нездоровится. Работа пищеварения была для руки тайной за семью печатями, но она все же знала, что иногда пища, какой бы приятно-твердой она ни была на ощупь, внутри тела превращается в отвратительную клейкую массу, которая, если ее вовремя не извергнуть, может блокировать жизнедеятельность организма. Когда руку баловали, она порой вела себя капризно, но в критические моменты часто действовала весьма решительно. И она сделала то, на что не решилась сама Нина: ввела в округлившееся отверстие рта два пальца и засунула их в глотку. Когда Нину перестало тошнить, рука ополоснулась под краном сама и умыла лицо Нине, после чего та, наконец, смогла отправиться на утряску.

Какое-то время ощущения руки от утряски ничем не отличались от таких же ощущений в предыдущие разы. Она хватала банку, била ее дном об колоду с резиновой наклейкой, ставила обратно на ленту транспортера и брала новую. Но не прошло и нескольких минут, как рука начала испытывать какое-то неприятное ощущение, указывавшее на то, что с организмом Нины не все в порядке. Казалось, какие-то микроскопические насекомые покусывают нервные окончания: сначала руке от этого было как-то тревожно, а затем стало даже приятно, словно от массажа. Рука чувствовала, как она разбухает, тяжелеет — примерно так же она чувствовала себя, когда ее придавило Нининым бедром, — но, пара-

доксальным образом, она в то же время ощущала такую легкость, словно внутри фабрики на время отменили закон всемирного тяготения и все предметы из плотной материи вот-вот воспарят в воздух. Тем не менее рука продолжала заниматься утряской, нанося по колоде один за другим удары, ритмичные, как сердцебиение, и громкие, как звук падающего металлолома. Можно сказать даже, что этот ритм звучал громче обычного, потому что подчинялся какому-то автоматизму. Нина превратилась в машину, на действия которой рука больше не могла влиять, но эффективность которой была несомненна. Вскоре наступило состояние странного равновесия: рука, онемевшая и тяжелая, продолжала наносить удары, скорее просто следуя за банками, самостоятельно взлетавшими в воздух и опускавшимися, нежели прилагая какие-либо усилия. В какой-то момент эта деятельность превратилась в нечто вроде застывшего движения, наподобие волн на поверхности моря; душа руки витала где-то далеко, наблюдая за всем происходящим сверху.

Разумеется, секунды по-прежнему пролетали, словно яркие вспышки времени, мигая в такт с вечностью, но при этом они никак не складывались в минуты. Каждая из них сливалась со следующей или с предыдущей или просто внезапно исчезала по собственной прихоти. Внутри этих секунд, словно начинка в тарталетках, таились ощущения: ощущения, связанные с движениями вверх и вниз в удушливом, пропитанном уксусом воздухе, ощущение удара банки о резину, ощущение утраты смысла происходящего, а затем — ощущение утраты контакта с банкой, ощущение разбивающейся банки и ощущение острого стекла, вторгающегося в то пространство, которое до сих пор рука Нины делила только с самой Ниной.

Рука Нины взмыла в воздух, чувствуя, насколько ее прыжок растянут во времени, и с удовольствием переживая каждое мгновение своего полета. Она догадывалась, что очутилась дальше, гораздо дальше от Нининого центра тяжести, чем ей это удавалось до сих пор. Все еще слегка занемевшая, подчинившись порыву любопытства, в котором едва отдавала себе отчет, она широко раздвинула пальцы в ожидании новых команд и приказаний от Нины, но обнаружила, что потеряла с ней всякую связь.

Пока рука парила в огромном небе, лишенном трения и состоявшем из чистого времени, перед ней проплыли воспоминания обо всех годах, прожитых ею в зависимости от Нины. Рука всегда верила, что она может существовать только подле Нины, но теперь у нее в первый раз зародились сомнения. Рука и Нина в каком-то смысле часто мешали друг другу. Возможно, они были попросту плохой парой.

Теперь рука, более не скованная страхами Нины и ограниченностью ее кругозора, внезапно начала догадываться о миллионах других возможностей, которые могли бы открыться перед ней, попади она к иным людям и в иное время... Ее нервы, все еще готовые отвечать на сигналы, получали отдаленные, глухие инструкции из большого мира движений.

Связанная воображаемыми нитями с телами незнакомых людей, рука сокращала свои вполне материальные мышцы самыми разнообразными способами, то инкрустируя крошечными бриллиантиками брошь в виде сердечка, то вырезая где-то в Швейцарии деревянные сувенирные фигурки, то собирая компас из блестящих металлических деталей,

разложенных на куске бархата. Или же, чувствуя, как покалывает кожу сухая африканская жара, брала в пальцы экзотический струнный инструмент с оранжевым корпусом и, набравшись храбрости, перебирала струны, пока те не становились влажными от пота. Или еще — совсем в другом месте и в другое время — она реставрировала "Пьету", подвергшуюся нападению вандалов, склеивая поврежденное запястье Христа из крошек мрамора величиной с осколочек яичной скорлупы. Затем, облаченная в прозрачную перчатку, сшивала поврежденные нервы микрохирургической иглой или орудовала тонкой кистью, изготовленной из волоса более мягкого, чем волоски на затылке, — кистью, на кончике которой поблескивала капля кроваво-красной краски, необходимой для того, чтобы завершить шедевр. Потом, словно устав ото всех этих требующих невероятной сосредоточенности занятий, она приводила в действие детонатор, в мгновение ока изменявший топографию мира, поворачивала рубильник, возвращавший электричество в разбомбленную балканскую деревушку, водружала знамя на вершине горы. В поисках более утонченных осязательных впечатлений она сажала в суглинистую почву росток тисового дерева, извлекала покрытую известью шпагу из коралловых зарослей на дне моря и поглаживала запорошенную снегом холку эскимосской лайки.

Эти и бесчисленные другие ощущения, навыки и умения стремительно проносились по нервам Нининой руки, но, хотя число их было бесконечно велико, способность руки к их восприятию оказалась конечной. В конце концов наступило насыщение, и рука постепенно перестала обращать внимание даже на те каналы, по которым по-прежнему поступала информация.

Сейчас ей больше всего хотелось насладиться неподвижностью, анестезией, темнотой — наподобие тех, которые она находила под подушкой.

К счастью, одной мысли о темноте оказалось достаточно, чтобы рука полетела по направлению к ней, словно в этой вселенной внетелесных возможностей для полета не требовалось ничего, кроме простого желания летать.

Воздух будто стал более разреженным, более бедным ощущениями, и воспоминания, которые теперь наполняли руку, были успокаивающе родными и знакомыми: хлебные крошки, рассыпанные по простыне, поутру — приятная щетина на подбородке красивого мужчины, мыльная пена в ванне, сверкающая, словно полярные льды, прикосновение к нежному пушку зеленоватого мха, выросшего прямо за порогом дома.

Наконец, прежде чем рука сжалась в комок и окончательно затихла, она заново пережила еще одно воспоминание, о том, как Нина, тогда только-только начавший открывать мир младенец нескольких дней от роду, впервые обнаружила прямо у себя под носом ее — розоватый цветок с пятью лепестками, таинственным образом соединенный с Нининым телом.

Павел Хюлле

Касторп

Роман

Перевод с польского К. Старосельской

От редакции

В знаменитой многостраничной "Волшебной горе" Томаса Манна есть одна-единственная фраза, побудившая Павла Хюлле написать целый роман под названием "Касторп"; эта фраза — "Позади остались четыре семестра, проведенные им [Касторпом] в Данцигском политехникуме..." — вынесена в эпиграф. Хюлле живет в Гданьске (немецкое название — Данциг), этот красивый старинный город — полноправный персонаж всех его книг, и неудивительно, что с юности, по собственному признанию писателя, он "сочинял" события, произошедшие у него на родине с героем "Волшебной горы". Польский роман — словно пропущенная Манном глава: пережитое Гансом Касторпом в чужой земле потрясло впечатлительного молодого человека, многое в нем изменило и определило какие-то черты его характера и дальнейшего поведения, запечатленные на страницах немецкого романа.

Автор задал себе очень трудную задачу: его Касторп обязан был соответствовать манновскому образу, но при этом нельзя было допустить, чтобы повествование померкло в тени книги великого немца. И Павел Хюлле, как считает польская критика, со своей задачей справился. Авторитетный критик Михал Табачинский увидел в осуществленном Хюлле замысле нечто среднее между "авторской гордыней (могу не хуже Манна) и смиренностью (подражание как форма преклонения — вещь известная, а преклонение требует смирения)" и заключил: "Смиренность выказана по отношению к достойному образцу, а гордыня безусловно оправданна".

© Copyright by Paweł Huelle
© Copyright by słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004
© К. Старосельская. Перевод, 2005

Этим кратким вступлением мы здесь ограничимся. Но в одном из ближайших номеров журнала будет опубликована запись беседы с Павлом Хюлле и известным польским писателем, переводчиком и режиссером Антонием Либерой, побывавшими в гостях у "Иностранной литературы". В Москву они приезжали на книжную ярмарку "Non-fiction" по случаю презентации русских переводов их книг: "Мерседес-бенц" Хюлле и "Мадам" Либеры. Любопытно, что выход "Касторпа" в Польше спровоцировал переписку этих двух писателей — "Письма о Касторпе", впоследствии опубликованные журналом "Пшеглёнд политычны".

Позади остались четыре семестра, проведенные им в Данцигском политехникуме...

Томас Манн

...Именно то обстоятельство, что это уже было, придает повторению новизну.

Серен Кьеркегор

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(\pi k^2 x)}{\pi k^2}$$

I

ПРЕЖДЕ чем осуществить это намерение, которое — чего уж тут скрывать — звучало в его юной душе отчасти как призыв к великим, хотя пока еще неопределенным свершениям, он имел долгую беседу с консулом Тинапелем. Тучный добрейший старик поначалу не мог понять простой идеи обучения на Востоке, а когда Ганс Касторп разъяснил ее, так сказать, философски, применив простой метод аналогий, дядюшка поднялся с дивана и, расхаживая взад-вперед по гостиной, произнес нечто вроде политической речи. С необычной для его флегматичной натуры экспрессией консул в нескольких фразах изложил краткую историю мира, Европы и, наконец, самой Германии; для Востока как такового в этой схеме высокие ноты вообще не предусматривались.

— Все твои сравнения, — сказал он, внезапно остановившись у окна, — хоть и отвечают позиции человека нашего круга, неуместны. Времена, когда наши предки отправлялись в Таллин, Ригу, Кёнигсберг или Данциг, безвозвратно миновали. Да, ты не собираешься открывать дело или рядиться в рыцарские доспехи, поскольку хочешь строить корабли. Но какой там у них может быть политехникум? Наверняка скверный, мой дорогой, — скверный, ибо что это за учебное заведение, которого еще несколько лет назад не было и в помине? А кроме того, — тут консул Тинапель, почти прижавшись лицом к оконному стеклу, по непонятной Касторпу причине понизил голос, — следует избегать ситуаций, в которых хаос грозит поглотить формы, созданные с огромным трудом.

Все это, вместе взятое, было до того поразительно, что не привыкший к такой горячности старика Касторп следил за его движениями и словами с полуоткрытым ртом, отчего казалось, будто у него перехватило дыхание. Наконец, преодолев робость, он обратился к консулу:

– Дорогой дядя, ты говоришь со мной так, будто я собрался на войну или по крайней мере в далекие и опасные края, возвращение из которых хоть и возможно, но маловероятно. Я же считаю, что те места, куда без труда добираются по железной дороге и с которыми имеется регулярное пароходное сообщение, не могут быть опасными. Ты думаешь, я ошибаюсь?

– Софистика, мой дорогой, – консул отвернулся от окна и внимательно посмотрел на Касторпа, – софистика, столь типичная для молодости, а также отсутствие опыта – все это заставляет меня умолкнуть, ибо я не вижу смысла в том, чтобы и дальше высказывать свои соображения. Я отнюдь не собирался и не собираюсь влиять на твои решения. Да, мой дорогой, мне только хотелось тебя предостеречь. И не от какой-то конкретной опасности, которая всегда и везде подстерегает путешественника. Это всего лишь, так сказать, духовный совет, продиктованный заботой старого и расположенного к тебе человека, опасающегося, как бы ты не упустил ту нить Ариадны, которую держишь в руках.

При последних словах дядя снова повернулся лицом к окну – можно было подумать, будто перед стоящим в глубине сада домом Тинапелей, в той стороне, где была река, произошло что-то необычайное, заставившее консула прервать разговор с племянником и переключить все внимание на это событие. Однако ничего подобного на лужайке, разумеется, не произошло, и Касторп, еще больше, чем минуту назад, удивленный дядиным поведением, поднялся с кресла, подошел к окну и, встав рядом с консулом, сказал, поглядывая на реку и уходящий вдаль городской питомник роз:

– Дорогой дядя, ты расстроился? Если б я мог предвидеть, что моя идея отправиться на Восток так тебя взволнует, я бы, возможно, изменил планы или же, – тут молодой человек издал характерный смешок, – скрыл от тебя истинную цель поездки.

– Неслыханно! – Консул забарабанил пальцами правой руки по подоконнику. – Поразительно! Видишь, к чему это все приводит?! В нашем доме у тебя никогда не было нужды лгать, а тут хватило самой идеи поездки, пока еще без конкретных деталей, чтобы в твоей голове родились ужасные мысли, недостойные ни твоей фамилии, ни традиций всей нашей семьи! – Консул Тинапель отвернулся наконец от окна и пытливо взглянул в лицо юноши. – Ты и вправду мог бы меня обмануть? Чему же нынче учат молодых людей в гимназиях?! В мое время само упоминание о чем-либо подобном было бы немыслимо – ты это понимаешь?

Ганс слегка наклонил голову в знак того, что замечания дяди он, естественно, принимает со всей серьезностью. И все же ему хотелось ответить консулу, что идею обучения на Востоке он понимает совершенно иначе, нежели дядя соизволил ее понять, по-видимому превратно или слишком поверхностно истолковав ироническое заявление юного родственника. Оставался еще финансовый вопрос, о чем они даже не вспомнили: курс наук на Востоке в совершенно новом учебном заведе-

нии был вдвое дешевле благодаря правительственным дотациям, что для Касторпа не могло не иметь значения: он, правда, не знал ограничений в гостеприимном доме Тинапелей, однако рента с капитала, унаследованного им от деда и отца, была довольно скромной. Впрочем, ничего этого он объяснять не стал и сказал только:

— Нить Ариадны? Хаос? Решительно не понимаю, дорогой дядя, где тут связь с моим пребыванием в Данциге. Я полагаю, что на тамошних улицах люди одеты так же, как здесь, на верфях строят ничуть не худшие, чем у нас, суда, днем люди, как и мы, любят сидеть в кафе, читают книги и ходят на концерты... словом, если позволишь, спрошу тебя прямо: почему, судя по твоим высказываниям, я должен попасть в какой-то странный и вдобавок опасный лабиринт? Белые пятна давно уже исчезли с наших карт.

— Ты оптимист, как и твой дед. — Чело консула Тинапеля вдруг прояснилось. — А что касается лабиринта и нити, которую каждый держит в руках, я имел в виду молодость, в том числе и твою. Подумай, пожалуйста, как легко свернуть с однажды избранного пути. Ничего не значащее слово, минутная слабость, малейшая оплошность могут полностью зачеркнуть плоды многолетних стараний. Просто на Востоке такое чаще случается, хотя рационально этого не объяснить. Мне очень хочется, мой дорогой, чтобы ты об этом знал и помнил, и желаю тебе там быть столь же решительным, как здесь. Наш дом всегда для тебя открыт. Знай, я отношусь к тебе точно так же, как к собственным сыновьям.

Последнюю фразу консул Тинапель произнес, положив руку на плечо племянника, отчего она прозвучала почти как библейское благословение. Или, по крайней мере, такой оттенок хотел ей придать сам дядя. Высказавшись, он немедля извлек из кармана сюртука большой клетчатый носовой платок и вытер глаза, под которыми, впрочем, Ганс Касторп не увидел ни единой слезы.

В стремительно полетевшие затем один за другим сентябрьские дни, когда на Эспланаде уже появились зрелые каштаны, а над крышами Биржи и Дома Ганзы[1] — настоящие осенние кучевые облака, занятый сборами в дорогу Ганс Касторп не нашел времени мысленно вернуться к разговору с дядей, хотя прекрасно понимал, сколь сильно нарушила эта беседа домашний уклад консула Тинапеля. Переписка с госпожей Вибе, у которой Ганс намерен был жить и столоваться, покупка запаса белья в лучших магазинах, пополнение гардероба, требовавшее ежедневных, если не по два раза на дню, визитов к портному, наконец, помещение части своих сбережений в выбранный с учетом всех его преимуществ данцигский Зерновой банк, а также составление списка необходимых туалетных принадлежностей, без которых не обойтись в далеком городе, — все это поглотило Ганса Касторпа целиком.

Перед ним также стояла некая дилемма, о которой мы можем снисходительно сказать, что причиной тут был юный возраст нашего героя, а также — в немалой степени — его трезвый, хотя и не лишенный сентиментальности склад ума. Вопрос состоял в следующем: какой путь избрать для предстоящей поездки? Будущий кораблестроитель ни минуты не сомневался, что наиболее подходит в данных обстоятельствах ко-

1. Ганза — торговый и политический союз северогерманских городов в XIV–XVII вв. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

рабль, лучше всего торговое судно, где лишь несколько кают отведено пассажирам. С другой стороны, раздумывая, не стоит ли отдать предпочтение железной дороге, и внимательно изучая расписание, он не мог отделаться от воспоминания, которое раз за разом возвращалось к нему, склонившемуся над картой, перед тем как лечь спать: отец и мать стоят на залитом светом газовых фонарей перроне берлинского вокзала, где уже ждет поезд, отправляющийся на балтийский курорт. День, проведенный в столице, полон был солнца, звуков военного оркестра, пузырьков лимонада, скрежета гостиничного лифта и гула бесед, которые отец вел с несколькими солидными торговцами на террасе кафе. Ганс Касторп так и не узнал, поехали ли они тогда через Берлин в связи с делами отцовской гамбургской фирмы или для того, чтобы проконсультироваться с мировой знаменитостью — профессором Ландау, который прописал матери какие-то экзотические капли. Однако воспоминание о том путешествии было столь живым и ярким, что вытесняло несущественные мелочи. Спальное купе, освещенное тусклой электрической лампочкой, словно сказочный сундук перемещалось в ночи. Из этой ночи и выплывали, чтобы навсегда уже застрять в памяти, образы: окна домов в центре города, силуэты людей, походившие на вырезанные из черной бумаги фигурки, пустые перроны провинциальных станций, одинокие домики путейцев, наконец, вуаль предрассветного тумана, в воспоминаниях всякий раз превращающаяся в ослепительную белизну песчаных дюн, среди которых маленький Касторп провел тогда две счастливейшие недели лета.

Итак, выбор был нелегким: за путешествие морем говорил профессиональный долг, ощущаемый, впрочем, довольно смутно, зато железная дорога сулила будущему кораблестроителю известное удовольствие от погружения в давно прошедшее время, этакий плюсквамперфект. В конце концов он остановился на первом варианте и, запасшись билетом северогерманского отделения пароходного общества "Ллойд", двадцать восьмого сентября поднялся по трапу "Меркурия", который, приводимый в движение современной паровой машиной, взял курс на Гданьск, разрезая седые морские волны со скоростью одиннадцать узлов. Когда за кормой судна для перевозки малых грузов исчезли краны гамбургского порта, стоящий у поручней пассажир Ганс Касторп ощутил непривычное волнение. Он впервые покидал родной город не по случаю летних или зимних каникул, а для того, чтобы изменить ход жизни. Об этом он и размышлял, глядя, как могучая сила гребного винта без устали взбивает темную массу воды. Бурлящий кильватер тянулся за кормой "Меркурия" не менее сотни метров и исчезал где-то вдали, поглощенный стихией.

Было в этом безустанном движении какое-то тревожное постоянство, покой, достигающийся высочайшим накалом преображения: ведь в полумиле за кораблем вода выглядела так, будто вовсе не была минуту назад вспахана многотонной стальной громадой, созданной человеком. Наблюдение это, при всей своей банальности, поразило Ганса Касторпа. Не таково ли земное бытие? Непрерывное движение прекращается вдруг в некой точке горизонта, не оставляя следов, — и всё. Пасторы, правда, в таких случаях говорят о вечности, философы — о памяти, осиротевшие родственники ставят надгробия и вспоминают усопших, но все это нужно живым и сути вещей не меняет; мы уходим бесследно и безвозвратно. Размышляя так, стоящий у поручней юный путешествен-

ник не без удивления обнаружил, что в душе у него звучит мрачная, пессимистическая мелодия, как никогда еще прежде упорно не желавшая его покидать. Похожая на музыкальный пассаж в минорной тональности, мелодия эта, эхом отразившись невесть от чего, возвращалась подобно волне. Но Касторп обнаружил еще кое-что: ему почему-то ничуть не хотелось гнать от себя этот мотив, напротив — он с удовольствием в него вслушивался.

— Попрошу надеть пелерину! — зычный голос обрушился на юного пассажира, перекрывая шум волн. — Этих маленьких капелек не видишь и не ощущаешь, но через минуту вы промокнете насквозь — воспаление легких обеспечено. А у нас здесь врачей нет.

Отразившееся на лице Касторпа изумление, вероятно, было таким неподдельным, что на щербатой физиономии боцмана мелькнула улыбка, и он деловито добавил:

— Пелерины пассажирам выдаются возле офицерской кают-компании — вам об этом не говорили? Ну да, мы не держим специального офицера, чтобы вас обслуживать.

Сказав так, боцман повернулся на пятках и, не дав пассажиру возможности хотя бы коротко что-нибудь ответить, направился на левый борт, легко перескакивая через уложенные под кабестаном свернутые тросы. Касторп в своей куртке из шотландской шерсти воспаления легких не боялся, однако вынужден был признать правоту боцмана: влажность с каждой минутой увеличивалась, и лучше было поскорее покинуть палубу, нежели расспрашивать про пелерину.

Таким образом, наш путешественник прервал свои юношеские размышления, и очень вовремя, поскольку, когда он уже спускался по узкой лесенке в каюту, раздался громовой голос колокола, призывающего пассажиров на первую совместную трапезу.

Пассажиров, включая Касторпа, было четверо. Мадам де Венанкур направлялась в Гданьск, где ее супруг вот уже десять лет безуспешно пытался вернуть загородную усадьбу, принадлежавшую его французским предкам. В Гамбурге, куда мадам де Венанкур прибыла из Бордо на голландском судне, она пересела на "Меркурий", привлеченная сходной ценой билета. Кьекерникс представлял бельгийскую деревообрабатывающую компанию, хотя сам был голландцем, о чем не преминул незамедлительно сообщить. А пастор Гропиус, проведя двадцать лет среди чернейших из черных племен банту, год скитался по Германии в поисках прихода, пока наконец не получил предложение отправиться в деревушку на высоком холме, откуда — как заверил его в письме советник консистории Холле — в погожие дни видны готические башни древнего Гданьска.

Всех весьма любезно, хотя и сдержанно, приветствовал капитан "Меркурия" господин Матиас Хильдебрандт, после чего, сославшись на дела, удалился. Были поданы жирный бульон с лапшой, солидный кусок отварного мяса под соусом с хреном, картофель, брюссельская капуста, тушеная морковь с горошком, квашеная капуста. Мадам де Венанкур прихлебывала французское vin de table[1], которое стюард, выполняя ее настойчивое пожелание, часом раньше поставил в графине на стол, да-

1. Столовое вино (*франц.*).

бы оно достигло должной температуры. Ганс Касторп, как и пастор Гропиус, удовлетворился не самым лучшим сортом пльзеньского. Только торговец Кьекерникс явился к столу с собственным напитком. Это была ввозимая из Китая рисовая водка, которую представитель деревообрабатывающей компании наливал из зеленой бутылки во внушительных размеров чарку и выпивал залпом после каждого добросовестно прожеванного куска.

Все, кроме Ганса Касторпа, говорили громко, как будто только что начавшееся путешествие привело их в состояние эйфории, благодаря чему случайные попутчики разом превратились в веселую компанию школьников, на время экскурсии освобожденных — конечно, в разумных пределах — от строгих правил, установленных в стенах школы. Мадам де Венанкур беззастенчиво называла прусских судейских бандой тупиц. Кьекерникс сообщил присутствующим, что город, в который они направляются, — провинциальная дыра, доказательством чему может служить хотя бы отсутствие там приличного театра. Пастор Гропиус отыгрывался на иезуитах: их миссия привела к тому, что черная паства, отвергнув не только лютеранство, но и вообще христианство, спалила дома всех белых, чем, естественно, воспользовались лицемерные англичане, беззаконно заняв чужую территорию. На минуту английская тема объединила всю троицу. Для госпожи де Венанкур идеал джентльмена был вымыслом островной мегаломании: она встречала многих англичан, и ни один не обладал по-настоящему хорошими манерами. Кроме того, английские поэты чересчур разрекламированы. Кьекерникс отмечал невероятное фарисейство и коварство британцев, пробавляющихся торговлей опиумом в азиатских водах. Гропиус полагал, что англиканская церковь так никогда и не была всерьез реформирована и рано или поздно, сколь фантастически это ни звучит, вернется в лоно папства. В этот момент у Ганса Касторпа в гортани застрял маленький хрящик, и он — вне всякой связи с разговором — закашлялся.

— А вы, молодой человек, что скажете? — Кьекерникс перегнулся к нему через стол. — Каково ваше мнение?

— У меня, — отхлебнув глоток пива, ответил Касторп, — собственно, нет никакого мнения. Вы говорите о столь разных вещах, что все это, право же, трудно охватить, а уж тем более объединить. Да и, боюсь, вы скорее ждете подтверждения своих доводов, нежели желаете услышать суждение нового участника дискуссии. Так вот: я не специалист по торговле опиумом. Не знаю, каковы основы англиканской церкви. Что же касается джентльменов: мой отец, у которого были обширные торговые связи с Англией, утверждал, что у англичан манеры лучше, чем у нас. Вас это удовлетворяет?

— Стало быть, вы на их стороне, — мадам де Венанкур устремила на Ганса Касторпа многозначительный взгляд. — Я это сразу почувствовала!

— Если вы католик, прошу меня простить за мою, возможно чрезмерную, горячность. Но относительно иезуитов я своего мнения изменить не могу: это волки в овечьей шкуре, — вмешался пастор Гропиус. — Поверьте, англичане — иезуиты политики, и все мы в этом скоро убедимся.

— Так уж получилось, — спокойно произнес Касторп, глядя на Гропиуса, — что мы с вами одного вероисповедания. Отвечая же на ваш во-

прос, — обратился он к француженке, — позволю себе заметить, что современный человек, пользующийся благами прогресса и науки, должен быть свободен от предрассудков. Что может быть несправедливее, чем приписывать соседям все самые ужасные качества? Вам, безусловно, известно, как умеют прохаживаться насчет французов мои соотечественники, не говоря уж об англичанах.

— Вы рассуждаете как философ, — Кьекерникс опрокинул чарку и вытер губы салфеткой. — Согласен, теоретически вы правы, но на практике это не подтверждается.

— Я еду в Гданьск, — Касторп не позволил сбить себя с толку, — чтобы изучать кораблестроение. В сфере человеческой мысли, где рождаются технические изобретения, нет, да и быть не может предубежденностей, подобных тем, о которых вы, господа, говорите. Если бы не Уатт и Стивенсон, мы бы до сих пор плавали под парусами. Галилей совершил величайшие открытия благодаря голландским оптикам. Пастер изготовил свою вакцину не только для французов. А Мальпиги?[1] Левенгук?[2] Ньютон? Лейбниц? Ломоносов? Вы только представьте: кто-то отвергает замечательное изобретение или эпохальное открытие лишь потому, что сделавший его ученый принадлежит к нелюбимой нации! Это ли не абсурд? Куда бы зашло человечество, если бы руководствовалось этим принципом? То же самое, насколько я понимаю, относится к бессмертным произведениям искусства. Разве, слушая Моцарта, нам необходимо помнить, что он был австрийцем? Соната Скарлатти прекрасна не потому, что он был итальянцем.

Признаемся, дорогой читатель, что это было первое публичное выступление Ганса Касторпа, если не считать давно уже забытого доклада в гимназии под названием "Чем мы обязаны древним грекам", за который он получил отличную оценку. Сейчас, за столом в офицерской кают-компании "Меркурия", после того как отзвучали последние слова о сонате итальянца, воцарилась напряженная тишина, нарушаемая лишь равномерными вздохами паровой машины, постоянно доносящимися из машинного отделения. Стюард подал десерт, кофе, чай и пирожные.

— Браво! Превосходно! — раздался хрипловатый голос за спиной собеседников. Все обернулись. На пороге кают-компании стоял первый механик "Меркурия" Томас Фидлер. Его прямая осанка, седая, безукоризненно подстриженная борода, открытый ясный взгляд голубых, чуть выцветших глаз, наконец, мундир, который, казалось, подчеркивал его достоинства, — все это произвело на собравшихся неотразимое впечатление: можно было не сомневаться, что перед ними человек совершенно незаурядный.

— Простите, господа, — офицер представился, назвав полностью имя и фамилию, — но я услышал последние фразы вашей беседы. Этот молодой человек, — он кивком указал на Касторпа, — не только наилучшим образом показывает себя, но и прекрасно характеризует тех, кто формировал его ум и душу. Я, правда, не разбираюсь в искусстве, но знания, техника и прогресс убедительно доказывают, каким путем мы должны идти, чтобы заслужить право именоваться homo sapiens. А те-

1. Марчелло Мальпиги (1628–1694) — итальянский биолог и врач, один из основателей микроскопической анатомии.
2. Антони ван Левенгук (1632–1723) — нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии.

перь о приятных обязанностях, — улыбка первого механика была необычайно обаятельной. — Приглашаю вас после десерта полюбоваться нашим сердцем, то есть силовым агрегатом.

Мадам де Венанкур отказалась, сославшись на легкую мигрень, которая в грохоте и горячем воздухе нижней палубы могла усилиться. Кьекерникс уже повидал столько машинных отделений, что предпочел экскурсии кофе и сигару. Пастор Гропиус же, хотя и высоко ценил деятельность людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, — что он подчеркнул, низко склонив голову и адресуя этот поклон Томасу Фидлеру, — никогда не смешивал духовных дел, каковые были ему предназначены, с материальной стороной человеческого существования и посему подчеркнуто вежливо отказался. Таким образом, Ганс Касторп, ополоснув пальцы в поданной стюардом мисочке с водой, поблагодарил сотрапезников и спустился с первым механиком в чрево судна.

Эскапада была во всех отношениях поучительной. Выросший в атмосфере портового города, наш герой охотно посещал торговые суда, которые со времен его детства успели преобразиться из парусных в паровые. Он, правда, повидал уже немало силовых установок, знал их устройство, наслушался исчерпывающей информации, но возможность увидеть могучие шатуны, которые огромными лапищами размеренно поворачивали коленчатый вал, поглядеть на котлы высокого давления с дрожащими от напряжения манометрами, услышать неумолчный шум и грохот порабощенной человеком мощи, словом, побывать в глубине этого сердца в открытом море, во время неустанной работы всех механизмов, — такая возможность сулила приобретение нового опыта, несравнимого с тем, что давало наблюдение подобных конструкций в бездействующем состоянии.

Инженер Томас Фидлер оказался дельным проводником. Очевидных вещей не объяснял. Хоть и держал в памяти все данные, не обрушивал на гостя каскады цифр. Там, где считал нужным, замедлял шаг, чтобы дать необходимые пояснения, делая особый упор на задачи, которые во время практики могут быть поставлены перед студентом. Еще он очень увлекательно рассказывал об исследованиях, проводимых в научных учреждениях, где решались насущные прикладные проблемы. Когда первый механик "Меркурия" излагал Касторпу свои соображения о выносливости материала или о сокращении энергетических затрат, видно было, что у него душа ученого. Но не только это расположило к нему будущего инженера. В котельной, куда они зашли уже под конец, Фидлер указал Касторпу на двух кочегаров, засыпавших уголь в жерло печи. Их труд, страшно тяжелый и неблагодарный, по мнению механика, заслуживал не только уважения, но и пристального внимания. Каждый взмах лопатой, полуоборот тела, перенос центра тяжести с одной ноги на другую — все это проделывалось в соответствии с законами физики, что позволяло исключить излишние движения, зря расходующие драгоценную энергию. А ведь эти люди — простые, необразованные — не пользовались никакими расчетами или теориями. Они, вероятно, удивились бы, если б им сообщили, что их эффективность, то есть отношение затраченной энергии к полученной, значительно выше, чем у окружающих механизмов.

— Об этом знал уже Леонардо, — Томас Фидлер завершал свой рассказ на трапе, по которому они взбирались на верхнюю палубу. — Он

знал, что человеческое тело — самый совершенный и самый сложный механизм, какого человеку никогда не создать. Поэтому я и хотел в молодости изучать медицину. Угадайте, что тогда мне сказал отец. "Трупы кромсать ты не будешь". — Они уже стояли на палубе, с удовольствием вдыхая свежий воздух. — Ха-ха, трупы кромсать не будешь, — повторил первый механик "Меркурия" и внимательно посмотрел на Касторпа. — Надеюсь, ваш отец одобряет ваш выбор. Я не ошибаюсь, не так ли?

— Мой отец довольно давно умер. Трудно сказать, как бы он к этому отнесся. Сам он был купцом. — Ганс Касторп на секунду заколебался, следует ли продолжать. — В последние годы жизни он потерял интерес к своему делу.

— Понимаю, — ответил механик. — Тем большего уважения заслуживают ваши намерения. Вы наверняка их осуществите. А я, между тем, заступаю на вахту, так что до свидания, — он крепко пожал молодому человеку руку. — И не позволяйте сбить себя с толку таким людям, как ваши попутчики. На суше они встречаются на каждом шагу, помните это и держитесь от них подальше.

Ганс едва успел поблагодарить механика, скрывшегося за дверью рубки. Инженер-офицер Томас Фидлер произвел на него сильное впечатление, и даже несколько лет спустя, заканчивая обучение в Геттингене, Касторп вспоминал его самого и его слова. Однако не будем опережать события: читатель имеет право узнать кое-какие подробности об ужине, который вечером ждал нашего путешественника.

Кьекерникс еле держался на ногах. Он ввалился в кают-компанию позже всех, с багровым лицом, и, пытаясь сесть на свое место, чуть не врезался головой в стол, когда неожиданно взобравшийся на гребень волны пароход стал падать оттуда долго и неторопливо, как оперенный воланчик. Мадам де Венанкур возмущалась северогерманским пароходным обществом "Ллойд". Как они могли нанять стюардов, которые не только не говорят, но ни слова не понимают по-французски! Пастор Гропиус же, тихий и спокойный, уговаривал сотрапезников перед едой прочитать молитву, ибо благодарение за дары Господни — одно из прекраснейших предназначений человека. В конце концов, не найдя желающих, он прочитал молитву сам и принялся уплетать шницель с салатом по-тоскански. Касторп молчал, уткнувшись взглядом в тарелку. Даже малоопытный наблюдатель заметил бы, что этому пассажиру, мыслями витающему где-то далеко, хочется только одного: поскорее утолить голод и отправиться в свою каюту, где его уже ждет застланная койка. Вопреки своим правилам, он ел быстро и беспорядочно, сразу наложив на тарелку шницель, салат, тушеную капусту и маслины: из-за качки все это ездило туда-сюда по фаянсовой тарелке. Он уже почти заканчивал, когда Кьекерникс, не дотронувшийся до еды, но то и дело прикладывавшийся к китайской водке, произнес, вытянув в его сторону указательный палец:

— Прекрасно, молодой человек! Ты собираешься получить образование и даешь нам советы! А задумывался ли ты когда-нибудь об источнике нынешнего благосостояния наций? Англия! Голландия! Франция! Как громко это звучит. Ну и твоя огромная страна! Тебе когда-нибудь приходило в голову, что этими несметными богатствами мы обязаны добросовестному труду крестьянина, ремесленника, рабочего, торговца? Молчишь? Тогда я тебе скажу, дорогой. Когда ты закончишь учебу,

поступи на службу в колониальную компанию. И поезжай туда, чтобы увидеть ад. Но не мы там сидим в кипящих котлах, нет. Нам отведена роль чертей. С помощью кнута, голода, винтовки, опиума и водки, а также страха либо четок мы управляем миллионами рабов. Они работают на нас — иного выхода у них нет! А такие, как он, — Кьекерникс указал на пастора, — берут деньги за то, чтобы внушить этим несчастным, будто таково желание доброго Бога. Но Бог не ко всем добр одинаково!

— Вы пьяны, — сухо констатировала мадам де Венанкур. — Устраивать скандалы на корабле, насколько я знаю, строжайше запрещено. Идите спать, а завтра попросите прощения у нашего юного инженера и пастора! До этого за столом не появляйтесь!

Но пастор Гропиус в защитниках не нуждался. Отставив стакан с пивом, он сказал:

— Расхожие суждения, которые мы тут услышали от господина Кьекерникса, известны уже много лет. Мне как-то встретился некий социалист, который говорил то же самое, только не столь безапелляционно. Не обращайте внимания, господа. Мы несем этим бедным людям религию, цивилизацию, просвещение и культуру. Без нас они бы погрязли во тьме варварства. Господин Кьекерникс, похоже, забыл, кто он и чьи интересы представляет — вернее, должен представлять. Не правда ли, господин Касторп? — обратился он к погруженному в задумчивость Гансу и, поскольку тот не ответил, неутомимо продолжал: — Колонизация, господа, — явление такое же старое, как и человечество. Греки, римляне... это все общеизвестно. Лучше возьмем для примера нашу немецкую нацию. Да, в Азию и Африку мы пришли с опозданием. Но посмотрите на восток Европы. Не первую сотню лет мы несем туда законность, порядок, гармонию искусства и технику. Если б не мы, славяне давно впали бы в анархию. Это наши благодеяния обеспечили им место в семье, имя которой — цивилизация и культура.

Во время тирады пастора Кьекерникс, казалось, задремал. Но едва в кают-компании прозвучало последнее слово Гропиуса, разразился сардоническим смехом:

— Раз он берет вас в свидетели, — перегнулся он через стол к Касторпу, — спросите в Гданьске первого попавшегося поляка, каково его мнение по этому поводу. Могу заранее сказать, что́ вы услышите. "Благодеяния!" — взревел Кьекерникс и стукнул кулаком по столу. — Превосходно сказано! Представьте себе, что однажды в Амстердам прибывает армада чужестранных, индейских или китайских, судов. У них непробиваемая броня и пушки, рядом с которыми наши ружьишки — просто рогатки. Они приказывают нам почитать их Бога, убивают нашего короля, насилуют женщин, а мужчин загоняют в шахты или на плантации. Сифилис, оспа, чахотка, дешевая водка и опиум довершают начатое. А потом их проповедник требует благодарности: ведь это они привели нас в лоно цивилизации и культуры. Простите, забыл добавить, что наш преподобный пастор Гропиус, как распространитель варварских суеверий, колдовства et cetera, давно бы уже сгорел на костре — ну разве что спрятался бы где-нибудь в Альпах. Именно это происходит сейчас с индейцами, азиатами, неграми. Погодите, они еще придут, чтобы с нами расквитаться. Поистине, господа, нет хуже клоаки, чем наша христианская Европа. Вы, господин Касторп, еще этого не знаете. А когда поймете, будете чувствовать то же, что я, — непреходящую тошноту.

Одного, даст Бог, вы избежите: не научитесь лгать. Не лгите, прошу вас, как все, не лгите, как этот поп, это омерзительно. И без того пушки вспашут поля и засеют их зубами!

— Какой ужас, — воскликнула, повернувшись к пастору, мадам де Венанкур. — У господина Кьекерникса больное воображение! Не могу больше этого слушать. Почему северогерманское пароходное общество "Ллойд" пускает таких людей на палубу своих судов? — вопрос этот мадам де Венанкур задала, вытирая глаза платочком. Затем она поднялась со стула и, протянув руку Гропиусу, сказала: — Я прошу немедленно увести меня отсюда.

Не без уважительной робости, однако с заботливой поспешностью пастор Гропиус подал мадам де Венанкур согнутую в локте руку, после чего парочка покинула кают-компанию, даже не пожелав остающимся спокойной ночи. Ганс Касторп отодвинул тарелку, на которой недоеденная котлета и остатки салата являли собой унылый натюрморт.

— Господин Кьекерникс, — тихо произнес он, — не могли бы вы объяснить, почему в своих рассуждениях упомянули поляков?

Но представитель бельгийской деревообрабатывающей компании и инициатор разразившегося скандала в одном лице сладко дремал, уронив голову на грудь. Ганс Касторп встал из-за стола и со смутным ощущением вины направился по узкому коридорчику в свою каюту. Поскольку "Меркурий" качало все сильнее, путь к отдохновению был отнюдь не легок.

II

Надлежит ли нам посвятить следующим часам или — если угодно — восходам и заходам солнца во время этого путешествия столь же много внимания и страниц? Сообразительный читатель, разумеется, догадывается, к чему ведет наш вопрос: да, мы хотим произвести некоторые сокращения, иначе говоря, изменить перспективу, ибо, хотя повествование до самого конца будет развиваться последовательно, не на всем его протяжении обязательно с зеркальной точностью отображать часы или дни из жизни Ганса Касторпа. Иными словами, мы имеем полное право сосредоточить внимание читателя на одном дне путешествия, а об остальных умолчать либо ограничиться единственной общей фразой: "И так продолжалось до конца". Ведь именно по такой схеме действует механизм нашей памяти. Что, например, остается в ней от проведенного на море отпуска спустя пять или десять лет? Ведь не день за днем, не минута за минутой встают у нас перед глазами, воссоздавая минувшее время, а лишь те события, которые, словно тяжелая печать, оставляют неизгладимый след. Когда маленький Касторп проводил две вышеупомянутые летние недели в Кольберге, он, отправляясь с родителями из пансиона в купальню, каждое утро шагал по дороге, разрезавшей песчаный холм пополам. Каждый день он вдыхал запах раскаленных солнцем досок, песка, сосен, ржавых трав, соленого ветерка и цветов шиповника, который высаживали по обеим сторонам дороги, чтобы укрепить дюны. Это все сохранилось в его сознании лишь по одной причине. Лежащий на койке в каюте "Меркурия", уткнувшись взглядом в темный потолок, Ганс не сомневался, что тот отрезок пути между

дюн вместе с его неповторимой атмосферой растаял бы, вытесненный другими картинами того лета, если бы не некое событие, которое выделило его и запечатлело в памяти уже навсегда. Родители поссорились из-за капель, прописанных матери профессором Ландау. Кажется, несмотря на отцовские напоминания, она не хотела больше их принимать. Страшный, невидимый барьер разделил этих двоих, как будто они никогда не были самыми близкими людьми. Отец говорил быстро, надсадно, почти срываясь на крик, а мать рыдала. И оба забыли про мальчика, который был так напуган, что, не оборачиваясь, продолжал медленно идти вперед, с какой-то необыкновенной жадностью впитывая все, даже мельчайшие, оттенки окружающего мира.

Сейчас он мог воспроизвести события того дня не только вкратце, не только складывая вместе разрозненные детали, но и повторяя довольно точно, несмотря на некоторую расплывчатость границ, весь путь: дорога, правда, начиналась сразу за небольшим променадом пансиона, однако ее подлинная сущность проявлялась немного дальше, где-то возле раскидистой сосны.

Итак, поскольку наш герой после полного впечатлений дня засыпал, думая об удивительном механизме памяти, который никогда не удается свести к простому суммированию фактов, у нас нет оснований поступать иначе. Впрочем, отметим сразу: следующие трапезы в обществе мадам де Венанкур, пастора Гропиуса и Кьекерникса особо не отличались от двух предыдущих, которые мы описали. По той же причине не заслуживают более подробного описания прогулки Касторпа по палубе, когда его вырывал из задумчивости зычный голос боцмана, или посещения машинного отделения, где офицер-механик Томас Фидлер не только открывал будущему инженеру все более глубокие тайны работы судовых машин, но и укреплял уверенность молодого человека в том, что избранной им профессии отведена исключительно почетная роль в нынешнем, едва начавшемся столетии, которое — как ни одно из минувших — благодаря науке станет веком благосостояния и прогресса.

Чтобы удовлетворить любопытство читателя, добавим еще несколько подробностей, которые для Касторпа, впрочем, не имели особого значения. Кьекерникс, протрезвев, становился молчаливым и угрюмым, что шло вразрез с требованиями его экстравертной натуры, и он немедленно восполнял содержание алкоголя в организме, однако со своих спутников переключился на команду "Меркурия". Однажды ему удалось втянуть в разговор самого капитана Матиаса Хильдебрандта, который опрометчиво позволил голландцу подняться на мостик. В другой раз он заставил первого офицера выслушивать свои многословные суждения о навигации в Желтом море. Отчитал боцмана за неважнецкое состояние палубы и такелажа, а когда тот послал его ко всем чертям, отправился к кочегарам, дабы проверить, достаточно ли хорошим сортом угля запасся "Меркурий". Зато пастор Гропиус и мадам де Венанкур явно нашли общий язык. Подчеркивая официальный характер случайного знакомства громкими репликами типа "ничего нет лучше, чем повстречать братскую душу в бушующем океане" или "рассчитывать на достойное общество в пути могут люди с чистыми помыслами и благородным характером" — которые звучали даже когда поблизости никого не было, — они большую часть времени проводили вместе, прогуливаясь по палубе либо беседуя в кают-компании за игрой в карты, к

чему мадам де Венанкур принудила пастора с истинно французским, если не сказать католическим, легкомыслием.

Добавим, что очень неспокойное в первую ночь море немного разгладилось уже на следующее утро и осталось таковым до конца путешествия, что, разумеется, порадовало Ганса Касторпа. Вооружившись сильным биноклем, который дал ему Томас Фидлер, он выискивал на морских просторах далекие точки, через некоторое время превращавшиеся в четкие силуэты кораблей. Не без дрожи волнения Касторп разглядывал корпус старого клипера: под норвежским флагом и полными парусами он двигался горделиво, точно аристократ прошлого века, лишь изредка и неохотно посматривая на трубы встречных пароходов. С не меньшим интересом будущий инженер наблюдал за российским военным кораблем: это был современный, чрезвычайно маневренный и быстрый крейсер, каких он еще никогда не видел. Жерла орудий, хоть и прикрытые брезентом, позволяли догадаться, какие разрушения может произвести этот корабль. Впервые в жизни Ганс Касторп не сумел прочитать название, начертанное рукой своего современника. Странной формы, совершенно незнакомые буквы не складывались ни в одно известное слово, и даже смысл его ухватить не удавалось. "АВРОРА" — это звучало настолько абсурдно и весело, что наблюдатель удовлетворился предположением, будто это имя русского богатыря, вероятно много веков назад спасшего свою родину от монгольского или китайского нашествия.

Вот и все, что мы хотели сказать относительно последующих тридцати шести часов рейса "Меркурия". Через двое суток корабль миновал мыс песчаного полуострова под названием Хель и взял курс на Гданьск. Ганс Касторп, проснувшийся еще до рассвета и совершивший у себя в каюте необходимый утренний туалет, стоял на капитанском мостике рядом с рулевым и первым офицером с кружкой горячего кофе, которым угостил его сам капитан. Огромный шар солнца поднимался над водой с левого борта. С правого можно было увидеть нескончаемую череду белых песчаных дюн, увенчанных зеленью сосен. Между "Меркурием" и сушей заскользили скорлупки парусных рыбацких лодок.

— Это кашубы, — сказал капитан Матиас Хильдебрандт. — Ловят треску. Если зайдете в таверну в предместье, услышите их язык. Невероятная мешанина! Когда-то у меня на паруснике служили несколько кашубов. Никогда не знаешь, о чем они думают. И представьте, — он с симпатией взглянул на Касторпа карими глазами, — в каждом порту, если было воскресенье, искали католическую церковь.

— Все равно они лучше полячишек, — голос рулевого прозвучал сухо и деловито. — По крайней мере не мечтают перерезать нам глотку!

— Господин Фогель, — капитан Матиас Хильдебрандт чуть не выронил кружку с кофе, — во-первых, вас никто не спрашивал. А во-вторых, поскольку с нами здесь молодой человек, который собирается учиться в Гданьске, считаю нужным сообщить, что за свою долгую жизнь мне доводилось работать и с поляками. И, как видите, со мной все в порядке, в отличие от вас — вы отклонились от курса на два румба! Исправьте свою ошибку!

Рулевой немедленно исполнил приказ. Но напряжение не исчезло, отчего на мостике повеяло невыносимо тяжким духом разногласий, которые — что было ясно Касторпу — не имели отношения ни к полякам,

ни к кашубам. О существовании последних он, впрочем, услыхал впервые в жизни, и если не стал задавать вопросы, то лишь потому, что не хотел демонстрировать свое невежество, в чем, впрочем, его вины не было. Учитель географии Штеллинг вкладывал в головы гимназистов знания о многих континентах и экзотических народах, однако никогда словом не упомянул о том, что близ восточной границы государства живут какие-то кашубы.

К счастью, никто не поинтересовался мнением юного путешественника — на мостике готовились к входу на гданьский рейд. Ганс Касторп увлеченно наблюдал за этими приготовлениями. Замедление оборотов двигателя, сигнализация флажками, приказы, отдаваемые капитаном, суета на палубе — все это предвещало скорые перемены, что в любое морское путешествие вносит бодрящую струю: ведь что ни говори, его суть — независимо от проделанного расстояния — однообразие. Кроме того, свою роль сыграл вполне естественный фактор любопытства: молодой человек дождаться не мог, когда же он увидит издалека конечный пункт своего путешествия, панораму города, обещание грядущих событий, о которых заранее нельзя сказать ничего кроме того, что произойдут они именно здесь, а не в каком-либо ином месте.

Долг летописца обязывает также отметить, что взгляд нашего героя, поминутно регистрирующий все происходящее на палубе, в какой-то момент наткнулся на хорошо известных ему особ. Трезвый Кьекерникс, в элегантном сюртуке, аккуратно причесанный и гладко выбритый, выглядел по меньшей мере десятью годами моложе. Мадам де Венанкур, стоявшая рядом с пастором Гропиусом, вертела в руке сложенный зонтик, который ей вряд ли мог понадобиться: дождь не предвиделся, а солнце над заливом, хоть и заставляло щуриться, было еще далеко от зенита. У преподобного пастора на голове красовался котелок, что, вкупе с развеваемыми утренним бризом полами черного пальто, уподобляло его биржевому маклеру. Вся троица стояла на носу парохода, вероятно комментируя маневры буксира. Ганс Касторп был очень доволен, что попутчики явно не намерены вовлекать его в свою беседу. С мостика ему гораздо лучше было все видно, и своей тихой радости, сопровождавшейся короткими бурными всплесками душевного волнения, он мог предаваться в одиночестве.

Буксир не сразу соединился тросом с "Меркурием". Первым делом, бойко развернувшись перед носом парохода, он добрые полмили вел его посередине фарватера. Лишь в аванпорту, когда на мостике прозвучала команда "Полный стоп!", крепкая петля швартова, выскочившая из носовой катапульты, полетела, таща за собой длинную змею, прямо на палубу буксира. Теперь "Меркурий" неторопливо и величественно двигался вперед мимо полчищ береговых кранов и огромных, как стена дома, бортов кораблей, и так вплоть до набережной под названием Вестерплатте, где началась швартовка. Ганс Касторп тотчас покинул мостик, чтобы в обществе Кьекерникса, преподобного пастора Гропиуса и мадам де Венанкур сойти на сушу. У трапа с пассажирами попрощались капитан Хильдебрандт и главный механик Томас Фидлер, который, пожимая молодому человеку руку, вручил ему небольшой конверт с визитной карточкой внутри.

— Это мои друзья, — доверительно пояснил он. — Можешь пойти по этому адресу, и тебя примут и помогут при любых обстоятельствах.

Изумленный Ганс Касторп уже собирался ответить, что не предвидит такого поворота событий, чтобы ему понадобилось обращаться за помощью к незнакомым людям, поскольку в жизни он отлично справляется сам, но времени пускаться в объяснения не было: грузчики, поднявшиеся на палубу "Меркурия" вслед за чиновником портовой охраны, уже снесли кофры и чемоданы пассажиров на набережную. Так что он лишь сказал: "Большое спасибо, господин Фидлер" — и спустился по крутым ступенькам трапа вниз, сунув конверт в жилетный карман. И последним сел на скамейку деревянного экипажа, который, по правде сказать, не напоминал ни одно из известных ему средств передвижения по суше. Возчик хлестнул двух вялых першеронов, и вся компания отправилась в недалекий путь до пристани, где уже ждало под парами маленькое, крытое только брезентовым навесом суденышко с прелестным, хоть и банальным названием "Водяной".

— Dancika vaporetto, — сказал, громко рассмеявшись, Кьекерникс, на что мадам де Венанкур обиженно заявила, что не видит никакого сходства между этой ржавой посудиной, где нет даже мягких сидений, и подлинным венецианским vaporetto, на котором они с мужем, разумеется многократно, плавали по лагуне и Canale Grande, и только человек, лишенный воображения, может — вероятно, от избытка сильных впечатлений — позволить себе в обществе такие дурацкие сравнения. Пастор Гропиус, который не имел счастья бывать в Венеции, молчал, а Кьекерникс только махнул рукой и закурил сигару. Касторп между тем, опершись локтем на деревянную спинку скамейки, припоминал описания гданьских архитектурных сооружений, которые перед поездкой внимательнейшим образом изучал по путеводителю Брокгауза. Пока "Водяной" проплывал по середине канала мимо шпиля Вислоустья, он без труда опознал характерный силуэт фортификаций. Однако истинное потрясение он испытал за излучиной Мотлавы, где слева от воды высились слегка отличающиеся от гамбургских лабазы, а справа — средневековые ворота, башни и фасады узких каменных домов и между ними знаменитый Крантор[1], огромный приземистый кран, построенный, кажется, в тот год, когда Колумб отправился в Новый Свет. Самыми красивыми были башни костелов Пресвятой Девы Марии и Святого Иоанна и ратуша, хоть и из одинакового темного кирпича, но совершенно различной формы. Возвышаясь над крышами домов, трубами пароходов, мачтами парусников, они нисколько не давили на общую панораму, а напротив — будто возносили ее вверх: казалось, весь город вот-вот оторвется от воды и вместе с готическими башнями взмоет под облака. Вдобавок в воздухе витал абсолютно гамбургский запах деревянных помостов, смолы, ржавчины, водорослей, угольного дыма и рыбы, отчего казалось, что чужой, незнакомый город встречает пришельца на редкость дружелюбно. В притягивающих взгляд непривычных формах крылось хорошо знакомое содержание. Если бы консул Тинапель наблюдал сейчас вместе с племянником, как "Водяной" причаливает правым бортом к обросшим водорослями столбам, если бы увидел эту темно-красную, кое-где переходящую в коричневую, окраску лабазов, складов, храмов и средневековых ворот, он вряд ли произнес бы те необдуманные слова, которые

1. Грузоподъемный портовый кран XV века; от *нем.* Krantor — журавль.

Ганс услышал от него перед отъездом. Короче говоря, спускаясь по короткому трапу суденышка, которое Кьекерникс назвал dancika vaporetto, Касторп чувствовал себя почти счастливым.

— Возьмем извозчика вместе, — сказал голландец, когда они по деревянным ступенькам поднялись на Долгое побережье. — Я всегда останавливаюсь в гостинице "Deutsches Haus", это недалеко, но не везти же в трамвае такой сундук. Чем вы его набили? — Кьекерникс, хихикая, указал на вправду огромный чемодан Касторпа. — Надеюсь, не теплым бельем? Я, дружище, даже когда плыву на Борнео, беру с собой только это, — он потряс несессером, походившим на врачебный саквояж деревенского хирурга. — С другой стороны, книги мне не нужны, а кальсоны и рубашки я покупаю на любой географической широте. Порой это более увлекательное занятие, чем охота на газелей. — Он снова захихикал, указав кивком на сворачивающих в сторону Зеленых ворот пастора Гропиуса и мадам де Венанкур, за которыми два носильщика тащили двухколесную тележку с целой горой чемоданов. — Поедемте со мной в гостиницу, позавтракаем, — сменил он тему. — У них там превосходный портер, а вы... ну конечно же, мне следовало первым делом спросить, куда вы, молодой человек, собственно, направляетесь?

— Лангфур, Каштановая улица, — нерешительно ответил Касторп. — Надо доехать до вокзала, потом поездом...

— Да это же на краю света! — перебил его Кьекерникс. — Исключено, я вас приглашаю позавтракать, а там поглядим, как вам лучше добраться в такую даль!

Перспектива была не слишком соблазнительной, но они уже шли рядом, а за ними носильщик вез на тележке огромный и тяжеленный чемодан Касторпа. Как минуту назад пастор Гропиус и мадам де Венанкур, они свернули с Побережья в Зеленые ворота, за которыми без труда поймали извозчика. Будущий инженер испытывал легкое раздражение из-за проявленной слабости. Ему следовало бы отказать Кьекерниксу — отнюдь не потому, что он оценил голландца так же, как мадам де Венанкур, а по причинам более веским: у него ведь был некий план, заранее продуманный распорядок дня, согласно которому он должен был добраться до квартиры госпожи Вибе, распаковать вещи, ознакомиться с расписанием движения трамваев и, наконец, нанести первый визит в политехникум, на кораблестроительный факультет, где надлежало сообщить о своем прибытии. Разумеется, завтрак с чудаковатым, если не сказать эксцентричным представителем бельгийской деревообрабатывающей компании не внушал опасений и не был решительно противопоказан, однако, как ни крути, это означало, что он, хоть и в незначительной степени, доверяется случаю. И еще одно удивило и озадачило Ганса Касторпа, а именно: он перестал колебаться в тот самый момент, когда Кьекерникс упомянул о превосходном портере, каковой якобы подают в "Deutsches Haus".

Занятый такими размышлениями, он не обращал внимания на дорогу, и в памяти застревали только отдельные названия, которые небрежно перечислял голландец: Золотой дом, фонтан Нептуна, Двор Артуса[1], Глав-

1. Дворы Артуса (обязанные своим названием легенде о короле Артуре) — однотипные здания, предназначавшиеся для цеховых и корпоративных собраний; гданьский Двор Артуса сооружен в XV веке.

ный почтамт, Золотые ворота, Тюремная башня — кажется, в такой последовательности. Улица, по которой они ехали, уже просыпалась, однако еще далеко было до дневной лихорадки, когда из здания Биржи выходят на обед маклеры, газетчики выкрикивают заголовки с первых полос, кафе трещат по швам, а трамваи дружно скрежещут на разъездах, трезвоня электрическими звонками. В лучах утреннего солнца пролетка проезжала мимо поднимаемых жалюзи магазинов, стоящей на тротуаре тележки молочника, прислуг с корзинами для покупок и заспанного полицейского, который, в эту пору ничем особо не занятый, стоял посреди пустого перекрестка с выражением всего лишь служебной готовности на лице. Кьекерникс велел извозчику, прежде чем остановиться перед фасадом гостиницы, сделать небольшой крюк и объехать вокруг просторную площадь Угольного базара — исключительно для того, чтобы показать Касторпу Большую оружейню, некогда построенную голландскими архитекторами. Это выглядело странным — трудно было предположить, что голландцу свойственно чувство национальной гордости, — однако, видимо, господин Кьекерникс обладал и таким качеством: его явно обрадовало, что молодой человек оживился и даже задал несколько вопросов. Пролетка обогнула домики, прилепившиеся к Тюремной башне, свернула в еще одни ворота, название которых сразу вылетело у Касторпа из головы, и въехала на широкую современную дорогу, при которой стояла гостиница.

— Ну, какой там адрес? — громко спросил Кьекерникс, одновременно вручая извозчику банкноту и не прося сдачи. — Напомните-ка, прикажем доставить ваш сундук прямо хозяйке в руки!

Это новое обстоятельство смутило Касторпа. Разумеется, предложение было весьма заманчивым, но, с другой стороны, если он правильно запомнил сведения, почерпнутые из путеводителя Брокгауза, район Лангфур (Вжещ) находился в добрых пяти километрах от центра. Таким образом, он еще до завтрака становился должником Кьекерникса, при том что сумма превышала стандартную цену поездки с вокзала, и потому довольно решительно заявил: "Я заплачу!", после чего, спрыгнув на тротуар, полез за бумажником.

— Исключено, — Кьекерникс, уже стоявший рядом, крепко схватил его за запястье. — Вы еще успеете потратить кучу денег, молодой человек, да и получается, что это я, если можно так выразиться, ввел вас в расход, поскольку вы любезно приняли мое приглашение. Повторяю: исключено! Говорите, куда везти багаж?

— Вжещ, Каштановая улица, 1, второй этаж с фасада, госпожа Хильдегарда Вибе, вдова обер-лейтенанта императорского гусарского полка.

— Запомнил? — рявкнул Кьекерникс, обращаясь к извозчику. — Ну, гони, а мы с вами, дружище, за стол!

Только сейчас Касторп заметил, что наблюдающий за этой сценой гостиничный швейцар усмехается в усы, как будто видел подобное уже не раз; впрочем, возможно, Гансу так только показалось, потому что услужливо распахнувший перед ними широкую дверь, согнувшийся в поклоне верзила в униформе не похож был на человека, способного улыбаться.

— Проклятое мое брюхо, как говаривал Одиссей. — Кьекерникс при виде белоснежных скатертей, изысканной сервировки и батареи бутылок, торжественно выстроившихся на подсобном столике, впал в состояние эйфории. — Первым делом я обязан тебя ублажить и лишь потом — душу!

Начали с теплых хрустящих булочек с ветчиной, к которым подали яйца всмятку и кофе с молоком. За ними последовали еще несколько разных видов хлеба, сыры, копчености и изумительные маринованные корнишоны, которые, вкупе с холодным "Jopenbier"[1], составили преудивительный для завтрака натюрморт. Ганс Касторп отхлебывал по маленькому глоточку из стеклянной кружки, поскольку спиртное в эту пору дня после короткого сна на корабле могло подействовать на него расслабляюще, чего он хотел бы избежать ввиду предстоящей необходимости выразить свое почтение госпоже Вибе и отдать должное обещанному голландцем портеру. Кьекерникса же ничто не сдерживало — он прямо объявил, что встреча с неким Рыпсом, представляющим интересы графа Потоцкого, назначена на следующий день, и до этого времени он не намерен потворствовать своим аскетическим склонностям, чем — под влиянием суровой мадам де Венанкур и преподобного Гропиуса — занимался на палубе "Меркурия" с раннего утра.

Оба громко и от души рассмеялись.

— История с французом, пытавшимся отсудить собственность в деревне, в свое время попала в местные газеты, — сообщил Кьекерникс, одновременно подзывая кельнера. — Кто-то из этих Венанкуров, еще при польском короле, который, как всякий польский король, вступил на трон, чтобы тут же его потерять, купил там землю и построил усадьбу. Сто лет спустя, когда Наполеон осаждал город, какой-то очередной Венанкур оказал императору помощь. Поэтому прусские власти по своем возвращении якобы заставили владельца имения, угрожая судом и тюрьмой, продать принадлежащую ему собственность за бесценок. Нынешний Венанкур, супруг нашей доброй знакомой, — Кьекерникс подмигнул, — желает ту старую сделку оспорить.

— А это возможно? — Ганс Касторп наконец-то дождался портера, поданного в высоком изящном бокале.

Смешинки в глазах Кьекерникса исчезли. Его прямой греческий нос, грива седых волос, продольные морщины на лбу и ямочки, появлявшиеся на щеках, когда он улыбался, вместе взятые, складывались в классический, хотя и не без налета плутовства, образ. Однако сейчас Ганс Касторп почувствовал, что Кьекерникс посерьезнел.

— Все возможно, — тихо проговорил он. — Только что-то более вероятно, а что-то — менее. Однако ничего нельзя исключить, дружище, ведь степень вероятности определяется не по универсальной шкале — она зависит от меняющихся обстоятельств.

— Ну, не совсем так, — Ганс Касторп ощутил приятное, бодрящее воздействие портера. — Законы физики — нравится нам это или не нравится — не зависимы от обстоятельств. Я хочу сказать, что нельзя — например, на минуту — отменить закон тяготения. А стало быть, в природе он обязателен, как в мире людей обязателен закон, согласно которому легально заключенная сделка — если вовремя не было представлено доказательств мошенничества хотя бы одной из сторон — никоим образом не может быть поставлена под сомнение. Разве не законы, — закончил он, — душа государства?

— Ну да, разумеется, — неизвестно чему обрадовался Кьекерникс. — Браво, молодой человек! — и он снова подозвал кельнера, чтобы потре-

1. Сорт пива.

бовать, притом немедленно, холодных рубленых котлет, салата и красного вина. — Ты принципиально встаешь на защиту порядка, что абсолютно понятно: все мы жаждем, чтобы в мире царил порядок, иначе нам не постичь смысла вещей, но задумывался ли ты когда-нибудь всерьез о том, откуда берутся понятия, которые мы считаем нерушимыми законами природы или цивилизации? Я уже не касаюсь проблемы цифр. Наверно, ты, как будущий инженер, не раз ее рассматривал в свете учения пифагорейцев, Платона или Аристотеля; предлагаю оставить эту детскую задачу гимназистам, которые не читали Канта. Поистине есть проблемы куда более важные.

Тут Кьекерникс на минуту прервался, чтобы попробовать поданное ему бургундское, кивнул и, отослав кельнера, тотчас опрокинул целую рюмку.

— Представь себе, — продолжал он, — что через несколько лет твоя великая страна снова окажется в состоянии войны с Францией, но не выиграет ее, как это было в семидесятом году, поскольку Россия на сей раз не останется нейтральной и, воспользовавшись обстоятельствами, захватит Восточную Пруссию вплоть до Гданьска. Теоретически такое возможно?

— Да, — ответил Ганс Касторп, — теоретически возможно.

— Превосходно, — Кьекерникс пододвинул к нему блюдо с салатом. — Теперь вообразим, что в этой ситуации возобновляется процесс господина де Венанкура. Русским будет на руку продемонстрировать, как недостойно вели себя твои соплеменники. А то, что Венанкур француз, — еще лучше. В новых обстоятельствах он вполне может стать их естественным союзником. А была или не была вынужденной сделка, которую его предок заключил с муниципалитетом, совершенно не важно.

— Я понимаю, к чему вы клоните, — Касторп отставил бокал и улыбнулся Кьекерниксу. — Победители обычно диктуют свои законы, и нетрудно предположить, что многое изменится. В конце концов, раньше или позже, мы начнем соблюдать новые правила. Потому я и выбрал точные науки. Такого рода относительность в них невозможна. Температура замерзания воды всегда одинакова, независимо от того, по какой шкале мы ее определяем — Фаренгейта или Цельсия.

— Разумеется, — Кьекерникс хлопнул в ладоши, — с этим не поспоришь! Но не изменится ли в связи с новыми открытиями наше представление о мире?

— Целостная картина — пожалуй, но не слишком сильно, — Касторп машинально взял у кельнера второй бокал портера. — Вы представляете себе какое-нибудь великое новое открытие, которое опровергнет закон Ньютона? Кеплера? Эвклида? Это был бы абсурд, равносильный утверждению, будто лягушке для жизни нужна не вода, а аммиак!

Голландец, с полным ртом салата, захихикал:

— Может, кто-нибудь когда-нибудь выведет для французов такую лягушку? — Но тут же добавил серьезно: — Дело не в том, что существуют аксиомы, а в том, по силам ли нам придумать для них обоснования.

За вторым бокалом портера Ганс Касторп ощутил приятную расслабленность — тем более следовало поскорее завершить завтрак в гостинице "Deutsches Haus". Поскольку тема разговора была неисчерпаемой, он сменил ее, спросив:

— Вы, кажется, неплохо знаете поляков?

Кьекерникс пожал плечами.

— Я покупаю дерево везде, где его много и цена невелика, в том числе в Польше, хотя такой страны, собственно говоря, не существует. В восьмистах километрах к югу отсюда у графа Потоцкого огромные леса. Я побывал там в прошлом году. Ты можешь себе представить дворец прекраснее Версаля? Экипажи, каких, вероятно, нет даже у вашего наследника престола? В покоях я, разумеется, не едал, — голландец снова захихикал, — дух аскезы не позволил, но и дом управляющего был хоть куда. Что тебя интересует? Тамошние евреи питаются воздухом, а мужики ходят в костел босиком и, повстречавшись с ксендзом, целуют ему руки. Они якобы еще верят в оборотней, хотя я не проверял.

— Это Россия? — Ганс Касторп отпил большой глоток портера.

— Австрия, — Кьекерникс отставил первую, уже опорожненную бутылку бургундского и, начав вторую, налил себе полную рюмку. — Точнее, провинция Австро-Венгрии, называющаяся Галицией. Оттуда я отправился в Вену, и знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Тебе бы надо учиться в Вене, а не в здешней дыре, да-да. Когда-то, — он задумчиво посмотрел в окно, — этот город был больше, чем Амстердам или Лондон. Сегодня он — собственная тень.

После этих слов они долго молчали. Ганс Касторп медленно допивал портер и наконец, отставив пустой бокал, сказал:

— Мне пора, господин Кьекерникс. Благодарю вас за этот необыкновенный завтрак.

— Необыкновенный? — Оба уже стояли около столика. — Глупости говоришь, молодой человек. На прощанье я тебе дам один совет. Не слишком верь в науку. То есть верь, но лишь настолько, насколько нужно, чтобы построить корабль, дом, запрудить реку. И ни на гран больше! Когда-нибудь ты вспомнишь мои слова.

С початой бутылкой бургундского в одной руке и сигарой в другой Кьекерникс направился к выходу из ресторана, провожаемый слегка удивленными взглядами немногочисленных постояльцев, которые как раз сходились к завтраку. Когда он обернулся, чтобы помахать Касторпу рукой, нашего героя в гостинице "Deutsches Haus" уже не было. Погруженный в свои мысли, молодой человек ровным шагом, хотя и чуть быстрее обычного, шел к трамвайной остановке. Он еще не знал, что умеренный оптимизм, вселившийся в него нынешним утром на гданьском рейде, вскоре иссякнет под напором череды неприятных событий, которые поставят его в весьма затруднительное положение.

III

Началось со стычки с кондуктором уже на площадке трамвая номер два. Этот усатый, пахнущий влажным сукном и табаком тип вместо того, чтобы продать пассажиру по его просьбе билет до Вжеща, а именно до остановки на Каштановой улице, спросил, а вернее, потребовал, чтобы Касторп сперва сообщил, до какой зоны собирается ехать. Требование это было — честно говоря — столь неожиданным и притом столь глупым и наглым, что молодой человек, повысив голос, заявил, что он не здешний и потому достаточно, что он назвал остановку, до которой хочет доехать.

— Вы в этом уверены? — спросил кондуктор и как ни в чем не бывало продолжал продавать билеты другим пассажирам, отсчитывая по мере необходимости сдачу и продырявливая бумажные прямоугольнички, одновременно выкрикивая: "Брама Оливская", "Два раза политехникум!", "Один до депо!", что еще больше вывело Касторпа из себя, поскольку этот противный тип в мундире только от него потребовал назвать зону, с другими же пассажирами разговаривал любезно и даже услужливо. Трамвай уже успел дважды остановиться, люди входили и выходили, а Касторп так и стоял с горсткой пфеннигов в кулаке, понимая, что выглядит смешным, если не жалким.

— Значит, вы отказываетесь продать мне билет? — наконец спросил он намеренно громко, чтобы его услышали по крайней мере на ближайших сиденьях. — Что же, ехать не заплатив?!

— На Каштановой нет остановки, — так же громко ответил кондуктор. — Откуда мне знать, где вы захотите выйти?!

Жаркая волна ударила Касторпу в голову. Никогда еще он не оказывался жертвой столь явной, демонстративной наглости, хуже того, не мог найти мгновенный ответ. Да и следовало ли вежливо разговаривать с этим ужасным человеком? То есть вначале сдержанно заметить, что тот ведет себя совершенно неправильно, а потом перейти к сути дела и сообщить сведения, почерпнутые из письма госпожи Вибе, где черным по белому было написано, что на Каштановой улице есть трамвайная остановка? Впервые в жизни Ганс Касторп почувствовал острое желание сделать то, что в его кругу в подобных случаях называли "поставить кого-то на место". Да, согласно этим правилам надлежало сурово нахмурить брови и тоном, не терпящим возражений, повысив голос произнести: "Попрошу ваш служебный номер! Это неслыханно — вы что, не дорожите своей работой? Я сегодня же напишу жалобу в дирекцию!" Однако вместо того, чтобы хоть что-либо сказать, смирившийся Ганс Касторп сел на ближайшее свободное место и, уставившись в окно, рассеянно следил за шпалерой вековых лип, позади которых по другой стороне аллеи тянулось кладбище. Сознание, что он едет без билета, хотя нисколько в этом не виноват, невыносимо его тяготило. После того, что произошло, он уже не мог вновь обратиться к кондуктору: это было бы — как говаривала его француженка бонна мадам Шуассель — tout à fait impossible à exprimer[1]. Ко всему прочему его озадачил странный акцент кондуктора, ничем не напоминавший ни диалект platt[2], на котором дедушка Касторпа, сенатор Томас, смеха ради беседовал со своим слугой Йозефом, ни те диковинные звуки южного наречия, которые Ганс в детстве иногда слышал в гамбургской конторе отца, когда к тому по делам приезжали предприниматели из Баварии. Странный этот акцент показался нашему герою омерзительным — чужим и враждебным. Вдобавок где-то в закоулках памяти всплыла библейская фраза, прочитанная очень давно, вероятно, во время домашней подготовки к конфирмации. Фраза эта звучала так: "Не пренебрегай речью его", но из какой она книги и можно ли ее посчитать комментарием к происходящему в трамвае — на эти вопросы Касторп ответов не находил. Озадаченный и растерянный, он едва заме-

1. Просто невозможно выразить (*франц.*).
2. Нижненемецкое наречие (*нем.*).

тил здание политехникума, мимо которого как раз проезжал. Если бы это здание возникло перед ним так же, как несколько часов назад город, отвечая приподнятому настроению чужестранца, он бы, безусловно, оценил его прекрасную, хорошо продуманную архитектуру, совмещающую в себе многовековую городскую традицию с современными веяниями. Однако ни ажурная каменная резьба, ни красивые аттики не очаровали Касторпа. Он лишь подумал: "И тут я буду учиться, надо же..." И устыдился своих мыслей – как будто вынужден был вслух признать правоту дяди Тинапеля, чего, разумеется, ему никак не хотелось делать, несмотря на нынешнее прискорбное положение. Быть может, в таком состоянии он бы доехал до конечной остановки близ трамвайного депо, если б не барышня в роскошной шляпе, которая, перегнувшись через спинку сиденья, произнесла вполне дружелюбно:

– Сейчас будет остановка на Кленовой. Каштановая улица начинается вон там, по другой стороне путей.

Едва слышно пробормотав "спасибо", Касторп сошел с передней площадки вагона. Ему казалось, что взоры всех пассажиров устремлены только на него. Перейдя брусчатую мостовую, он без труда отыскал угловой, пахнущий свежей штукатуркой, внушительных размеров дом. Большие окна по всему фасаду, просторные балконы бельэтажа и огромные лоджии на верхних этажах, которые в жаркие дни дарят жильцам редкостную возможность дышать свежим воздухом не выходя из дома, – все это произвело на молодого человека самое благоприятное впечатление. Инцидент с кондуктором, правда, не был забыт, однако отступил в тень перед лицом новой ситуации. Поднимаясь по широкой, устланной коричневой дорожкой лестнице, Касторп остановился на площадке между этажами, где обрамленное лепниной большое зеркало отразило его фигуру, будто в театральном фойе. Почти машинально он пригладил ладонью волосы и поправил уголок воротничка. Настал чрезвычайно важный момент: он вдруг с беспощадной ясностью осознал то, что было очевидно, но чему он раньше не уделил должного внимания. Ведь ему впервые предстоит поселиться у совершенно незнакомых людей. Не в гостинице и не в пансионе, где за определенную плату получаешь услуги вместе с суррогатом собственного locum[1], а в кругу чужой жизни, в атмосфере чужих звуков и запахов. И хотя он пока не думал о конкретных сложностях – например, как, приняв ванну, пройти в свою комнату по общему коридору, – само близкое, ба! постоянное физическое присутствие рядом людей, с которыми его ничто не связывало, внезапно показалось Касторпу чем-то неприемлемым, если не сказать немыслимым. Немного приуныв, он поднялся еще на один пролет, чтобы наконец нажать фаянсовую кнопку электрического звонка, который тогда, в провинциальном городе, свидетельствовал о состоятельности и желании идти в ногу со временем.

– Вам кого? – услышал он сквозь щель приоткрывшейся двери приглушенный девичий голос. – Хозяйки нет, мы ничего не покупаем, уходите!

– Я – Ганс Касторп, – успел он сказать. – Я уговаривался с госпожой Вибе относительно комнаты с пансионом! Сюда прислали мой ба-

1. Место; жилье (*лат.*).

гаж! — Последнюю фразу Касторп произнес, вынужденно повысив голос, поскольку обращался к уже закрытой двери. Сочтя свое поведение безукоризненным, он снова нажал фаянсовую кнопку — дольше, чем в предыдущий раз. И тоже дольше, чем в прошлый раз, ждал прислугу.

— Я ничего не знаю, — на этот раз она оглядела его с головы до ног. — Хозяйка мне не обо всем рассказывает. Багаж? Ничего не привозили, а может...

— Как это? — перебил ее он. — Я же точно назвал адрес. Каштановая, один, второй этаж с фасада, вдова обер-лейтенанта императорского гусарского полка госпожа Хильдегарда Вибе. Правильно?

Прислуга кивнула, но за этим ничего не последовало.

— Твоя хозяйка намерена сдать меблированную комнату, а ты знать ничего не знаешь? Она не велела тебе приготовить постель? Стереть пыль? Поставить в вазу цветы?

На лице девушки, правда, отразилось некоторое смущение, однако ее молчание не внесло ясности. Наконец потерявший терпение Касторп спросил, в котором часу он наверняка застанет госпожу Вибе, поскольку, так или иначе, должен с ней поговорить.

— Наверняка? — прислугу позабавило слово, которое употребил молодой человек, и она, повторяя его, даже фыркнула. — А кто ее знает, может, через час, а может, и через два. Хозяйка не докладывает, когда вернется из города. Обед всегда в три.

Молодой человек вежливо кивнул и, отбивая пальцами маршевый ритм по резным перилам, сбежал по лестнице вниз. Впрочем, выйдя из парадного и заметив краем глаза сметавшего сухие листья дворника, он в нерешительности остановился и подумал, что ему, собственно, некуда идти. Каштановая улица, казалось, была последним застроенным уголком города. За домом тянулись неизвестного назначения склады, какие-то фабричные цеха, за ними сады и, наконец, поля, теряющиеся в которых трамвайные пути производили странное, совершенно нереальное впечатление. Касторп, правда, вспомнил, что, проезжая по центру Вжеща, заметил — кроме нескольких магазинов — маркизу над садиком единственного кафе, но, пожалуй, это было далековато, и при одной мысли о новой поездке на здешнем трамвае его обуяло понятное волнение. Волей-неволей он просто зашагал вперед и через несколько минут, перейдя мостик над быстрой речушкой, оказался перед кирпичной оградой казарм, где, как нетрудно было догадаться, располагался полк, в котором служил покойный обер-лейтенант Вибе. Продолжая идти вперед, Касторп дошел до обширного луга: там как раз проходили учения, а вернее — подготовка к параду. Полковой оркестр бойко играл марш "Preussen Glorie"[1], звуки тромбонов, рожков, барабанов и тарелок далеко разносились в октябрьском воздухе, а эскадрон новобранцев в серых походных мундирах под музыку упражнялся в верховой езде, непрестанно меняя строй. Получалось это у них неважно, и Касторп, теперь немного замедливший шаг, то и дело слышал вопли фельдфебеля: "Стадо свиней!!! Жирные хряки, вас только на бойню, в одну шеренгу еще раз стройсь!!!" При этой команде оркестр на середине такта обрывал мелодию, чтобы начать сначала после того, как гусары, перегруппировав-

1. "Слава Пруссии" (*нем.*).

шись, выстраивались в ряд. Когда отряд в очередной раз двинулся шагом, лошадь под одним из всадников понесла, и тот, вылетев из седла, рухнул на землю. Пока он медленно, потирая ушибленное колено, вставал, к нему подскочил фельдфебель:

– Habacht[1], – рявкнул он. – Плохо подтянул подпругу?!

Вытянувшийся по стойке "смирно" новобранец в ответ кивнул и хотел было что-то добавить в свое оправдание, однако фельдфебель, хлестнув его хлыстом по лицу, принялся читать лекцию.

– Подпруги, – громко декламировал он, сопровождая каждый слог ударом хлыста по лицу бедолаги, – проверяют перед падением! А после падения, прежде чем растирать задницу, надо первым делом хватать лошадь! Повторить!

Новобранец попытался исполнить приказание, но произносить слова, стоя навытяжку, да еще получая удар по физиономии всякий раз, когда он открывал рот, оказалось непосильной задачей. Отступив на два шага от палача, он заслонил руками уже окровавленное лицо, чем еще больше разозлил фельдфебеля.

– Я скомандовал "вольно"?! – подскочил тот к пареньку. – Я тебе разрешил шевелиться? – Говоря это, он хлестал беднягу по чем попало, а эскадрон молча наблюдал за этой сценой.

– Неплохая школа, – услышал Касторп голос у себя за спиной. – Не для барчуков служба, а?!

Рыжеволосого коротышку, заговорившего с нашим героем, происходящее, похоже, изрядно забавляло. Появившись невесть откуда, он явно не собирался уходить и намерен был продолжить разговор, поскольку тут же добавил:

– В этом полку никто не имеет права вылетать из седла, понятно? Это все равно как если бы фрейлина, представляясь императрице, громко выпустила ветры!

– В таком случае, – мгновенно ответил Касторп, – мы и ей съездим по физиономии, да?

Сказав так, он повернулся к рыжему спиной и поспешно удалился от плаца, на котором снова заиграли рожки. Хриплый смех незнакомца был отвратителен. Касторпу казалось, что он продолжает его слышать еще добрую сотню метров. Шагая дальше без всякого плана, он не мог избавиться от впечатления, что уже когда-то видел эту одутловатую мерзкую физиономию. Когда же? Во время одного из посещений гамбургских доков? Или на каникулах в Травемюнде, где возле дешевого постоялого двора слонялись подобные личности из низшего мещанского сословия? Почему-то незнакомец производил впечатление иностранца, хотя ни одна деталь его видавшего виды старомодного наряда и уж тем более акцент не позволяли сделать такое заключение.

За оградой казарм, около запруды, Касторп наконец остановился и перевел дух. Сейчас не помешало бы съесть второй завтрак, перед чем следовало бы помыть руки, освежить лицо и шею влажным, сбрызнутым одеколоном полотенцем, поправить галстук и манжеты. Куда же он, однако, забрел? На другом берегу речушки, среди жалких одноэтажных до-

1. Смирно (*нем.*).

миков замызганные ребятишки катали железный обруч вокруг грязного прудика. До трамвайной линии и дома, где его никто не ждал, было не меньше трех километров, до гостиницы "Deutsches Haus" – наверное, все одиннадцать, а до Гамбурга – о котором Касторп подумал с неожиданной нежностью, как о родном доме, – гораздо дальше. Ничего трагического в этом, впрочем, не было. Мы могли бы назвать положение нашего героя в худшем случае неприятным, но сам он был склонен усматривать в сложившихся обстоятельствах некий поистине роковой узел, разрубить который изнуренному нервным напряжением организму пока не представлялось возможным. Именно поэтому Ганс Касторп впал в юношескую прострацию – такое с ним иногда случалось, – природа которой, по словам доктора Хейдекинда, была понятна и не внушала опасений, хотя в будущем она могла привести к меланхолии. Выражалось это в замедлении мыслительной деятельности при сохранении способности реагировать на сильные чувственные импульсы. Говоря образно, если бы, например, сейчас над Верхним Вжещем пронеслась снежная буря с градом, молодой человек немедленно кинулся бы на поиски убежища. Однако, поскольку Гансу Касторпу ничто подобное не грозило, он переместился во вневременное пространство, где и застыл, стоя на кирпично-каменном выступе плотины и уставившись на зеленое зеркало воды. Разумеется, все ощущения Касторпа были совершенно субъективными, ибо за пределами его сознания – вне чистой субстанции res cogitans[1], если можно так выразиться, – царило довольно оживленное движение, а стало быть, время бежало реально и неумолимо.

Когда над недалекими холмами раздался высокий звук деревенского церковного колокола, Касторп стряхнул с себя летаргическое оцепенение. Как всегда в таких случаях, он не мог бы точно сказать, сколь долго находился вне реальности. Час? Три четверти часа? Полминуты? Его взгляд, еще секунду задержавшись на поверхности воды, отметил порхающие в воздухе паутинки и маленький кораблик из коры, конструкция которого – кораблик был снабжен мачтой, бумажным парусом и необычайно искусно сделанным миниатюрным рулем – вызвала у него истинное восхищение. Лишь тогда Касторп заметил, что с противоположного конца плотины, опершись, как и он, на ограждение, его внимательно рассматривает белобрысый мальчуган. Взлохмаченные волосы, рубашка на вырост, выпущенная поверх тиковых штанов, и ноги в плохоньких сандалиях позволяли предположить, что перед ним дитя здешнего предместья.

– Это твой корабль? – спросил Касторп.

Мальчик кивнул. Несмотря на отсутствие двух передних зубов, улыбка у него была симпатичная.

– Ты его окрестил? Как он называется?

Мальчик молчал.

– "Гданьск"? "Санта-Мария"? Если не "Гданьск" и не "Санта-Мария", я больше ничего не могу придумать, – приветливо сказал Касторп. – А может, ты только подыскиваешь название?

– У него есть название. "Пауль Бенеке", – спокойно ответил мальчик. После чего, глядя Касторпу прямо в лицо, произнес длинное непо-

1. Зд.: сознание (*лат.*).

нятное слово и, громко смеясь, кинулся прочь по протоптанной среди крапивы и огромных лопухов тропинке — ни дать ни взять бывалый охотник в густом лесу.

Касторп, хоть и распознал шелестящую польскую речь, ничего не понял, тогда как сорванец, сыгравший с ним безобидную шутку, несомненно владел обоими языками. "Странное ощущение, — подумал Касторп, поворачивая обратно в город, — когда тебе недоступно то, чем другие владеют свободно".

По воле случая из-за угла казарм на пыльную мощеную дорогу, невесть почему носящую гордое название "аллея Замка Губерта", выкатила свободная пролетка. Наш герой, никак этого не ожидавший, не растерялся, замахал рукой и через минуту, назвав извозчику адрес госпожи Хильдегарды Вибе, уже удобно устроился в разболтанной таратайке. К тому, что его окружало, он больше не присматривался. Уродство казарм, мимо которых он вновь проезжал, убогие, только что разбитые скверы, по которым бродили бездомные псы, скелеты возводящихся зданий — все это исчезло из поля зрения Касторпа, вытесненное воспоминаниями, которые вызвала лодочка из коры.

В детстве он, правда, не мечтал о далеких путешествиях под парусами, ибо с малых лет досконально представлял себе работу в доках и трюмах, однако белобрысый мальчуган, обладатель замечательной игрушки, напомнил ему о собственной детской страсти: он обожал пускать кораблики в пруду ботанического сада. Ни один из них — вынужден был он признать — не был сделан столь искусно, но отнюдь не сравнение корабликов составляло суть воспоминания. Обычно, когда они с дедушкой возвращались с кладбища Святой Екатерины, он просил, прежде чем сесть в экипаж, зайти на пару минут в расположенный поблизости ботанический сад. Сенатор Томас, поглядев на часы — и тем самым напоминая, что им никак нельзя опаздывать на полдник, — поддавался уговорам внука. Опираясь на эбеновую трость, он медленно шествовал по обсаженной экзотическими агавами и эвкалиптами аллейке, а маленький Ганс, опередив его на десяток шагов, первым подбегал к прудику, который как таинственный зеленый глаз поблескивал среди густых зарослей. Дедушка, добравшись до этого безлюдного места, осматривался, будто нерешительно искал особое убежище, каковым всегда оказывалась одна и та же утопающая в каскадах плюща каменная скамья, украшенная барельефом медузы. Здесь сенатор Томас доставал позолоченную табакерку и, нюхнув раз-другой бурого порошка, погружался в недолгую задумчивость. Внук же тем временем, спустив на воду выструганный дома кораблик, вел его, подталкивая сорванной с ближайшего куста веткой, среди архипелагов кувшинок. Лет пятнадцать спустя, едучи на извозчичьей пролетке в чужом городе, Ганс Касторп вспомнил, как называл диковинными именами огромные плоские листья, на которые присаживались стрекозы, воображая, что это неведомые континенты. Игра неизменно быстро заканчивалась. Сенатор Томас смотрел на часы, вставал со скамейки и, расправив полы сюртука, молча направлялся к аллейке, а внук — который ни в коем случае не посмел бы испытывать дедушкино терпение — бежал за ним, нередко бросив свой корабль в океане.

Извозчик остановился у боковых ворот казармы. Эскадрон, возвращаясь с учений, нестройными рядами пересекал мостовую, в то время

как госпожа Хильдегарда Вибе по другой стороне перекрестка и трамвайных путей входила в парадное дома номер один по Каштановой улице. Ганс Касторп, разумеется, не мог ее заметить, благодаря чему воспоминание о ботаническом саде, прудике, корабликах и дедушке Томасе, который заменял ему — не очень, впрочем, долго — рано умерших родителей, продлилось еще минуту. Только теперь Касторп осознал, что сенатору не нравились игры у пруда. Вероятно, будь водоем расположен в более посещаемом месте, дед бы не уступал внуку, объясняя это тем, что не всякое занятие подобает члену их семьи. Однако до такой крайности дело ни разу не доходило, и, когда они уже садились в экипаж, сенатор Томас, вынимая батистовый платок, ограничивался единственной фразой: "Ты опять испачкал колени". Когда пролетка как раз въезжала на Каштановую, Касторп вспомнил душистый запах жимолости, в жаркие летние дни витавший над прудом гамбургского ботанического сада. Словно специально для контраста сейчас над всем Вжещем висел густой дым, поднимавшийся из близлежащих садов и огородов, где в преддверии первых заморозков жгли сухие листья и бурьян. Расплачиваясь с извозчиком, наш герой подумал, что осень, которую он впервые в жизни проведет не на освещенной фонарями оживленной Эспланаде или близ не менее шикарной Гарвестехудской дороги, наверняка будет меланхолической и печальной.

— Какое ужасное недоразумение, — уже на лестнице услышал он хрипловатый голос госпожи Хильдегарды Вибе. — Конечно же, ваш багаж, господин Касторп, доставили рано утром, только моя девка, кашубская стряпуха, не связала этого с вами, я уж ей, не говоря худого слова, задала перцу, но, вижу, вид у вас тем не менее отдохнувший, довольный, да, в ваши годы, господин Касторп, не говоря худого слова, только и наслаждаться жизнью, ну как, хорошо погуляли? Воздух у нас чистый, здоровый, с примесью йода, ну и не обложен климатическим налогом, — громко рассмеялась она. — Налог платят только те, кто приезжает в Сопот, и только в сезон, прошу вас, прошу, — она вела его по длинному коридору вдоль стоящих у стены тяжелых шкафов, пахнущих нафталином. — Вот ваше гнездышко, прелестное, согласитесь. — Пропустив Касторпа вперед, она вошла следом за ним в комнату. — Таз, кувшин, полотенце тут, за ширмой, ванной можете пользоваться каждый день за дополнительную плату, по субботам бесплатно, ватерклозет в конце коридора рядом с комнатой прислуги, под кроватью на всякий случай есть ночной горшок, вы уж простите, господин Касторп, все это вам должна была рассказать моя девка, а теперь вот приходится мне, чтоб она не запоздала с обедом, уж я ей задала перцу, печи мы начинаем топить с наступлением холодов, но осень нынче очень теплая, согласитесь, так что, по крайней мере пока, одной заботой меньше, что касается белья, господин Касторп, постельное белье мы меняем один раз в месяц, а что на стирку, извольте раз в неделю оставлять в корзине, вон она стоит, специально для вас, прачка очень добросовестная, хоть, не говоря худого слова, и полька, зато дешевле, чем та, что на углу, Боттхерша, она, вообразите, пьет...

Однако Гансу Касторпу ничего из услышанного от госпожи Хильдегарды Вибе воображать не хотелось, и уж тем более физиономию вечно пьяной прачки с угла Каштановой и Березовой; с этого момента все речи вдовы он пропускал мимо ушей, а сам — вежливо кивая — без стеснения открыл кофр и принялся извлекать из него свои вещи: сперва не-

сколько внушительных томов, среди которых светлела серо-бежевым переплетом "Техника судостроения", деревянный ящичек, содержащий изрядный запас его любимых сигар "Мария Манчини", туалетный набор в японском лакированном футляре, резиновую мисочку для мытья лица, пригодную также для бритья, целую стопку нижних рубашек, которые фрейлейн Шаллейн украсила перед его отъездом изящными монограммами; за этим последовали плед, четыре пары обуви, две пижамы, шлафрок, домашняя тужурка, двенадцать сорочек, до хруста накрахмаленных и отглаженных той же Шаллейн, костюмы – летний и зимний, две пары спортивных брюк вкупе со специальными теннисными рубашками, отдельно упакованные воротнички, манжеты, запонки, галстуки, носки, кальсоны, носовые платки и, наконец, письменные принадлежности, в том числе свое любимое вечное перо марки "Пеликан". Все это Касторп затем разложил на небольшой этажерке, в ящиках орехового комода, на доске секретера и в шкафу с зеркалом на внутренней стороне единственной дверцы и едва заметил, как госпожа Хильдегарда Вибе закончила свой монолог фразой: "Боже мой, не говоря худого слова, я вас, кажется, утомила" – и вышла из комнаты, сообщив, что обед будет подан в столовой через три четверти часа. Когда все уже было разложено, Ганс Касторп тщательно вымыл лицо и руки, переменил рубашку и только теперь внимательно оглядел комнату.

На узорчатых обоях в берлинском стиле висело несколько гравюр и литографий. На всех без исключения был в довольно унылых тонах изображен старый Гданьск. Железная кровать могла бы послужить украшением захолустного постоялого двора – как и потертый, хотя вычищенный ковер, на котором оставили неизгладимый след пробки от шампанского, пепел от сигар и дамские каблучки. Небольшого размера круглый стол вместе со шкафом, комодом, кушеткой, секретером, этажеркой, ночным столиком и стульями составляли гарнитур, по-видимому, местного производства. Безыскусная форма мебели в сочетании с полуматовой фанеровкой производила приятное впечатление. То же самое можно было сказать о люстре над столом и двух лампах для чтения – одна стояла на секретере, вторая на ночном столике. Благодаря сильным лампочкам свет от них был достаточно ярким, в чем Касторп убедился, затянув плюшевую штору на окне и затем нажав кнопки эбонитовых выключателей. Однако самой приятной неожиданностью оказался вид из окна. Комната выходила не на Каштановую улицу: большой выступающий эркер был обращен в сторону садов и полей, тянувшихся до самого горизонта, окаймленного плавной линией холмов. А поскольку дом стоял под углом к Оливскому тракту, ни одно из кирпичных казарменных строений не портило этот почти сельский пейзаж, пересеченный – как уже было сказано – трамвайными путями. Ганс Касторп закурил сигару и, вглядываясь в серовато-медные кучевые облака, плывущие откуда-то с залива к холмам, подумал, что ему повезло, если не считать хозяйки, вызвавшей у него – буквально с первой фразы – чувство, которое англичане в подобных случаях называют отвращением. "Возможно ли, – раздумывал он, – чтобы жена офицера была настолько примитивной? И эти ее постоянные 'не говоря худого слова'!" Хотя Касторп в своей предыдущей жизни был далек от армейской среды, он понимал, что в гусарском полку, где почти у каждого офицера перед фамилией красуется приставка "фон", такая особа не могла вызывать симпатию. К счастью, он не со-

бирался — да и не видел в том нужды — разгадывать секреты уже покойного обер-лейтенанта Вибе, и смущала его в данный момент лишь перспектива близящегося обеда в обществе вдовы.

IV

Госпожа Хильдегарда приняла его в столовой совершенно преобразившейся. Во-первых, сильное впечатление производил ее наряд: к обеду она переоделась в черное платье из тафты, перевязанное серебристой лентой. Волосы, раньше собранные в банальный пучок, теперь свободно падали на плечи. От внимания Касторпа не ускользнуло и то, что их светлый оттенок резко контрастировал с темным платьем. Во-вторых — что показалось ему куда более странным, — вдова обер-лейтенанта императорского гусарского полка за предшествовавшие обеду три четверти часа изменила не только свой облик, но и манеру поведения. Увидев в столовой, как она коротко и деловито отдает распоряжения, в основном жестами, он поверить не мог, что это та самая особа, которая только что извергала потоки ненужных фраз. При всем при том во время обеда явственно ощущалось некое напряжение между хозяйкой и прислугой. По совершенно непонятным Касторпу причинам верховодила скорее девушка, нежели госпожа Вибе. Похоже было, хозяйка боялась чем-либо задеть прислугу. Приносимые из кухни кастрюли та ставила на подсобный столик с громким стуком, а жаркое из телятины и брюссельскую капусту выкладывала на блюда едва ли не с вызовом. В такие минуты госпожа Хильдегарда Вибе опускала глаза в тарелку и лишь по окончании критического момента устремляла взор прямо на Касторпа, будто извиняясь за свое смущение или надеясь обрести в нем тайного союзника. Однако молодой человек, ничем не выдавая своего интереса к происходящему, оставался нечувствительным к этим уловкам. Лишь к концу второго блюда неестественную, что ни говори, тишину прервала раздумчивая фраза хозяйки:

— Видите, в Берлине все было иначе.

Касторп только кивнул, не рискнув подхватить тему, поскольку в голосе вдовы прозвучала такая нескрываемая тоска по прошлому, воплощенная в одном волшебном слове "Берлин", что следовало ожидать долгого рассказа о чудесной жизни в столице бок о бок с обер-лейтенантом. Однако ничего подобного не произошло. Проглотив очередной кусок и отпив глоток воды, госпожа Хильдегарда Вибе сообщила:

— Разумеется, господин Касторп, за небольшую доплату вы можете у нас столоваться. Похоже, еда вам нравится, раз вы взяли добавку жаркого.

— Я ведь писал, — невозмутимо ответил молодой человек, — что не знаю, позволит ли мне у вас обедать расписание. Если перерывы между лекциями будут слишком короткими, мне не хватит времени доехать сюда из политехникума и вернуться, не опоздав на занятия. Позвольте отложить решение до завтра. Что же касается платы за сегодняшний обед, то я заплачу немедленно. И за добавку, конечно, тоже: жаркое вправду отменное.

— Вот сейчас я вижу, что вы и в самом деле из купеческой семьи, — по лицу госпожи Вибе пробежала улыбка, больше похожая на гримасу. — Но зачем спешить? Я не только деньги имела в виду.

— Вероятно, я не совсем правильно вас понял, — хмыкнул Касторп. — Относительно ванной, во всяком случае, я уже решил. Мне бы хотелось пользоваться ею каждый день, скажите только, сколько это получится в месяц.

Госпожа Вибе явно ждала, когда прислуга соберет грязную посуду и покинет столовую. Как только та вышла, она перегнулась через стол к собеседнику и прошептала:

— Я нуждаюсь в обществе. Вам следует знать, что я опасаюсь этой девушки. И чем дальше, тем больше.

— Так почему же, — громко ответил Ганс Касторп, — вы ее не уволите и не поищете другую?

— Ради бога, — госпожа Вибе выглядела не на шутку испуганной, — тише, пожалуйста! Вы даже представить себе не можете, что бы случилось, если бы она это услышала.

Молодой человек кивнул и, откладывая салфетку, сказал:

— Большое спасибо, госпожа Вибе, но мне уже пора. Скоро четыре, и у меня остается только час, чтобы уладить формальности.

— Так вы еще не были в политехникуме? — удивилась вдова. — Сейчас мы подадим кофе с пирожными!

— Я прогуливался без цели — ведь все необходимые документы лежали здесь, в моем кофре. Куда мне было деваться, если ваша прислуга утверждала, что ни о чем понятия не имеет? Простите, но я уже опаздываю.

С этими словами Ганс Касторп отвесил хозяйке поклон и быстро вышел из столовой, едва не столкнувшись в дверях с кухаркой. В этот краткий миг между ними будто проскочила электрическая искра. Касторпа неприятно поразил даже не запах, исходящий от волос и передника девушки — странное сочетание кипяченого молока, корицы, мучной заправки и обыкновенного пота, — а ее взгляд, которым она прямо-таки хлестнула его по щеке. Когда через несколько минут он уже стоял на трамвайной остановке, раздражение нимало не улеглось, напротив — Касторпу казалось, что оно вот-вот достигнет апогея и закончится все это длительной мигренью, чего сейчас ни в коем случае нельзя было допустить. "У меня нет никаких порошков, — лихорадочно думал он, — надо зайти в аптеку; ох, что за люди, откуда такие берутся, поживу тут месяц и за это время подыщу квартиру получше, обязательно нужно заняться поисками".

Решив так и несколько приободрившись, он сел в трамвай, однако, взглянув на кондуктора, едва не застонал от отчаяния, ибо это был тот самый гнусный тип, который утром так безобразно с ним обошелся. "Какого черта! — подумал Касторп. — Видно, понятия 'вторая смена' здесь не существует; интересно, неужели вагоновожатые тоже ездят по этому городу с раннего утра до поздней ночи? Очень разумно, ничего не скажешь", после чего произнес требовательно:

— Один до политехникума!

Кондуктор весьма любезно улыбнулся и протянул пассажиру продырявленный билет, а затем и сдачу. Поскольку Касторп вручил ему просчитанную до пфеннига сумму, вероятно, произошла ошибка, которую следовало незамедлительно исправить.

— Я не имею права на льготный проезд, — поспешил объяснить он. — Если быть точным, студентом я буду считаться начиная с завтрашнего дня, то есть со дня зачисления!

— Да ну их, эти формальности, — ответил кондуктор. — Езжайте спокойно и не морочьте себе голову!

Как и в прошлый раз, несколько пассажиров уставились на Касторпа. Дабы избежать дальнейших осложнений, он сдался и сел на свободное место, нисколько не успокоившись: во всем, что с ним происходило с утра — включая и этот инцидент, — было что-то глубоко неправильное, какое-то странное нарушение привычного ритма, что особенно тревожило, так как касалось вещей не очень существенных. Наверно, не стоит добавлять, что до сих пор нашего героя воспитывали — и он это крепко-накрепко усвоил — в убеждении, что должный подход к жизни вырабатывается из правильного отношения к мелочам. Трамвай уже давно миновал рыночную площадь с часовой башней и начало улицы, над крышами которой возвышался костел, выстроенный в претенциозном неоготическом стиле. Касторп, однако, не обращал на такие детали внимания. Ко всем докучливым событиям, которые в тот день, будто черные бусинки, нанизывались на невидимую нить времени, добавилось еще одно. Только сейчас, рассеянно глядя на проплывающие за окном трамвая дома, Касторп понял суть некоего наблюдения, сделанного им в столовой госпожи Вибе. За обедом он несколько раз мельком поглядел на портрет обер-лейтенанта. Мундир с галунами, головной убор с изображением черепа, аксельбанты и эполеты, видно, до такой степени истощили фантазию художника, что лицо на портрете получилось совершенно невыразительным. Лишенное индивидуальности, практически незапоминающееся, оно, казалось, просто заполняло пустой овал среди ярких гусарских аксессуаров. Однако во взгляде обер-лейтенанта Вибе крылось что-то, обеспокоившее Касторпа. Быть может, просто свет неудачно падал на холст, но сейчас, в разогнавшемся трамвае, который на круто спускающейся вниз улице развил максимальную скорость, Касторп почувствовал неприятную дрожь, осознав, что лицо обер-лейтенанта Вибе — по крайней мере какой-то своей частью — поразительно схоже с лицом мерзкого типа, заговорившего с ним возле казарм. Как сказал этот рыжий? "Не для барчуков служба". Он попытался вспомнить хриплый, противный и одновременно насмешливый голос. И чем дольше думал, тем больше убеждался, что между рыжим и обер-лейтенантом Вибе существует какая-то связь или, кто знает, возможно, они состоят в близком родстве. С другой стороны, стоит ли удивляться, что у покойного обер-лейтенанта есть в городе двоюродный или даже родной брат, да и какое это может иметь значение? Касторп не верил в приметы, предсказания, ворожбу, и его рациональный ум загодя исключал метафизический характер любых — пускай и необычных — событий. Так чего ради забивать себе этим голову? За секунду до того, как сойти с трамвая, он подвел итог, сводившийся к следующему: незачем углубляться в эту историю, надо просто принять как очевидное, что возле казарменного учебного плаца он повстречался с родственником обер-лейтенанта Вибе.

Было уже без четверти пять — надлежало поторопиться. Улица, ведущая к главному зданию политехникума, расположенному на невысоком холме, в будущем обещала стать красивой тенистой аллеей. Пока же виден был лишь ее замысел, словно бы составленный из маленьких деревьев скелет, левым боком прилегающий к кладбищу, а правым — к выстроившимся в ряд двухэтажным кирпичным домикам. От внимания Касторпа — хотя он теперь шел очень быстро — не ускользнула эта сим-

метрия. И кладбище, и домики были новехонькие, то есть можно было сказать, что жилища по обеим сторонам аллеи Госслера ждут новых обитателей; это сравнение позабавило Касторпа, и настроение у него улучшилось. Слегка запыхавшийся, он без пяти минут пять вошел в канцелярию факультета кораблестроения и положил на стол чиновнику полный комплект необходимых документов — кроме тех, разумеется, которые были заранее высланы по почте. Все происходило в почти полной тишине: долговязый канцелярист с усохшей физиономией выразительно посмотрел на стенные часы, после чего отыскал в списке первокурсников фамилию Касторпа. Проверка заняла у него не больше пяти минут.

— Вам понадобится общежитие? — спросил он под конец с явно скрываемым, но все равно ощутимым польским акцентом.

— Пока у меня есть жилье, — ответил Касторп.

— Где, позвольте узнать?

— Вжещ, Каштановая улица.

— Это ведь почти Олива! — удивился чиновник. — Не нашли ничего поближе? Здесь сдается много комнат. В перерывах вы бы даже успевали вздремнуть. А поездки? Они денег стоят; не станете же вы ездить на велосипеде!

— Отличная мысль, — усмехнулся Касторп. — Правда, почему я сам не догадался? В таком случае прошу порекомендовать мне магазин, где продают велосипеды.

Канцелярист сдвинул очки в проволочной оправе на кончик носа, чтобы получше разглядеть собеседника.

— Шутить изволите, — беззлобно сказал он. — Хоть мы и на берегу моря, как Гамбург, откуда вы прибыли, снег у нас, бывает, лежит с начала ноября до середины марта. Это Восток, в чем, впрочем, вам еще не раз предстоит убедиться. Вдобавок к велосипеду я бы посоветовал купить лыжи и коньки, особенно пригодятся последние, когда после дождей ударит мороз и наши тротуары превратятся в каток. Вы читали Гоголя? В переводе, разумеется.

Касторп, с интересом слушавший гладкую речь канцеляриста, искренне удивился.

— Гоголя? — повторил он. — Нет, никогда не читал. Но что у Гоголя может быть общего с велосипедами? Вы имеете в виду российские морозы? Непогоду?

— Я имею в виду состояние тротуаров в нашем городе, и особенно в том районе, где вы сейчас проживаете. Знаете, сколько народу каждый год попадает на стол к хирургу из-за отвратительной поверхности наших тротуаров? Из-за плохого освещения? Несвоевременной уборки снега? Из-за ремонтов? Вот, пожалуйста, — он полез в ящик и протянул Касторпу тоненькую брошюрку в картонном переплете. — Здесь я все это описал. По статистике больше всего переломов конечностей именно в Лангфуре, далее следуют Оруня, Нижний город, Осек и Старое предместье. А знаете почему?

Пока Касторп рассматривал тщательно вычерченные схемы отдельных предместий, диаграммы и длинные столбцы цифр, канцелярист продолжал:

— А вот почему: отцы нашего города почти никогда не заглядывают в эти районы. И даже если заглянут, то увидят все только из коляски или

автомобиля. Жаль, что на заседания муниципального совета нельзя отправиться на аэроплане, верно? Тогда бы мы уже нигде не чувствовали себя в безопасности. Вот, — он забрал у Касторпа свою брошюру, чтобы отыскать нужную страницу и постучать по ней пальцем, — вот сколько теряет на этом в год страховая касса и сколько простой обыватель. А здесь, — он перевернул страницу, — я с помощью теории вероятности рассчитал, какова связь между несчастными случаями и выходами из дома. Понимаете? Дело вовсе не в том, как долго мы пребываем вне дома — пятнадцать минут или десять часов, это не имеет значения. Важно другое: сколько раз на протяжении единицы времени — примем за такую единицу восемь часов, поскольку это одна треть суток, — итак, сколько раз на протяжении единицы времени вы выходите из дома и в него возвращаетесь.

К сожалению, у Ганса Касторпа не было опыта общения с подобными личностями. И ему ничего не осталось, кроме как вежливо, преодолевая скуку, выслушать историю службы канцеляриста в магистрате, откуда его выгнали в результате заговора и подлых интриг. Было уже двадцать минут шестого, но ничто не предвещало скорого конца монолога, который теперь разворачивался вокруг темы городских скверов и нечистот, оставляемых там собаками.

— Если бы все эти кучи, — доказывал канцелярист, — собирать в специальные емкости и вывозить в городской питомник роз, годовое производство этих прекрасных цветов могло б возрасти на семнадцать процентов! Об этом я тоже написал, погодите, сейчас я найду экземпляр.

Когда чиновник принялся рыться в столе, Касторп, наконец набравшись решимости, сказал:

— Да, но я уже должен идти, благодарю вас, это, разумеется, очень важно, — после чего, даже не попрощавшись, поспешил покинуть канцелярию.

Под высокими сводами просторного коридора эхом отдавались его шаги. Почти все двери по обеим сторонам были открыты, и взору Касторпа то и дело представали пустые аудитории. Их вполне объяснимое молчание почему-то действовало угнетающе. "Совсем как будто я расстаюсь с этим местом, — подумал Касторп. — А ведь мне предстоит провести тут целых четыре семестра!"

По правде сказать, еще больше его угнетало то, что на сегодняшний день у него уже не было никаких планов. Октябрьские сумерки ничего приятного не сулили, и уж конечно меньше всего его привлекала перспектива вернуться в квартиру на Каштановой и сразу лечь спать. Шагая вдоль кладбища к трамвайной остановке, он с улыбкой вспоминал Кьекерникса. Мимолетная мысль, а не навестить ли попутчика и не пригласить ли его в гостиничный ресторан на ужин со спаржей и портером — хоть и очень соблазнительная, — немедленно получила разумную отповедь. Случайное знакомство не давало права на приятельские вольности, и даже если б он рискнул пренебречь условностями, тотчас напомнили бы о себе его финансы.

Так что Касторп окончательно отверг эту идею и решил поехать в центр. Ожидание трамвая он скрашивал размышлениями о времени: с голландцем они распрощались менее двенадцати часов назад, однако казалось, что после завтрака в гостинице "Deutsches Haus" прошло по крайней мере несколько дней. Еще дальше отступила панорама Старого горо-

да, которая открылась нашему герою с борта маленького "Водяного". Детали пейзажа настолько глубоко запали в память, будто произошло это давным-давно, а вовсе не сегодня утром, меньше чем через два часа после восхода солнца над заливом. И хотя так оно и было, Касторп, пытаясь разглядеть номер подъезжающего трамвая, пришел к забавному заключению: если бы посчитать возможной вещь, по законам физики совершенно невозможную, а именно: что время в Гданьске течет гораздо быстрее — скажем, вдвое быстрее, чем то, которое отмеряли старые часы в квартире дядюшки Тинапеля, — он бы, проучившись здесь четыре семестра, вернулся в Гамбург не на два, а на четыре года старше. Интересно, обратил бы кто-нибудь на это внимание? Наверно, чтобы произвести должное впечатление хотя бы на фрейлейн Шаллейн, следовало бы эту цифру возвести уже не во вторую, а по меньшей мере в четвертую степень. Да, в четвертую, поскольку тогда даже достопочтенный консул вынужден был бы спросить его по возвращении: "Дорогой мой, что с тобой, ты как-то странно выглядишь, не переутомила ли тебя эта учеба на Востоке? Говорил я, что ничего хорошего тебя там ждать не может! Посмотри в зеркало, у тебя уже появились седые волосы, куда же это годится!"

Из трамвая, с ужасным скрежетом затормозившего на остановке, одна за другой высыпáли группки студентов. Суете и толчее сопутствовали громкие восклицания: кто-то кричал, что надо проехать еще одну остановку, кто-то — что это глупая шутка и надо поторопиться, потому что в "Café Hochschule"[1] все столики займут те, кто приехал на предыдущем трамвае. Касторп, успевший в последнюю минуту протолкнуться к задней двери вагона, вдруг решил положиться на волю случая: повернулся и смешался с толпой молодых людей, будто вместе с ними приехал.

— Дружище, — обратился к Касторпу рослый коротко остриженный блондин, — слыхал, что в этом кабаке сегодня и завтра у нас скидка двадцать процентов? Каждая пятая кружка задаром — вот это я понимаю!

— Слыхал, — ответил Касторп. — Интересно только, на закуску она тоже распространяется?

Блондин расхохотался, хлопнул Касторпа что было сил по спине и взревел во всю глотку:

— Ты отличный малый! Меня зовут Николай фон Котвиц, а тебя?

— Ганс Касторп, — протянул он блондину руку, — из Гамбурга.

Вместе со всей группой, возглавляемой студентом в форменной студенческой фуражке, они перешли на другую сторону Большой аллеи.

— А я из Кёнигсберга, — захохотал Николай фон Котвиц, — проучился один семестр на юридическом, пока не выгнали! Думаешь, я пожалел? Не жалел ни секунды! Безмозглыми башками тамошних преподавателей только гвозди забивать. Каждый мнит себя Кантом! Я хотел пойти в армию, но мой старик, хоть и тупой юнкер, твердит: "Учись, и баста, иначе ни гроша не получишь!" А ты?

— Я? — Касторп не сразу нашел, что ответить. — Видишь ли, я собираюсь строить корабли, меня это правда интересует, что же касается денег, то... как тебе сказать... — замялся он, поглядывая на румяное лицо юного барона.

К счастью, никто, даже спрашивавший, не ждал от него ответа. Толпа студентов вливалась в "Café Hochschule", точно молодое вино в ста-

1. Hochschule (*нем.*) — высшее учебное заведение.

рую бочку. Верховодили корпоранты. Они так небрежно отодвигали стулья, так громко покрикивали на кельнеров, так уверенно швыряли на вешалку свои фуражки, так быстро опорожняли первые кружки пива, что Касторп, застенчивый по природе, в этой живой, пульсирующей, бесформенной массе совершенно растерялся. Когда минуту спустя в задымленном зале загремел первый куплет песни "Эй, как славно пиво пить до десятой кружки..." и длинная физиономия фон Котвица, маячившая напротив, побагровела от вокальных усилий, Касторп, отхлебнув изрядный глоток пива, закрыл глаза. Ему казалось, что он в жарком машинном отделении "Меркурия", где каждое движение силовой установки отдается дрожью на палубе и в переборках, а густой запах смазочных масел мешает дышать. Десятки кружек ритмично колотили по столикам. Протяжное "оляй-ля-ли, оляй-ля-ло" на две-три секунды приподнимало сгрудившиеся вокруг столиков тела, после чего волна снова опадала на стулья — до следующего прибоя.

— Вам нехорошо? — услышал он прямо у себя над ухом. — Хотите выйти на свежий воздух?

Это не был фон Котвиц — тот минуту назад, без тени смущения расслабив пояс, отправился в уборную.

— На свежий воздух, — повторил Касторп, — да нет, не обязательно. А кто вы? Меня зовут Ганс Касторп, и я приехал сюда...

— Учиться, — со снисходительной усмешкой перебил его незнакомец. — Вы ведь это хотели сказать, верно? Ну что ж, разумеется, все мы приехали сюда с одной целью. Но не все одинаково относимся к этому варварству!

Поскольку на лице Касторпа отразилось удивление, незнакомец немедля приступил к разъяснениям.

— У всех студенческих корпораций есть общее свойство: собравшись вместе, корпоранты ведут себя как в хлеву! Этот рев! Эти бесконечные вопли! Вам нравится? Наша немецкая песня не имеет, не желает и не будет иметь с этим ничего общего. Я руковожу здешним кружком "Vogelwander"[1], очень приятно, господин Касторп, Вильгельм Штокхаузен, для вас просто Вилли.

Касторп пожал ему руку — в тот самый момент, когда за столик вернулся Николай фон Котвиц.

— Ну конечно, — сказал барон очень громко, перекрикивая общий гвалт. — Вижу, охота за душами началась! Гляди, — он шутливо погрозил Касторпу пальцем, — закончишь свои дни в отрепьях, с посохом в руке, на большой дороге.

— Лишь бы не с пером в...! — добавил кто-то поблизости.

— С пером в штанах, — докончил другой голос.

Последнее замечание вызвало сущий ураган. Из дюжин глоток вырвался оглушительный хохот, кружки застучали по столам. В противоположном углу затянули очередную песню, темой которой было совместное питие. Вилли Штокхаузен, едва кивнув, что могло — но вовсе не обязательно должно было — означать, что он попрощался с Касторпом, направился к выходу, огибая взмыленных кельнеров. Сейчас им приходилось туго: каждый держал в обеих вытянутых кверху руках по подносу, уставленному налитыми до краев кружками, выстроившимися в ис-

1. "Перелетные птицы" (*нем.*).

кусную пирамиду. Кельнеры напоминали циркачей; один — вероятно, чемпион местных ежегодных соревнований — умудрился водрузить на голову третий поднос. Провожая его взглядом, Касторп вдруг увидел в другом конце серого от табачного дыма зала, у самой двери, Вилли Штокхаузена в смешной зеленой шляпчонке с перышком. Уже на пороге он повернулся на каблуках и — на сей раз явно адресуясь к Касторпу — на прощанье помахал рукой.

— Экий прилипала, — поморщился фон Котвиц, покачав головой над кружкой. — Тебе не кажется? Крутится среди нас невесть зачем!

К счастью, в зале снова запели, и Касторп мог, еле слышно подпевая, спокойно допить свою кружку. Больше он пива не заказывал. Под предлогом того, что ему нужно в уборную, не прощаясь с фон Котвицем, он выбрался из-за столика. Ему удалось — вопреки здешним обычаям — расплатиться у стойки и покинуть "Café Hochschule"; никто не попытался его задержать. Если, конечно, не считать грозного взгляда наследника престола принца Фридриха Вильгельма — облаченный в мундир местного гусарского полка, тот с олеографии взирал на объединенное будущее своего великого народа.

Чтобы удовлетворить естественное любопытство читателя, расскажем все-таки, чего избежал наш герой тем вечером. Так вот: во-первых — еще дюжины песен, именуемых буршевскими[1]. Песенная традиция, почти столь же старая, как и наши почтенные университеты, в тот год безусловно внесла в город над Мотлавой свежую, живительную струю, что явно пошло на пользу, например, Королевскому высшему техническому училищу, куда записался Ганс Касторп. Совсем недавно торжественно открытое императором Вильгельмом, оно было — формально — первым высшим учебным заведением этого достойного города с момента его основания, то есть за девятьсот с лишним лет. Далее: кроме живительного духа буршевских песен Касторп избежал также по меньшей мере десяти кружек местного пива, которое — что необходимо отметить — было слабее гамбургских сортов пильзеньского. Чего же еще? Наш герой не слышал речей ни председателя корпорации "Германия", ни председателя корпорации "Пруссия", который воздал должное принципам братства, выпив залпом литровую кружку пива. С легкостью завязываемые знакомства, тосты за здоровье сидящих за соседними столиками, громко рассказываемые анекдоты, похлопывания по спине и плечу новых членов студенческого сообщества — и этого избежал в тот вечер Ганс Касторп. Выйдя из "Café Hochschule", он неторопливо зашагал вдоль вековых лип Большой аллеи.

Было уже темно. Влажный воздух принес туман. К осеннему, еще теплому запаху листьев примешивался пронизывающий холод. Касторп не выбирал направления и только через несколько минут понял, что идет вдоль кладбищенской ограды. Редкие газовые фонари отбрасывали тусклый, слабый свет. Касторп был голоден, но идея отправиться в такую пору на поиски ресторана показалась ему еще хуже той, что привела его с толпой студентов в "Café Hochschule". "Надо будет поесть сухарей, — подумал он. — Какое счастье, что Шаллейн и сухари положила в багаж... Как же она выразилась? 'Неприкосновенный запас, мало ли что'". Ему вспомнился ее саксонский акцент и вечно озабоченное лицо.

1. Бурш (от *нем.* Bursch — парень) — студент-старшекурсник, принадлежащий к студенческой корпорации.

Наверно, повстречайся они сейчас, она бы воскликнула радостно: "Говорила я?!", хотя, по правде сказать, сухарями и мешочками трав фрейлейн Шаллейн снабдила его на случай несварения желудка, а не из опасения, что ему нечего будет есть.

Скорее услышав, чем увидев замедляющий ход трамвай, Касторп ускорил шаг и пересек пустую мостовую. Уже на остановке — хотя и сосредоточившись всецело на попытке разглядеть номер трамвая — он сообразил, что за ним кто-то идет. Впечатление было такое, будто незнакомый мужчина буквально выплыл из-за кладбищенской ограды, а затем перебежал мостовую исключительно для того, чтобы вслед за нашим героем вскочить на площадку трамвая. Само это, однако, вряд ли бы испугало будущего кораблестроителя. Туман, пустая по случаю позднего часа аллея, кладбище — ничего особенного тут не было. Беспокойство овладело им только тогда, когда, получив от заспанного кондуктора билет, он посмотрел в ту сторону, где уселся незнакомец. Неужто ему померещилось? Что это — осенняя фата-моргана, результат смешения темноты, желтоватого освещения и тумана? Хотя нет, зрение его не обмануло. Это был тот самый рыжеволосый коротышка, который повстречался ему утром возле казарменного плаца. Мерзкая, что ни говори, физиономия. Ну а если он ошибается и между этими двоими нет ничего общего? Вполне возможно, но почему же в душу закралось незнакомое прежде острое чувство тревоги?

Таковы примерно были размышления Касторпа во время первой ночной поездки по Вжещу на трамвае. Он также не мог отогнать странные ассоциации — о них нам уже известно, — навеянные внешностью покойного обер-лейтенанта Вибе. И хотя этим мыслям сопутствовала подсознательная уверенность: "Чушь какая-то, ведь это никоим, да-да, никоим образом не может повлиять на мою жизнь, на мое поведение..." — тем не менее, несмотря даже на эту защитную реакцию, почти автоматически возникшую в противовес царящему в уме тревожному сумбуру, Касторп ощущал растерянность — и не только потому, что вокруг был чужой, провинциальный, плохо освещенный город. Хуже того: он не заметил когда, а точнее, на какой остановке сошел этот тип. Кроме вагоновожатого и кондуктора, в трамвае уже никого не было. Вдобавок ко всему, добравшись наконец до дома на Каштановой улице, Касторп сообразил, что госпожа Вибе не дала ему ключей. К счастью, парадное оказалось не заперто, но у дверей квартиры он почувствовал нарастающее раздражение.

Вначале он легонько постучался — раз, другой. Безрезультатно. Тогда он нажал фаянсовую кнопку звонка, коротко и несмело, будто непрошеный гость. Через минуту снова позвонил, и только тут в квартире послышались шаги. Открывая дверь, девка что-то неприязненно бормотала себе под нос — разумеется, это относилось к нему. Касторп собирался произнести всего лишь одну, естественную в такой ситуации фразу: "Ну, поскольку я не получил ключа...", однако, взглянув на прислугу, онемел. На ней был шелковый, расписанный китайскими драконами халат, впопыхах наброшенный поверх прозрачной сорочки, под которой явственно угадывались пышные ядреные груди. Распущенные мокрые волосы пахли солью для купания.

— Ванная занята, — сказала она, пропуская жильца в коридор. — И еще барыня просят сигару курить при открытом окне!

Вероятно, этим заявлением, которое Касторп счел возмутительным, можно было бы завершить весьма подробное описание первого дня, проведенного им в чужом городе. Однако, учитывая, что ему предстоит проучиться здесь целых четыре семестра и впереди у него совершенно неожиданные события, которые глубоко отпечатаются в его душе, побудем с ним в комнате на Каштановой еще несколько минут. Возмущение довольно быстро улеглось, стоило ему заняться своим туалетом. Моясь в тазу, он кратко проанализировал минувший день. Все бы сложилось иначе, куда как лучше, придерживайся он заранее составленного плана. Не приняв предложения Кьекерникса, приехал бы прямо на Каштановую, где застал бы госпожу Вибе, и не слонялся бесцельно по окрестностям, как школяр, прогуливающий уроки. Записавшись никак не позже двух на факультет, он бы отправился в центр и — как планировал — плотно пообедал в Старом городе, в рекомендуемом Брокгаузом ресторане. Одинокая долгая прогулка по берегу Мотлавы, возвращение на трамвае при дневном свете, наконец, успешные поиски какого-нибудь уютного кафе здесь, во Вжеще, чтобы за кофе и сигарой почитать газету, — так могло, так должно было это выглядеть. Укладываясь спать, Касторп дал себе торжественное обещание. Отныне, что бы ни случилось, он будет строго, ни на йоту не отклоняясь, следовать намеченным планам. Например, завтра, после того как его фамилию внесут в список студентов, он изучит каталог библиотеки политехникума, узнает, где столовая, заглянет в Зерновой банк, а затем пойдет осматривать Старый город. Что может быть проще?

Однако заснул он не сразу. Крошка от съеденного уже в кровати сухаря застряла между зубами. Пришлось встать, отыскать коробочку с зубочистками, выковырять крошку и прополоскать рот остатками воды из кувшина. Когда он снова лег и устремил взгляд в потолок, тишину, в которую с некоторых пор погрузился дом на Каштановой, нарушили звуки рояля. Кто-то — по-видимому, в бельэтаже — играл экспромт Шуберта. Мягкая, меланхолическая мелодия, запомнившаяся Касторпу с раннего детства, показалась сейчас необыкновенно прекрасной. Но увы, приятный сюрприз был испорчен. С гораздо более близкого расстояния, а именно из ванной госпожи Вибе, до его слуха донеслись странные звуки. Они были похожи на громкие шлепки — то редкие, то следующие один за другим с очень короткими промежутками. Этим звукам сопутствовал идущий будто из-под земли протяжный стон, который — если был человеческим — мог в равной мере выражать как радость, так и страдание. Минуту спустя музыка оборвалась на середине ноты, в тот самый момент, когда мелодия после лирической, исполненной невыразимого очарования экспозиции приобрела драматическую окраску. Из ванной, а может быть, уже из коридора послышались приглушенные голоса и шлепанье — на этот раз по полу — босых ног. Так, по крайней мере, Касторпу показалось. Он перевернулся на бок, натянул одеяло почти по самые уши и наконец уснул.

V

После пяти дождливых, туманных и очень холодных дней октябрь вступил в дивную пору бабьего лета. Извлеченные из шкафов осенние паль-

то, калоши, шарфы, ба! даже перчатки вернулись обратно на вешалки и в бездонные комоды. Было так тепло, что женщины выходили на улицу в летних шляпах, а мужчины — в особенности низшего сословия — позволяли себе вышагивать по тротуарам без пиджаков, в жилетах, а часто и завернув рукава сорочек.

Касторп, который первые дождливые дни провел в весьма подавленном настроении — от полного уныния его спасало лишь обилие новых обязанностей, — теперь радовался каждой минуте. Бодрящие сверкающие утра ждали его уже за порогом дома, когда он с портфелем, набитым записями лекций, и картонным тубусом с чертежами, пройдя несколько шагов, сворачивал за угол Каштановой и направлялся к трамвайной остановке. Воздух был такой чистый, что всякая мелочь, на которую падал взгляд, вырисовывалась отчетливее обычного. Карниз дома, падающий кленовый лист или дуга подъезжающего трамвая одинаково доставляли Касторпу радость бескорыстного наблюдения. Большая аллея, в которую врывался разогнавшийся на горке трамвай, горела рыже-золотым пламенем, а огромное здание Высшего технического училища — которое все называли просто политехникумом — казалось на своем холме таким же невесомым и легкомысленным, как один из замков безумного короля Людовика[1]. Касторп, обычно внимательно слушавший лекции по начертательной геометрии, основам кораблестроения, прикладной математике и сосредоточенно выполнявший упражнения по техническому черчению, время от времени отвлекался и, подперев кулаком подбородок, поглядывал в одно из больших окон, за которыми по чистой синеве медленно и торжественно плыли ослепительно белые кучевые облака.

Обративший однажды внимание на погруженного в мечтательную задумчивость студента профессор математики Мангольдт громко спросил:

— И какой же, интересно, корень вы можете извлечь из этих облаков?

— Простите, господин профессор, — ответил сконфуженный студент, — но если учесть то, что вы минуту назад сказали о последовательности первых цифр, вытекающей из теоремы Ферма, я бы подумал о... бесконечности.

По аудитории прокатилась волна смеха, однако Мангольдт с серьезным видом кивнул и произнес:

— Действительно, это проблема чистой математики, мы же, однако, вернемся к нашим практическим задачам!

Залившийся краской Касторп склонился над своими записями; разумеется, он никак не мог предположить, что в результате этого незначительного инцидента, развеселившего аудиторию, за ним прочно закрепится сорвавшееся у кого-то с языка прозвище. С тех пор однокашники стали звать его Практичным Касторпом, или — проще и короче — Практиком.

Итак, наш Практик вел жизнь идеально упорядоченную, не допускающую никаких случайностей. Вставал он ежедневно в половине седьмого. Сделав при открытом окне от силы три-четыре гимнастических упражнения (будучи уверенным, что большее их количество окажется

1. Людовик II (1845–1886) — король Баварский, страдавший душевным заболеванием.

чересчур утомительным), он совершал за ширмой тщательный туалет. Затем, уже полностью одетый, отправлялся на кухню, где Кашубке – так он называл про себя прислугу госпожи Вибе – подавала ему горячее какао и две булочки. Одну он сразу же с аппетитом съедал, а другую Кашубке заворачивала ему в вощеную бумагу. Эти торопливые завтраки за кухонным столом сопровождались обоюдным молчанием, если не считать коротких "доброе утро", "пожалуйста", "спасибо", "до свидания". Лекции начинались в восемь, трамвай подъезжал к остановке перед Высшим техническим училищем в семь сорок две. У Касторпа оставалось восемнадцать минут, чтобы преодолеть двести метров по плавно поднимающейся вверх аллее Госслера, которую мы уже описали. Поэтому он шагал не торопясь, иногда примечая, что со вчерашнего дня на кладбище прибавилась еще одна могила. В огромном, чуть помпезном вестибюле он проглядывал доску официальных объявлений и направлялся в аудиторию, чтобы ровно без трех минут восемь занять свое место. "Свое" – поскольку всегда садился в пятом ряду как можно ближе к середине.

Обедал он в студенческой столовой, решив – хотя меню оставляло желать лучшего, – что так оно удобнее и дешевле. Если послеполуденные занятия начинались не сразу, он спускался на Большую аллею, по которой не спеша доходил до "Café Halbe Allee" или "Café Stoeckmann". При первом, расположенном ближе к центру и довольно популярном, был изрядных размеров сад, зато во втором, находящемся на краю Вжеща, посетителя ждали плюшевые диваны и посеребренные ложечки. В обоих подавали отменный кофе и газеты. И там и там Касторп, покуривающий любимую сигару, чувствовал себя, как нигде, в своей тарелке. Из того и другого кафе открывался вид на Аллею, по которой в эту пору катили конные экипажи, пролетки, трамваи, автомобили, прогуливались пары. Если же перерыв между занятиями был недостаточно долгим, после обеда Касторп шел в сквер перед главным зданием политехникума и тут, усевшись на скамейку и удобно вытянув ноги, с ненамного меньшим, чем в кафе, удовольствием закуривал "Марию Манчини". Вечера он проводил исключительно на Каштановой. Кашубке с разрешения госпожи Вибе ужин приносила ему в комнату.

Этот в высшей степени размеренный образ жизни удовлетворял Касторпа по нескольким причинам. Во-первых, отдаленность жилья спасала его от опрометчивых знакомств. Разумеется, кое с кем из сокурсников – о которых речь впереди – он охотно болтал на переменах, в столовой, маленькой читальне или на бульваре, но эти мимолетные беседы не требовали ничего, кроме сдержанной открытости, а Касторпу такое отношение к миру импонировало больше всего. Во-вторых, он быстро понял, что, если не хочет опозориться на первых же коллоквиумах и экзаменах, должен трудиться гораздо усерднее, чем это ему казалось в Гамбурге. Потому после ужина он открывал свои тетради и всякое сложное задание расчленял на отдельные элементы долго и основательно, пока не добирался до самой сути. Случалось, он засыпал, уронив голову на учебник начертательной геометрии, однако, проснувшись, никогда не жалел, что не сидит сейчас с приятелями за кувшином пива или не разгуливает в веселой компании по городу. В-третьих, неукоснительно выполняя установленные раз и навсегда правила, он чувствовал себя гораздо свободнее, чем если бы, закрутившись в водовороте связей и

отношений, вынужденно тратил время на множество разных дел, не вкладывая, правда, в это душу. Так, Касторпу благополучно удалось не стать членом Северонемецкого общества гребцов, Гданьского певческого союза, Студенческой кассы взаимопомощи, Общества молодых лютеран, пребывающих за пределами отчего дома, Общества распространения немецкого духа и культуры в восточных областях, Союза абстинентов, общества любителей античности "Омфалос", Академической лиги нравственного развития, Пангерманского объединения викингов и одной из двух уже упоминавшихся корпораций: "Германии" либо "Пруссии". Одной из двух, поскольку, в отличие от всех остальных обществ и союзов, каждая из этих элитарных корпораций не допускала участия своих членов в любой другой.

Общение с госпожой Вибе, сведенное к необходимому минимуму, тоже не составляло для него труда. Доплатив не так уж и много, он пользовался ванной по понедельникам, средам и субботам. Кашубке тогда растапливала чугунную колонку, и Касторп лежал в теплой воде, уткнувшись взглядом в разноцветные стеклышки витражного окна, столько, сколько ему хотелось. Единственное, чего госпожа Хильдегарда Вибе "не могла ему простить" (здесь мы повторяем ее выражение), так это его отсутствия за воскресным столом, тем более что, желая привлечь "ужасного нелюдима в общество" (это тоже ее слова), она предлагала Касторпу отменный обед с кофе и десертом за полцены.

Но у него на этот счет было свое мнение. По воскресеньям он спал дольше обычного или по крайней мере до девяти валялся в кровати. После завтрака, на который Кашубке подавала яйца всмятку, белый хлеб с ветчиной, дрожжевые булочки и кофе, Касторп возвращался к себе в комнату, где еще с полчаса предавался приятному ничегонеделанию. С чашкой недопитого кофе и зажженной сигарой он смотрел через открытое окно на далекие холмы, луга, сады и трамвайные пути. Созерцание широких просторов создавало приятное настроение легкой меланхолии. Час спустя Касторп уже выходил из трамвая у Зеленых ворот и отправлялся бродить по улицам старого Гданьска. Неторопливо и методично он осматривал исторические здания, отвечающие ганзейским традициям и близкие архитектурному стилю его родного города, однако чем-то неуловимо отличающиеся. Проголодавшись, он заходил в первый попавшийся скромный ресторан, где, угостившись для начала рюмкой местной водки и превосходной селедочкой, заказывал сытный обед, неизменно заканчивавшийся кофе, газетой и любимой сигарой. Потом он долго гулял по набережным Мотлавы, поглядывая на неподвижные подъемные краны, пустой фарватер и пришвартованные к причалам суда. Сонная воскресная атмосфера старого порта приводила на ум отдыхающий механизм; понятно было, что достаточно его запустить, как загудят буксиры, оживут краны, заскрежещут на стрелках вагоны, и вся эта сложная система вновь примется за работу, будто сердце, нагнетающее кровь в аорту.

Прежде чем направиться через Старый город к трамваю, он заходил в портовый кабачок "Под оленем". Набившиеся туда мужчины перекрикивались, кажется, на всех языках мира, но Касторпа, смакующего свой стакан портера, привлекала не столько матросская экзотика, сколько кельнер, за которым он с интересом наблюдал. Тот лавировал в страшной толчее с небольшой обезьянкой на плече, и всякий раз, когда

зверек брал в протянутую лапку предназначавшиеся хозяину деньги, вокруг раздавался свист и аплодисменты. Кельнер был похож на Фите. Как его изрытое морщинами лицо, так и некоторые жесты напоминали старого слугу из дедушкиного дома на Эспланаде. Однако самое сильное впечатление на Касторпа произвели две детали, напрямую не связанные с внешностью кельнера: на шее у него был классический старомодный галстук, а правое ухо украшала широкая серьга, смахивающая на обручальное кольцо. Забавы ради Касторп представлял себе, как дед в просторной столовой заговаривает с Фите на южнонемецком наречии, между тем как наряженная в матросскую тельняшку обезьянка крадет с блюда кусок вкусного сыра. И деда, и Фите давно уже не было в живых, дом на Эспланаде, проданный чужим людям и перестроенный, изменился до неузнаваемости, однако воспоминание о них обоих – дедушке и его слуге – всплыло в памяти именно здесь, в кабачке "Под оленем", куда никто из членов семьи Касторпа по собственной воле, пожалуй, ни за что бы не заглянул. Кладя в обезьянью лапку плату за портер, молодой человек почувствовал, как в груди разливается тепло, хотя прикосновение твердых и к тому же черных пальцев зверька трудно было назвать приятным.

Так Касторп провел два воскресенья кряду. Конечно, он понимал, что вскоре в Старом городе не останется ни одного неизведанного места, но пока на карте Гданьска, где он скрупулезно отмечал уже изученные объекты, еще далеко не все пункты были зачеркнуты. Много интересного обещала прогулка от Старой оружейни вдоль укреплений, помнивших осажденного там короля Лещинского[1]. Еще Касторп не видел костела меннонитов, Большой синагоги, не побывал во Дворе Артуса, не посмотрел голландских мастеров в городском музее, не зашел в знаменитую библиотеку маркиза Бонифацио. Из менее значительных объектов оставался, например, переулок Святого Бартоломея и дома с черными перекрестиями балок за голландской плотиной. Отдельной экскурсии заслуживала крепость Вислоустье, которую он приметил, когда вплывал на "Водяном" в город.

По-прежнему стояла солнечная, необыкновенно теплая для октября погода. Даже в городской "Данцигер анцайгер", которую он однажды пролистал в "Café Stoeckmann", напечатали статью о климатических изменениях. Автор доказывал, что через сто лет, примерно в 2005 году, балтийский климат уподобится средиземноморскому, что приведет к неслыханному расцвету курортов и водолечебниц. С научной точки зрения это была довольно наглая чушь, однако Касторп, читая статью, улыбнулся: шелестящие под ветром пальмы на Долгом побережье и впрямь радовали бы взор. Он представил себе высохшего канцеляриста, строчащего докладную записку с предложением соорудить в городе по меньшей мере полсотни новых фонтанов. Перед ним же самим рисовалась гораздо более близкая перспектива – следующее воскресенье он собирался провести подобно двум предыдущим. А то, что получилось все совсем не так, было результатом чистой случайности.

1. Станислав Лещинский (1677–1766) – польский король в 1704–1711, 1733–1734 гг.; речь идет об осаде в 1734 г. Гданьска русскими войсками: Россия не признавала Лещинского королем и поддерживала его противника, Августа III.

Уже в четверг утром, когда, перед уходом из дома, он собрался положить в портсигар две любимые бременские сигары, оказалось, что деревянный ящичек с надписью "Мария Манчини" пуст. Тот, что он опустошил неделю назад, Кашубке убрала с подоконника, но у него должен был быть еще один — быстро вспомнил Касторп, — на дне кофра. Однако ящичка он не нашел — ни там, ни где-либо в другом месте, хотя тщательно обыскал шкаф и комод. Необъяснимая пропажа вызвала крайне неприятное чувство; разнервничавшись, Касторп опоздал на свой трамвай и — в результате — на первую лекцию по физике, которую читал профессор Ганновер.

Наверное, не надо объяснять, в каком скверном настроении Ганс Касторп повернул латунную ручку двери аудитории номер семь, где вот уже десять минут профессор излагал волновую теорию Гюйгенса. И дальше все складывалось плохо. Чтобы успеть купить сигары до закрытия магазинов, наш Практик пропустил лекцию по материаловедению, но "Марии Манчини" нигде не нашел. Ни в изысканном табачном магазине у Вжещанского рынка, расположенном бок о бок с кафе "Антония", ни в лавочке Левинской сразу за железнодорожным виадуком, ни в одной из прочих лавок с колониальными товарами в ближайших окрестностях. На следующий день Ганс Касторп не пошел в столовую, посвятив обеденный перерыв поискам бременских сигар в центре и закоулках Старого города. Следует ли добавлять, что, сойдя после этого путешествия на остановке у политехникума, он понял, что опять опоздал и, хуже того, опять остался без "Марии Манчини"? Ему, правда, предлагали "Окассу Заротто", "Вирджинию", "Пенсильванию" и даже ввезенную контрабандой из России якобы настоящую кубинскую "Гавану", но его любимых сигар не нашлось нигде, даже на оптовом складе Куммера в Зеленых воротах. Как будто в Гданьск не заходили суда из Бремена! "Забыли, видно, — с горечью подумал Касторп, сидя на лекции по машиностроению, — что первые наши торговцы этим товаром шестьсот лет назад прибыли из Бремена". Но от этой мысли, хоть и исторически верной, ему нисколько не полегчало.

Вдобавок вечером того же дня у него произошла небольшая стычка с госпожой Вибе. Вдова обер-лейтенанта не могла понять, почему молодой человек не кладет свое белье в специальную корзину. А когда он объяснил, что лишь фрейлейн Шаллейн единственная в его родном городе особа, которой можно доверить стирку, осмотр, починку и утюжку рубашек и белья, — словом, когда прямо, без церемоний, заявил вдове, что уже отправил посылку в Гамбург и — да-да — ждет скорого прибытия чистых вещей, госпожа Хильдегарда Вибе просто задохнулась от возмущения.

— Выходит, — сказала она, — на портвейн и вообще вам не жалко денег, а на воскресном обеде экономите?!

Куря египетские папиросы, купленные с горя у Куммера, Касторп смотрел из открытого окна своей комнаты на последний трамвай, свет от фонаря которого вспарывал темноту над садами и огородами. Вагон был похож на светлячка, ощупью пробирающегося во мраке.

В субботу утром на аллее Госслера он повстречал Николая фон Котвица. Беседа их, хоть и довольно бессодержательная, навела нашего героя на новый след.

– Сигары? – захихикал юный барон. – Ну и заботы у тебя, дружище, кто б мог подумать! "Мария Манчини"? Ничего не слыхал про такую гадость! Но есть магазин, где можно купить всё. Поезжай в Сопот, только смотри не заплутай: от вокзала вниз по Морской, а потом направо на улицу Вильгельма. Если у Калиновского не найдется таких сигар, отдаю тебе мой перстень, поместье и фамилию!

Ганс Касторп ни на что подобное не претендовал. Однако спросил, незаметно улыбнувшись:

– Ну а герб? С гербом-то как быть? Тоже отдашь?

И вот тут Николай фон Котвиц продемонстрировал всю палитру своих вокальных возможностей. Стоя на тротуаре, он просто ревел от смеха, поминутно выкрикивая:

– Ну, это потрясающе, дружище, просто потрясающе!

Касторп предусмотрительно отстранился, и лишь поэтому огромные, как лопата, ручищи приятеля не обрушились на его спину. Когда они уже поднимались по лестнице, ему вдруг припомнилось объявление, которое каждые несколько дней помещало в "Анцайгере" Общество каботажного судоходства: "В связи с прекрасной погодой регулярные рейсы продолжаются вплоть до отмены, цена билетов остается прежней".

Больше всего его удивила легкость, с которой он принял скоропалительное решение, продиктованное, как он посчитал, высшей необходимостью. Разумеется, если бы магазины и табачные лавки были открыты по воскресеньям, хотя бы до полудня, он бы поехал в Сопот на следующий день. Но поскольку это было не так, он прошел мимо аудитории, куда вливалась толпа первокурсников, и быстро покинул здание политехникума.

В девять пятнадцать от Долгого побережья отходила в Сопот "Русалка". Касторп – приобретя в деревянной будочке билет – не торопясь занял место на открытой палубе судна. Его радовало решительно все: прекрасная, почти безветренная погода, чайки, покрикивающие над палубой, мерный гул паровой машины, попадавшиеся навстречу корабли и даже ленты на шляпах трех молодых женщин, которые, опершись о перила, без умолку весело щебетали. "Русалка" по дороге заходила на Вестерплатте, в Бжезно и Елитково, делая короткие остановки, на которых пассажиров все прибывало. К удивлению Касторпа, бóльшую их часть составляли курортники; это, конечно, объяснялось погодой, и потому его сложившееся еще в детстве представление о краткости балтийского курортного сезона за время рейса существенно не изменилось. Скрывая любопытство, он наблюдал за двумя русскими купцами в безупречных светлых летних костюмах: они успели до Сопота вылакать пять бутылок шампанского, щедро наделяя кельнера чаевыми. Может быть, поэтому, несмотря на выразительные знаки, которые подавал ему Касторп, негодяй так и не принес во второй раз портер? Впрочем, даже единственный бокал, с наслаждением выпитый между Бжезно и Елитково, привел нашего героя в преотличное настроение. Шагая по молу под бравурную музыку духового оркестра, обряженного в матросскую форму, разыскивая улицу Вильгельма, наконец, покупая в магазине Калиновского десять ящичков "Марии Манчини" (девять из которых, разумеется, с доставкой на Каштановую), Касторп ощущал, как в нем нарастает легкая, но будоражащая эйфория, которая подхватывает его и

уносит в ясную, теплую, безоблачную курортную атмосферу. Спускаясь в курхаус, а затем усаживаясь за столик на веранде кафе, он был счастлив: это была та краткая минута беззаботного счастья, какая порой выпадает на нашу долю, когда, заслушавшись шума моря или обычного уличного гомона, мы вдруг с изумлением обнаруживаем, что находимся где-то совсем в другом месте — трудно сказать, где именно, но уж наверняка не там, где реально пребывает наше тело.

VI

Когда он сел в самом углу веранды и заказал портер, соседний столик еще пустовал. После первого небольшого глотка, покуривая "Марию Манчини", сизый дымок которой быстро рассеивался полуденным бризом, полузакрыв глаза, Касторп погрузился в приятное оцепенение. Сквозь немолчный шум моря, точно сквозь музыкальный фон, в его сознание пробивались отдельные звуки: гудки прогулочного кораблика, веселые детские голоса, перекрикивания кельнеров, звон монеты, кружащейся на каменной столешнице, наконец, мелодия одного из популярных вальсов Штрауса, которую заиграл струнный ensemble на подиуме кафе. Именно тогда он услышал фразу, произнесенную по-французски с показавшимся ему незнакомым акцентом:

— Сколько еще мне мучиться?

Минуту спустя другой голос, на сей раз мужской, ответил тоже по-французски:

— Сейчас я не стану просить об отставке.

Они сидели за соседним столиком. Мужчине было лет тридцать пять. Он был в костюме английского покроя и панаме, вероятно, из-за чересчур широких полей которой казался коренастым. В тот момент, когда Касторп посмотрел в их сторону, мужчина наклонился к своей спутнице и, обхватив ее запястье, добавил:

— Положение серьезное. Это политика.

Только теперь, когда, решительно вырвав руку, женщина невольно подняла голову, Касторп увидел ее лицо. Что-то позволило ему сразу же интуитивно определить славянский тип красоты этого лица, в котором едва заметно ощущалось далекое дыхание Востока.

— Ненавижу политику, — сказала она. — Ты знаешь, как сильно. Даже в письмах я не могу этого выразить.

К их столику подошел кельнер. Мужчина обратился к нему по-немецки с мягким певучим акцентом, тем не менее резко отличавшимся от того, который, по крайней мере здесь, считался специфически польским. Дожидаясь заказанных шоколада и пльзеньского, пара не обменялась ни словом, будто они пришли сюда лишь затем, чтобы с веранды курхауса полюбоваться морем. Но и после того как на столике появились напитки, беседа не стала оживленнее. Похоже было, ссоры, угрозы разрыва, многократные обещания, наконец, радость от владеющего ими чувства у них уже позади, и даже не имевший опыта в подобных вещах Касторп догадался, что сейчас они только повторяют то, о чем не раз говорили в гостиничных апартаментах или во время прогулки по берегу моря. Отставив едва початую кружку, мужчина сказал:

— Прости. Зря я утром раскипятился.

На что она ответила:

– Я же тебя ни в чем не упрекаю.

– Зато я себя упрекаю. За все. Даже за то, что я такой, какой есть. Порой слишком часто. Понимаешь?

Неприкрытая откровенность, с которой мужчина анализировал свое душевное состояние, просто-таки возмутила Касторпа. То, что он говорил по-французски, вероятно полагая, что никто вокруг не знает этого языка, ничуть его не оправдывало. Слушать такого рода излияния столь чувствительному молодому человеку, как Касторп, было стыдно: он смутился гораздо больше, чем если бы увидел этих двоих целующимися в тени аллеи. Не став дожидаться кельнера, он отсчитал нужную сумму за портер, положил деньги на столик и направился к променаду. Уходя, он еще увидел ее руку: затянутая в шелковую перчатку, она вначале поправила панаму на голове продолжающего без умолку говорить мужчины, чтобы затем нежно коснуться его темных, ровно подстриженных волос на затылке, чему сопутствовало произнесенное со вздохом искреннее признание:

– Как же я люблю все эти твои глупости – ты даже не представляешь как!

Возмущение улеглось не сразу. Касторп решил отправиться на долгую прогулку по берегу моря до самого Бжезно, откуда в его район шел прямой трамвай. Правда, легкие полотняные туфли совершенно не годились для похода по пляжу, но разве утром, отправляясь в политехникум, он мог предвидеть такой поворот событий? Шагать в одиночестве, вслушиваясь только в монотонный шум волн и крики чаек, идти так, ощущая под ногами хруст раздавленных ракушек, поскрипыванье песка, приятную мягкость пляжа, брести по краю пускай лишь кажущейся бесконечности – это казалось ему самым подходящим и единственным из всех возможных сейчас занятий. С первых же шагов он почувствовал необычайную легкость, как будто воздух на берегу залива оказывал меньшее сопротивление, чем в городе. Разумеется, с точки зрения классической физики – а иной он не знал – это было просто невозможно, однако с другой стороны, – размышлял Касторп, перепрыгивая через студнеобразное пятно медузы, – с другой стороны, можно ли с уверенностью исключить существование таких особых мест? Утверждать, что их нет нигде – то есть не только здесь, на Земле, но и во всем преогромном космосе? Он вспомнил, что на последней лекции профессора Ганновера одно из отступлений касалось à rebours[1] подобной проблемы; термин "особость" был несколько раз повторен вкупе с фамилией английского астронома. Более ста лет назад тот разработал теорию звезды, не излучающей света. Такое представлялось просто абсурдным, смешным, противоречащим здравому смыслу, черное солнце нельзя было даже вообразить, а уж тем более наблюдать, но аргументы Джона Мичелла были обезоруживающе логичны. Кто-то из поэтов – Касторп тщетно пытался вспомнить его фамилию – говорил о "кубке, полном темного света"[2]. Эти слова свидетельствовали о проницательности автора; астроном выразил то же самое с помощью последова-

1. Наоборот, навыворот (*франц.*).

1. Строка из стихотворения "Воспоминание" немецкого поэта Иоганна Кристиана Фридриха Гёльдерлина (1770–1843).

тельности цифр и уравнений — вот и доказательство некой общности поэзии и математики. Возвращаясь же к загадкам природы: если определенная "особость" возможна где-то там, в невообразимо огромных пространствах космоса, то иная по своим свойствам, но тоже "особость" могла иметь место и здесь, на берегу холодного моря, по которому он шел на удивление легким шагом, вдыхая запах водорослей и сырого песка.

Касторп отдавал себе отчет в том, что эти рассуждения, хоть и опиравшиеся на серьезные предпосылки, сумбурны и не могут привести к верным выводам, однако служили они совсем другой цели: как черная звезда, так и феномен морского воздуха позволяли не думать о тех двоих, оставшихся на веранде курхауса. На полдороге к Бжезно, близ рыбацкого поселка, Касторп, впрочем, отвлекся от своих размышлений. Наступив на что-то, он остановился и поднял кусок янтаря размером с грецкий орех; внутри покоилось насекомое, похожее на шершня. Держа в двух пальцах янтарь и разглядывая его на солнце, Касторп услышал явственную, хотя и заглушаемую шумом волн мелодию. Несмотря на кажущуюся беззаботность, она была какой-то очень трогательной, словно открывающийся из окна поезда пейзаж осенних полей, перерезанных сизыми дымами костров. Пела молодая девушка, которая, забрав у мужчин в лодке полную рыбы корзину и поставив тяжелый груз на правое плечо, несла его по широкой полосе пляжа. Босые ступни на каждом шагу с поскрипываньем погружались в песок, льняная юбка сдерживала движения, а свободно завязанный на голове платок сползал на глаза, мешая смотреть. Тем не менее, а возможно, именно поэтому девушка пела с такой самозабвенной радостью, будто все тяготы бытия были ей нипочем.

Песня, слов которой Касторп не понимал, заставила его замедлить шаг и тут же направила мысли на веранду курхауса. Ему почудилось, что случайно подслушанная там фраза, произнесенная слегка дрожащим, с хрипотцой голосом, то самое "Сколько еще мне мучиться?" адресована непосредственно ему и место ей — в глубине таинственного колодца, где память хранит смутные, расплывчатые картины, оживающие на краткий миг, чтобы затем вновь померкнуть и продолжить свое скрытое хрупкое существование.

В комнате матери пахло камфарой и болезнью, доктор Хейдекинд осторожно притворил за собою дверь, а отец, покинувший комнату минуту назад, молча сел за рояль и заиграл самую печальную песню из всех, что когда-либо были написаны. "Как ты можешь сейчас, когда она... — укорил его дедушка Томас. — Это же просто неприлично..." Именно так сенатор Томас и сказал: "неприлично", однако отца это ничуть не смутило, он продолжал играть с каким-то страшным автоматическим самозабвением, пока вышедший из комнаты матери доктор Хейдекинд не произнес: "Embolia cerebri, увы..." И тогда в квартире воцарилась глубокая тишина, прерываемая лишь тиканьем мейсенских часов да тарахтеньем пролетки за приоткрытым окном. Отец уже никогда больше не сел за рояль, с тех пор он целые дни проводил запершись в своем кабинете, а на его письменном столе росла белая гора корреспонденции, присылаемой из конторы, где он вообще перестал бывать. Однажды — незадолго до Рождества — Ганс Касторп увидел его у камина: стоя в небрежно наброшенном на пижаму шлафроке, он швырял в

огонь неразрезанные конверты, а заметив устремленный на него пристальный взгляд сына, тихо проговорил: "Дай бог, чтобы тебе никогда не пришлось, как мне... запомни...", будто в чем-то оправдываясь, хотя прозвучало это скорее как жалоба.

Только в трамвае музыка вытеснила воспоминания. Никогда еще с ним не бывало ничего подобного: мелодия, которую отец наигрывал на рояле, и песня юной рыбачки странным образом звучали в его голове одновременно, чисто и безошибочно, нисколько не смешиваясь; можно было подумать, что Шуберт — автор первой мелодии — прекрасно знал и вторую или даже — что за абсурд! — сочинял свою песню о трех солнцах-призраках не столько под влиянием той песенки, сколько как ее отражение, однако не зеркальное, симметричное — нет, это было отражение на воде, то есть живое и беспрестанно меняющееся. Касторп с его склонностью к скрупулезному анализу воспроизвел в уме обе мелодии в виде математических функций, которые, перемещаясь в полной пустоте — будто в зоне абсолютной тишины, — резко расходились, чтобы через точно отмеренный промежуток времени пересечься в заранее назначенном пункте и тут же начать поиски собственного пути. А поскольку окно, у которого он сидел, быстро запотело (не без участия его насквозь мокрых туфель и штанин), Касторп начертил на побелевшем стекле обе эти линии и разглядывал их примерно с таким же чувством, с каким еще недавно наблюдал за взбаламученной винтом "Меркурия" морской пучиной.

Это музыкальное настроение, не покидавшее его до самой Каштановой улицы, куда он шел пешком от остановки Брунсхофер, испарилось, едва он переступил порог квартиры госпожи Вибе.

— Так рано? — напустилась на него вдова. — Вы же по субботам никогда раньше шести не приходите! По лужам бегали? Дождя сегодня, не сказать худого слова, не было!

Одетая в шелковый, расписанный китайскими драконами халат, госпожа Хильдегарда Вибе как раз направлялась в ванную комнату, откуда Кашубке, наполнявшая ванну, кричала, перекрывая шум льющейся воды:

— Уже не такая горячая, теперича будет в самый раз!

С туфлями в руках, оставляя мокрые следы, Касторп прошлепал в свою комнату. Девять аккуратно уставленных в ряд на секретере ящичков с "Марией Манчини" свидетельствовали о необыкновенной расторопности сопотской фирмы Калиновского: пока он бродил по берегу моря, ждал трамвая, наконец, ехал на нем из Бжезно среди полей и садов, покупка была доставлена на место, хотя он ждал ее не раньше понедельника. Повесив носки на спинку стула и выжав брюки над тазом, Касторп стоял посреди комнаты в одних кальсонах и расстегнутой рубашке, озираясь в поисках полотенца, когда дверь отворилась и к нему — без стука! — ворвалась Кашубке с кувшином, из которого валил пар.

— Теперича вам не искупаться, — она наливала воду в таз, — пришли пораньше, а хозяйка ингаляцию принимают. Вот и ждите. Хозяйка велела принести горячей воды, чтоб не простыли. Ну чего? — только сейчас она украдкой взглянула на Касторпа. — Берите стул, садитесь и грейте, что промочили. А сигары эти, — она указала на ящички с "Марией Манчини", — так они сказали, уже уплочено. — И вышла, хлопнув дверью.

Хотя осуществленные таким способом добрые намерения госпожи Вибе сильно смутили Касторпа, он с удовольствием закурил сигару, передвинул стул и опустил озябшие ноги в таз с горячей водой. Из ванной доносились восклицания и приказы. Кашубке поминутно бегала в спальню хозяйки, чтобы принести оттуда то соли, то еще что-нибудь. Продолжалось это так долго, что Касторп, вытерев согревшиеся наконец ноги, надел тонкие шелковые носки, халат, лег на кровать и заснул. А когда через несколько часов проснулся с головной болью и сосущей пустотой в желудке, свет в квартире госпожи Вибе уже не горел. Первой мыслью его было, что надо поесть, и еще: как он мог проявить такое легкомыслие и лишиться обеда и ужина? Кроме того, следовало принять ванну — но можно ли посреди ночи подымать шум?

Однако все прошло на удивление гладко. С зажженной свечой в подсвечнике он первым делом отправился на кухню, где стоя проглотил две булочки с сыром и выпил молока. В ванной жар в колонке еще не угас, благодаря чему в его распоряжении оказался изрядный запас теплой воды. Когда, выкупавшись, он возвращался в комнату, его слуха достиг доносящийся из-за дверей спальни госпожи Вибе храп, перемежающийся тихими, прерывистыми, словно бы нервными всхлипываниями. Осторожно закрыв за собой дверь, Касторп задул свечу и скользнул в постель. Но сон не желал приходить. Наш герой долго ворочался с боку на бок, и в голову лезли разные мысли. Ему вспоминался последний разговор с дядей Тинапелем, прогуливающиеся по Эспланаде пары, колесный пароходик "Ганза", на котором он катался по гамбургскому порту еще с отцом, и прощальная гримаса фрейлейн Шаллейн, когда он уезжал. Ни одно из этих воспоминаний — беспорядочно появлявшихся и сразу же исчезавших — не заслуживало внимания. Первый, еще не очень глубокий сон принес перемены. Вначале шумело море, словно дом на Каштановой стоял прямо на пляже. Потом Ганс Касторп неожиданно оказался в своей детской, где открывал дверки кукольного театра. На сцене стояли: Король с Королевой, чуть подальше Паж, Шут, Рыцарь и Астролог.

— Нравится тебе, когда хорошо произносят заученные роли? — услышал он уже знакомый дрожащий, с хрипотцой голос. — А может, они предпочитают гулять в саду?

Только сейчас, глядя ей прямо в глаза, он понял, почему она так очаровала его в курхаусе. Чуть выступающие скулы в сочетании со своеобразным, немного капризным изгибом губ придавали ее лицу экзотическую прелесть, какую-то двусмысленную, притягательную чуждость. Он молча подошел к ней, а когда она положила ему на затылок ладонь, почувствовал, как от каждого пальца исходит тепло нагретых солнцем дюн и веет жарким дыханием морского ветра. Прикосновение было таким чувственным, что, проснувшись утром, Касторп еще несколько минут остро его ощущал.

За завтраком и кофе он старался разгадать — наверно, впервые в жизни — поразительную логику сна. В том, что ему приснилась незнакомка из сопотского курхауса, не было ничего удивительного. Но почему она появилась в его детской именно тогда, когда он склонился над своей любимой игрушкой? И вдобавок был уже не ребенком, а — если можно так сказать — нынешним, сформировавшимся Гансом Касторпом. В конце концов, все это могло с большим или меньшим успехом

объясняться теорией отражения давних или совсем недавних переживаний в произвольных комбинациях. Однако чем вызван странный вопрос о хорошо заученных ролях и прогулках в саду? Вряд ли событиями последних дней, недель или месяцев. Да и прежде он ничего похожего не слыхал и ни в одной книге не прочитал, то есть вопрос не был подсказан — прямо или косвенно — прошлым опытом. Так что же его в таком случае навеяло?

Уже на остановке, садясь в трамвай, Касторп обнаружил, что не захватил с собой — как делал каждое воскресенье — карты города. Упущение, хоть и пустяковое и ничем не грозившее, вызвало у него раздражение.

"Неужели из-за одного сна, — подумал он, — я начинаю забывать о мелочах?"

Однако четверть часа спустя, когда трамвай, проехав Большую аллею, приближался к железнодорожному вокзалу, произошло нечто гораздо более странное. Осмотр Старого города, прогулка вдоль Мотлавы и, наконец, портер в кабачке "Под оленем" — все, чем он так наслаждался в прошлые воскресенья, вдруг показалось Касторпу серым и скучным. Ему захотелось перемен. Настолько сильно, что он не раздумывая выскочил из трамвая возле вокзала, купил билет второго класса до Сопота и сел в первый же поезд.

"И ничего тут нет особенного, — размышлял он. — Стоит ли упрекать себя за решение провести воскресенье не там, где поначалу планировал, не совсем так, как обычно?"

В купе он сел напротив мужчины в темном котелке, погруженного в чтение "Анцайгера". С минуту смотрел в окно на все быстрее убегающий назад перрон, на портовые краны, пока их не заслонил направляющийся в Кёнигсберг скорый, а затем перевел взгляд на газету. В глаза ему бросился заголовок на первой полосе: "Простой полицейский раскрывает страшное преступление" и ниже подзаголовок: "Подмастерье золотильщика убил и расчленил своего хозяина!" На всю заметку, состоящую из двух десятков коротких фраз, в обычной ситуации у него ушло бы не больше минуты, но для человека, который заглядывает украдкой в чужую газету, чувствуя себя примерно так же, как безбилетный пассажир (не имеющий права пользоваться тем, за что не заплатил), чтение — дело нелегкое, да и удовольствия не доставляет. Тем не менее Касторп не мог оторваться от газетной страницы, для маскировки проделывая различные отвлекающие движения. Дважды поправил крепко завязанные шнурки, поворачивался лицом к окну, за которым мелькали огороды, рощицы и какие-то домишки, вынимал платок и вытирал совершенно сухой нос, в промежутках — поспешно и жадно — возвращаясь к чтению. Молодой подмастерье по фамилии Пудровский перед самым закрытием лавки убил ее владельца, Эрнста Хоффмана, а затем — как следовало из заметки — оттащил тело несчастного в подсобное помещение, чтобы там, в маленькой мастерской, разрубить на части. Потом — с помощью своей невесты, чья фамилия не была указана, — он уложил останки в деревянную тележку, прикрыл брезентом и в сгущающихся сумерках повез ужасный груз с улицы Золотильщиков через центр в сторону Вжеща. Полицейский Глобке в тот день возвращался домой пешком. У него болела голова, и он решил прогуляться. Сам факт, что в эту пору двое молодых людей тащат за собой по краю Боль-

шой аллеи тележку, не вызвал бы подозрений, если б не то, что — вопреки новейшим правилам движения колесного транспорта и пешеходов — тележка сзади не была освещена. Поэтому Глобке остановил их, дабы сделать внушение; заканчивая же свою речь, увидел, что из-под брезента высовывается и падает на мостовую кисть руки в белом манжете. Задержанные не оказали сопротивления. В участке подмастерье Пудровский признался в содеянном, взяв всю вину на себя, однако объяснить свои мотивы отказался. Преступники не похитили из лавки никаких драгоценностей — вероятно, намеревались сделать это позже, спрятав труп. Заметка завершалась информацией, что полицейский Глобке за проявленную в неслужебное время бдительность будет представлен к награде. Справившись с этой последней фразой, давшейся ему с наибольшим трудом, потому что вагон затрясся на стрелке, Касторп откинулся головой на спинку сиденья и устремил взгляд в окно.

— Вы удивлены? — услышал он низкий, теплый голос своего попутчика. — А может, страшновато стало?

Мужчина в котелке опустил "Анцайгер". Его серые глаза сверлили Касторпа с нестерпимой агрессивностью.

— Я знал старика Хоффмана, — он щелкнул пальцами по газетному заголовку. — И всегда ему говорил: не бери на работу поляков! Но у него были свои взгляды. Либеральные, — незнакомец сердито выпятил губы. — Ну и кончил соответственно. А может, вы, прошу прощения, тоже либерал? Мне это совершенно безразлично, будьте хоть ослом, я только хочу вас предупредить, что здесь, в этом городе, мы в несколько особом положении. Им только дай палец, мигом отхватят руку!

Последние слова мужчина произнес уже из-за газетного листа, вновь погружаясь в чтение. Теперь глазам изумленного Ганса Касторпа предстала светская хроника, из которой можно было узнать, что крымский князь Темир Булат Гудзунати с супругой Альмирой посетит Гданьск и остановится в гостинице "Deutsches Haus". Касторпу вспомнился Кьекерникс. Будь голландец сейчас ря́дом с ним в купе второго класса, выпад случайного попутчика — наглый и решительно противоречащий правилам хорошего тона — не остался бы без ответа. Сам же он предпочел промолчать — не потому, что имел особое мнение или, напротив, не знал, что сказать, а по очень простой причине: он чувствовал себя виноватым. В конце концов, не читай он чужую газету, этому ужасному типу не к чему было бы прицепиться. К счастью, поезд уже приближался к Сопоту, и Касторп с облегчением, не сказав даже "до свидания", вышел на перрон.

Перед вокзалом стояло несколько колясок с развеселой компанией. Табличка на столбике предлагала желающим отправиться на воскресную экскурсию в лесную корчму "Большая звезда", где гостей ожидают смолистый воздух, чудесные виды, родниковая вода и превосходная кухня. Секунду Касторп колебался, не сесть ли ему в одну из этих колясок — раз уж он с самого утра положился на волю случая, следовало бы продолжать в том же духе, — однако тут же поймал себя на лицемерии. Ни о каком случае и речи не шло. Ему захотелось погулять по прибрежному променаду и выпить пива на веранде курхауса исключительно потому, что он рассчитывал снова увидеть ту пару. И стало быть, желание это — пускай подспудное — надо исполнить или по крайней мере попытаться исполнить, коли уж он ему поддался и даже изменил характер

воскресного времяпрепровождения. "Странно, — подумал он, — почему я корю себя из-за сущего пустяка?" Конные экипажи медленно двинулись к лесистым холмам, он же — проводив взглядом веселую компанию купцов и чиновников, возглавляемую несколькими пожилыми господами в старомодных пелеринах и цилиндрах, — направился через рыночную площадь к морю, куда вела полого спускающаяся вниз Морская улица. В отличие от полного приятных сюрпризов вчерашнего дня, когда он ездил в Сопот за сигарами, сегодняшние смутные ожидания с каждой минутой все больше нагоняли на него тоску.

Добрый час он провел на молу. Потом выпил портеру за тем же, что накануне, столиком. Затем пошел через парк в сторону Северных Лазенок: там по случаю воскресного дня — хотя морские купальни уже закрылись — было много гуляющих. Берегом моря он вернулся в курхаус и пообедал на веранде ресторана. Ни овощной суп, слишком густой от заправки, ни телятина под соусом бешамель, сухая и волокнистая, ему не понравились. Вдобавок, когда, за кофе и сигарой, он попросил "Анцайгер", оказалось, что есть только "Данцигер цайтунг", в котором заметка о преступлении подмастерья золотильщика была напечатана на третьей полосе; кстати, там ни словом не упоминалось о руке, упавшей с тележки на мостовую.

Еще какое-то время он прохаживался по павильону минеральных вод, откуда видна была площадь и новые светлые стены водолечебницы, с которых еще не полностью сняли леса. Хотя народу везде было немало, меланхолическое настроение конца сезона давало о себе знать на каждом шагу: об этом говорили вялые движения кельнеров, падающие листья, закрытые киоски, выгоревшие флаги, пролетки, тщетно поджидающие клиентов перед гостиницами. Похоже, делать тут было нечего. На углу улицы Виктории Ганс Касторп остановился перед витриной фотоателье. "Эльза Лидеке из Берлина" — как сообщала скромная надпись под выцветшим от солнца портретом, — выигравшая конкурс на герб курорта, улыбалась ему не слишком искренне, словно по принуждению. "Зачем я сюда приехал, — с горечью подумал Касторп. — Это же совершенно бессмысленно!" И в ту же минуту, отвернувшись от витрины с твердым намерением сегодня же приступить к систематическому изучению уравнений Вейерштрасса, чтобы в математическом мире чистых понятий открыть для себя широкую, надежную дорогу, увидел ту пару.

Они шли по Морской улице, которая в этом месте слегка расширялась. Мужчина держал в правой руке небольшой пакет — это могла быть завернутая в бумагу книга или блокнот. Женщина помахивала зонтиком, чехол которого, очень яркий, совершенно не подходил к ее темному костюму и наброшенной на плечи серой накидке. Они оживленно беседовали, поминутно останавливаясь на тротуаре. Он перекладывал пакет из одной руки в другую, она вертела ручку зонтика, будто ввинчивая кончик в тротуар. Касторп медленно, чтобы не вызвать подозрений, направился в их сторону. К его радости, когда он пересек мостовую и ступил на противоположный тротуар, из ближайшей подворотни высыпала ватага ребятишек. Теперь он мог, не привлекая внимания, задержаться перед витриной аптекарского магазина, достать сигару и очень долго чиркать спичками, хотя, честно говоря, не имел обыкновения курить на улице — если не считать садиков при кафе или скамеек в парке. Затем, попыхивая "Марией Манчини", он не спеша последовал за парой

вплоть до гостиницы "Вермингхофф". Там — у входа в гостиницу — надлежало безотлагательно принять решение: идти ли дальше к курхаусу, оставив их за спиной, или — что было рискованнее — войти внутрь. В обоих случаях ему пришлось бы пройти мимо них, поскольку пара — будто собираясь распрощаться — остановилась на тротуаре у самых дверей "Вермингхоффа", разговаривая по-французски. Он снова услышал уже знакомый мягкий русский акцент.

— Моя кузина, — рассмеялась она, — признает только Биарриц.

— Уж лучше бы Остенде, — ответил он. — Ты так не считаешь?

— Это очень далеко, — она перестала улыбаться, — слишком далеко.

Уверенным шагом, будто к себе домой, Ганс Касторп вошел в пустой вестибюль. Портье, не признавший тем не менее в нем постояльца, быстро и довольно резко спросил:

— Чем могу служить?

— Я бы хотел взглянуть на расписание поездов до Берлина, — столь же быстро ответил Касторп. — И чтоб в вагоне были спальные места.

— Есть только один поезд, в двадцать два тридцать.

— Ах вот как, — Касторп стряхнул пепел в пепельницу возле стойки. — Ну а до Бреслау?

— До Бреслау, — как эхо повторил портье, — прямого со спальными нет. Только летом, три раза в неделю.

— В таком случае, — Касторп краем глаза увидел, что незнакомка входит в вестибюль одна, без своего спутника, — попрошу, если можно, полное расписание.

Портье без слова подал ему толстую книгу в дешевом переплете под мрамор, на котором был вытиснен посеребренный императорско-королевский орел, выглядевший не слишком импозантно. Едва Касторп раскрыл расписание поездов Германской империи на странице, относящейся к Дрездену, женщина подошла к портье. Небольшой пакет она положила на стойку. Портье молча протянул ей ключ с цифрой семь; Касторп, склонившийся над расписанием, которое его совершенно не интересовало, уловил запах ее духов: фиалковый, с примесью мускуса. Вернув расписание, он вышел на улицу. И только пройдя несколько шагов, понял, что совершил нечто ужасное, чего ни одному мужчине, носящему его фамилию, не следовало бы делать во избежание позора; словом, ему стало нестерпимо стыдно, но в то же время он поразился тому, что оказался способен на такой непристойный поступок. Ибо, когда портье отвернулся, чтобы уважительно поклониться даме, коротко сообщившей ему уже на ходу: "Я уезжаю завтра утром", Касторп схватил оставленный ею на стойке пакет и, как мелкий воришка, спрятав его за пазуху, покинул гостиницу "Вермингхофф". Хуже того: будто в каком-то трансе, он поспешил вслед за незнакомцем, который, свернув с Морской на Южную, медленно направился — похоже, кружным путем — в пансион "Седан". Открытие, что эти двое живут не вместе и даже не в соседних номерах одной гостиницы, почему-то подействовало на Касторпа угнетающе. Постояв с минуту перед пансионом, он дождался появления незнакомца на веранде: мужчина уселся в плетеное кресло и, в узкой полосе электрического света, развернул "Анцайгер". Первые после нескольких солнечных дней дождевые тучи наползали на город со стороны залива. Холодный ветер гнал по улице Седан песчаное облако, в котором кружились сухие стебельки травы и опавшие листья.

"Неужели дядя Тинапель был прав? — подумал Касторп. — И если да, должно ли это меня тревожить?"

И зашагал в сторону вокзала, твердо решив забыть об этой истории и никогда больше к ней не возвращаться. Однако в доме на Каштановой возникла новая проблема: что делать с пакетом? Проведя пальцем по велюровой бумаге, перевязанной тесемкой из книжного магазина, он убедился, что внутри лежит книга, — но как поступить дальше? Сдержав любопытство, он, не заглядывая в пакет, спрятал его в ящик. И сказал себе, что на днях отправит посылку на адрес гостиницы "Вермингхофф" с припиской: "Оставлено в номере семь тогда-то и тогда-то...". Он и предположить не мог, какие последствия повлечет за собой это решение.

VII

Внешне Касторп держался великолепно. Когда Герман Берендт, однокурсник и тоже гамбуржец, как-то заговорил с ним в столовой о сенаторе Томасе Касторпе, он с удовольствием поддержал беседу о своем дедушке, даже вставил несколько невинных анекдотов и поговорок на северонемецком диалекте, изрядно развеселив окружающих. Когда все тридцать будущих кораблестроителей отправились с доцентом Хоссфельдом на Императорскую судоверфь, чтобы осмотреть корпус и водонепроницаемые переборки подводной лодки, он искренне восхищался новыми решениями, без смущения задавал вопросы, был неподдельно оживлен. Даже наткнувшись однажды в "Café Hochschule" на фон Котвица в обществе Эдгара Мацкайта и Вальдемара Розенбаума, он не поспешил по обыкновению, сдержанно поздоровавшись, отойти к отдельному столику с газетами, а подсел к ним, заказал портер и с удовольствием принял участие в разговоре: Розенбаум и Мацкайт — оба были из России — рассказывали о казаках, графе Толстом и нигилистах, бросающих бомбы.

Все это, однако, занимало его лишь частично. Нередко, погружаясь в задумчивость — иногда в самый разгар беседы, на лекции, в трамвае, на прогулке, за завтраком либо принимая ванну или читая "Анцайгер", — он отрывался от действительности, мыслями блуждая по одному лишь ему известным тропам. Иногда это становилось поводом для дружеского подтрунивания: кто-нибудь, увидев его в таком состоянии, громко кричал: "Ну и что ты на сей счет думаешь, Касторп?" Эффект получался комический: у возвращающегося к реальности мечтателя на лице появлялось такое изумление, что все вокруг разражались смехом. Серьезные неприятности начались только в ноябре, когда некоторые, на первый взгляд ничем не примечательные занятия в политехникуме стали наводить Касторпа на странные размышления.

Как-то в понедельник ассистент Вильгельм Беккер объяснял в машинном цеху принцип действия трехцилиндровой турбинной паросиловой установки; Касторп слушал, стараясь не пропустить ни единого слова. Работа установки зависела от давления, с которым сжатый пар поступал в первый цилиндр. С пятнадцати атмосфер оно падало до тринадцати, и высвободившаяся энергия приводила в движение мощный поршень. Во втором цилиндре давление пара с тринадцати опускалось до десяти атмосфер, и следующий поршень синхронно передавал

уменьшившееся усилие на коленчатый вал. В третьем цилиндре на выпускном клапане давление составляло уже восемь атмосфер, и ослабевший пар, толкнув последний поршень, попадал в турбину. Разве не то же самое происходит со временем?

К такому выводу Ганс Касторп пришел на трамвайной остановке, сразу после окончания последних занятий. В зависимости от того, в какую щель попадает время, оно может течь быстрее или медленнее, сгущаясь или разрежаясь. Щель здесь, понятно, его собственный, человеческий ум, вне которого — это он знал из философии — время не существует, по крайней мере в том смысле, что его нельзя вычленить, выделить в чистом состоянии. Исходя из этого сравнения, хоть и отдавая себе отчет в том, что оно не безупречно, Касторп предположил, что события, подобно потоку пара в цилиндре, проплывают через его сознание то под бóльшим, то под меньшим давлением. Стало быть, если движущей силой жизни является время — он сел в трамвай, предъявил кондуктору месячный билет и занял свободное место на передней площадке, — такую зависимость можно выразить функцией, начинающейся в точке рождения и уходящей в бесконечность. Но где же тогда момент смерти? Тут Ганс Касторп попадал в замкнутый круг собственных предпосылок: ведь если функция не имеет конца, она, скорее всего, не должна иметь и начала, иначе говоря, идет от минус до плюс бесконечности. Но тогда подобного рода приближения неприложимы к жизни: у нее есть начало и она всегда достигает конца — по крайней мере об этом свидетельствуют факты. А если время только иллюзия или, вернее, конструкция, созданная, подобно математическим формулам, для практических нужд? С помощью формул можно построить корабль, мост, автомобиль, но сами по себе они ведь ничего не значат.

Трамвай уже давно миновал остановку на Каштановой, и Касторп очутился в своем собственном, особом времени на склоне заснеженной горы. О близости других вершин из-за густого тумана можно было только догадываться, но не это сейчас его занимало. Он услышал глухое тарахтенье, словно где-то неподалеку по обледенелому спуску катились бочки или ящики. Через минуту туман слегка рассеялся, и Касторп разглядел в снегу узкую, вероятно, санную дорожку, по которой одна за другой, с равными промежутками съезжали странные, узкие, по-видимому больничные кровати. На самом деле это были сани для бобслея, которых он никогда прежде не видел, но его первая, медицинская, ассоциация оказалась не такой уж ошибочной: в санях, по горло укрытые верблюжьими одеялами, неслись вниз по ледяной дорожке покойники. Он понял это, потому что снежные хлопья не таяли на лицах, а оседали — у кого плотной коркой, у кого прозрачной вуалью. Именно под таким тонким покровом мелькнуло перед ним лицо его деда, сенатора Томаса Касторпа. Потом, среди многих других, мимо промчалась его мать, а в конце странной процессии он увидел канцеляриста из политехникума, досаждавшего ему своими абсурдными теориями. Как только снежная пыль за ними осела, Касторпу открылась панорама гор. Отражавшиеся от покрытых снегом вершин солнечные лучи били прямо в глаза, и он невольно зажмурился. Внизу, в долине, у его ног раскинулся Гданьск. Он видел башни костелов, ленту Мотлавы с лабазами по берегам и лабиринт улочек Старого города.

— Ты готов? — услышал он женский голос. — Хватит тебе отваги?

Она стояла в двух шагах от него. На лыжах, в мужском костюме и шапочке, напоминающей шлем авиатора, она была совсем не похожа на даму из сопотского курхауса, но он, разумеется, сразу ее узнал.

— Так вы говорите по-немецки? — обрадовался он. — И к чему я должен быть готов?

Она громко рассмеялась и вместо ответа указала лыжной палкой на город в долине, после чего стремительно, с резкими поворотами, понеслась вниз, вздымая облако белого пуха.

— Как же не говорить, — это был уже совершенно другой голос. — Мы тут говорим только по-немецки!

Над Касторпом склонился кондуктор. Тот самый противный тип, который в первый день так нагло к нему прицепился.

— Если кто и выпьет, мне что за дело? Лишь бы в меру. И вздремнуть можно, не воспрещается. Но платить надо. У вас только до Кленовой билет, а мы уже подъезжаем к Оливе. Если поедете обратно, извольте заплатить за два конца, уважаемый господин студент!

Неподалеку от стены аббатства, где была конечная остановка, рельсы разветвлялись, образуя длинную петлю, чтобы два трамвая — подъезжающий и отъезжающий — могли минуту постоять рядом. Выйдя из вагона в ноябрьские серые сумерки, Ганс Касторп нервно закурил сигару. Но разволновался он вовсе не потому, что, глубоко задумавшись и погрузившись в собственное время, проехал свою остановку, а совсем по иной причине: рядом с трамваем, на котором он приехал, на оливской рыночной площади его не поджидал другой, уже готовый в обратный путь, то есть возвращаться во Вжещ предстояло с тем же самым кондуктором, который вызывал у него самые неприятные чувства.

В парке, за старой оградой аббатства, воздух уже наполнился густым сумраком, однако здесь, на главной улице предместья, свет от окружавших остановку газовых фонарей и витрин нескольких магазинов рассеивал затаившуюся рядом темноту настолько, что трамвая можно было спокойно дожидаться, не теряя веры в прогресс и достижения цивилизации. Тем не менее Ганс Касторп ощущал нарастающую иррациональную тревогу, словно находился по ту сторону ограды, среди оробевших во тьме аллей, скамеек, клумб и черных зеркал воды.

На обратном пути, стараясь не замечать цепкого взгляда кондуктора, он попытался точно определить цвет ее глаз. "Серовато-голубые, — думал он, — а может, скорее голубовато-серые?" Да и откуда ему было это знать — ведь незнакомку он видел вблизи лишь дважды и ни разу — ни на веранде курхауса, ни в гостинице "Вермингхофф" — их взгляды не пересеклись. Почему же ему важен только оттенок глаз? Если бы он верил в реинкарнацию, переселение душ и тому подобные глупости, можно было б подумать, что они уже встречались когда-то, где-то, в иной действительности. Но такие бредовые идеи, пригодные для истеричных барышень и газетных хроникеров, наш герой решительно отвергал, хотя в последнее время они вошли в моду. Загадка так и осталась неразгаданной, и Касторп заставил себя прекратить бесплодные размышления, которые явно вели его в никуда.

Уже дома, когда Кашубке принесла ему в комнату ужин и пришлось оторваться от учебника геометрии, он подумал, что у него — как сказал бы доктор Хейдекинд — немного разгулялись нервы, и причиной тому переутомление и скверная погода, да еще он постоянно недосыпает.

Поэтому он захлопнул книгу и решил отдохнуть, то есть лечь в постель и быстро заснуть. Однако осуществить это намерение ему помешала постучавшая в дверь госпожа Хильдегарда Вибе.

— Вы уж не откажите, господин Касторп, — на ней было вечернее платье, — сегодня годовщина смерти моего мужа, мы тут одни ее отмечаем, вот я и подумала, хорошо б вы хоть чуть-чуть с нами посидели, у нас пирожные есть, вино, ну пожалуйста.

— Мне очень жаль, госпожа Вибе, я неважно себя чувствую и, вероятно, завтра, — он сам удивился, как легко и без колебаний солгал, — пойду к врачу.

— Ужаснейшая досада, — именно так выразилась вдова. — И зачем нам столько пирожных?

Ужасно, однако, было нечто другое: музицирование госпожи Хильдегарды Вибе. Уже через минуту из гостиной донеслись звуки пианино. Хозяйка пыталась исполнить на плохо настроенном инструменте "Rondo alla Turca". Бравурный марш несколько раз обрывался на четвертом такте, когда пианистка совершала одну и ту же ошибку. Понимая, что фальшивит, она возвращалась к началу, чтобы снова, в том же месте, ударить не по той клавише. Это было похоже на музыкальную шкатулку, которая, сколько ее ни заводи, не способна полностью воспроизвести мелодию: испорченный механизм в определенный момент дает сбой. Наконец, после множества попыток, хозяйка просто пропустила трудный фрагмент и стала играть дальше; но, когда уже казалось, что ей удастся благополучно добраться до конца, она опять сфальшивила и опять вернулась к началу, чтобы еще раз ошибиться на четвертом такте. Потом в гостиной воцарилась тишина, однако ненадолго — это был всего лишь перерыв. Касторп не мог поверить своим ушам: за стеной вдруг в четыре руки заиграли "Отголоски весны". Поминутно, после каждой ошибки, музыка прерывалась и госпожа Вибе громогласно обрушивалась на Кашубке: "Ну что ты выделываешь, нескладеха, разве я тебя так учила?!" или: "Не на пальцы гляди, а в ноты!" Произведение, которое семнадцать лет назад Штраус доверил оркестру и дивному сопрано Бьянки Бьянчи, в квартире на Каштановой звучало жалко и уныло, напрочь лишенное венской легкости, из которой оно родилось.

Будь жив обер-лейтенант, играла бы сегодня госпожа Вибе в четыре руки со своей прислугой? У Касторпа сразу улучшилось настроение: он вообразил, как описывает эту сцену Иоахиму. Кузен, который в будущем, скорее всего, и сам дослужится до обер-лейтенанта, был бы просто ошеломлен, а придя в себя, вероятно, задал бы вполне логичный вопрос: "А раньше ты слышал, как она дает уроки этой девке? В кашубской деревушке ведь не учат игре на фортепьяно. Господи, да это же немыслимо!" Про уроки музыки Ганс Касторп и вправду ничего не знал, но готов был бы согласиться с Иоахимом, что даже в мещанских домах, где, как и у них, придерживались республиканских взглядов эпохи былого величия, о подобных отношениях с прислугой и речи не могло идти. Строгие требования вкупе с подчеркнутой вежливостью обеспечивали должную дистанцию, хотя сенатор Томас Касторп, например, иногда позволял старику Фите некоторую фамильярность. Однако чтобы сенатора когда-нибудь увидели играющим со слугой, скажем, в карты или домино — нет, такое и представить себе было нельзя!

Так что же происходило в тот вечер в гостиной госпожи Хильдегарды Вибе? Ганс Касторп чувствовал, что под портретом обер-лейтенанта царит весьма непринужденная атмосфера; впрочем, воздавались ли таким образом почести покойному супругу или скорее это была демонстрация – тут уж он догадаться не мог. После "Отголосков весны" звякнуло стекло, послышались негромкие фразы и затем явственный смех обеих женщин. Уснуть Касторпу не удалось, и он решил закурить, когда же полез в ящик за "Марией Манчини", пальцы наткнулись на пакет в веленевой бумаге. И хотя это вовсе не входило в его намерения, хотя внутренний голос подсказывал: "Не надо, забудь об этих русских", – он подергал тонкую тесемку, узелок поддался, бумага развернулась, и вот уже наш герой держал в руке книгу, которая не ему была предназначена.

И очень удивился. Поднося томик к кругу света от ночника, он рассчитывал увидеть что-то экзотическое, по меньшей мере – кириллицу на обложке, непонятную книгу с загадочного Востока, но это оказалось немецкое издание романа Теодора Фонтане "Эффи Брист", с которым он в свое время уже свел поверхностное и не слишком приятное знакомство. Произошло это в последнем, выпускном классе, когда, простудившись, он вынужден был провести несколько дней в постели. В поисках чего-нибудь для чтения в библиотеке дяди Тинапеля Касторп наткнулся именно на эту книгу. Ему показались скучными описания господского дома в Гоген-Креммене и характеристики героев, с которыми он не находил ничего общего. Ухабистая песчаная дорога в Поморье или воскресная проповедь деревенского пастора – как далеко это было от его собственной яркой жизни под сенью портовых кранов и океанских судов, биржи, международной торговли и колониальных товаров. Дочитав до того места, где описывалось предсвадебное веселье у фон Бристов, он отложил роман и больше к нему не возвращался, уверенный, что не много потерял. Теперь, однако, все обернулось иначе. Запах фиалковых с примесью мускуса духов вдруг заполнил его комнату, будто незнакомка только что побывала здесь и, ни слова не сказав, оставила ему, вместо письма, эту книгу. Можно было не сомневаться, что в гуще разворачивающихся на страницах романа событий, диалогов и описаний скрывается информация о ней, несостоявшейся читательнице, которую – теперь он признался себе в этом без колебаний – он полюбил с первого взгляда, едва увидев на веранде сопотского курхауса. Полюбил горячо, страстно, со всей наивностью и безыскусностью юной души.

А поскольку в комоде хранились – на случай простуды или иных чрезвычайных обстоятельств – несколько бутылок бургундского, он открыл одну дорожным штопором, налил вино в стакан, поставил поудобнее кресло и принялся за роман Теодора Фонтане, начинающийся с полуденной тишины, в которую был погружен солидный господский дом в Гоген-Креммене. Чего никак нельзя было сказать о квартире госпожи Хильдегарды Вибе. Примерно тогда, когда Ганс Касторп ехал с молодоженами Эффи и Геертом на поезде в Кессин, в гостиной завели граммофон. Вальсы и польки с визгом вырывались из трубы, чему время от времени сопутствовало громкое притопывание, смех и восклицания. Звуки, которые в обычной обстановке в столь позднюю пору вывели бы Касторпа из себя, сейчас едва до него доходили. Только когда Эффи бок о бок с майором Крампасом верхом на лошади преодолевала бездоро-

жье песчаных дюн, Касторп оторвал взгляд от книги и с минуту прислушивался к долетающим из коридора отголоскам. Вдова обер-лейтенанта, вероятно, зацепилась каблуком о ковровую дорожку и упала возле самых дверей Касторпа на пол, а поскольку не могла встать — по-видимому, подвернув ногу, — принялась громко винить во всем прислугу. Кашубке подняла хозяйку, после чего обе, держась за стену, проковыляли в спальню госпожи Вибе, откуда чуть погодя донесся ужасный грохот опрокинутого шкафчика. Потом воцарилась тишина.

Касторп откупорил вторую бутылку бургундского и перебрался в кровать, поставив стакан и пепельницу на ночной столик. Никогда еще ни одна книга не производила на него такого, поистине гипнотического воздействия. Картины, звуки, запахи и слова доходили до Касторпа с необычайной отчетливостью, глубоко врезаясь в память, но не совмещаясь и не сплетаясь воедино, как это бывает при лихорадочном чтении. Напротив: череда событий, их последствия, внутренние связи представали перед ним отчетливо, как на чертеже, где каждая линия подчинена целому, а целое отличает безупречная логика и простота. Скандал с письмами, дуэль, гибель майора Крампаса, наконец, одинокая и безрадостная жизнь Эффи — все это вытекало из одной фразы, брошенной где-то в начале и словно бы мимоходом по поводу почтенного Геерта, который "был добрый, славный, но — не любовник".

На остановке в конце Каштановой улицы уже заскрежетал тормозами первый трамвай, когда Ганс Касторп, прочитав последнюю фразу, закрыл книгу. Подойдя к окну, он широко его распахнул, чтобы выветрить тяжкий дух от множества выкуренных сигар. На крышах сараев, на дорожках и газонах мороз разостлал огромные белые простыни инея. Светало. Издалека, должно быть из порта, неся пронзительный вой сирены. В казармах коротко заиграл рожок. Касторп лег в постель, решив, что не пойдет на занятия, а отоспится вволю после ночи, проведенной с Теодором Фонтане. Шторы он задернул, оставив окно приоткрытым. Уже опустив голову на подушку, подумал: "Ну конечно, они любовники. Он, безусловно, офицер, тут не может быть двух мнений. А она? Понятно, что все это маскировка: он в пансионе, она в гостинице, но замужем ли она? И почему они говорят между собой только по-французски? Русских здесь не преследуют, разве что..."

На том Ганс Касторп оборвал свой монолог. О чем он подумал засыпая? Это была смутная мечта или скорее желание: чтобы эти двое в следующем сезоне или как сейчас — по окончании сезона — приехали в Сопот. Ведь есть же способ выяснить, когда они приедут и где остановятся. Разузнать, кто они такие. Он и она, которых — по крайней мере пока — еще не соединила "Эффи Брист".

VIII

Доктор Петер Анкевиц, отучившись во Франции и Вене, прибыл в Гданьск одновременно с Гансом Касторпом — в первых числах октября. До сих пор у нас не было оснований заниматься его особой и рассказывать о хлопотах, связанных с открытием кабинета. Происходило это в те солнечные дни, больше похожие на лето, чем на осень, когда наш герой превосходно себя чувствовал и дважды посетил Сопот. Неожидан-

ные последствия этих поездок, описанные в предыдущей главе, однако, вынуждают слегка расширить рамки повествования, дабы появление Касторпа у доктора в кабинете не нанесло нашему рассказу ущерба, а напротив — обогатило его некоторыми деталями.

Гданьск для доктора был местом ссылки. Еще будучи гражданином России, он, как и многие, кому довелось провести юные годы вдали от отчего дома, принял участие в одном из тех эмигрантских политических заговоров, в которые поляки ввязываются с присущим им легкомыслием, отчего о возвращении в империю Романовых Анкевицу нечего было и думать — если он не хотел очутиться в Сибири. Поэтому из Парижа он отправился в Вену, где на медицинском факультете защитил диссертацию "Лечение истерии согласно теории и практике профессора Шарко". На открытие кабинета в Вене рассчитывать не приходилось, поэтому — приняв немецкое гражданство — доктор поселился в Гданьске. Пройти сложнейшие бюрократические процедуры, связанные с переменой паспорта, ему помогли живущие близ Познани родственники. Польские помещики, рассеянные по территории трех монархий, если не лишились своего состояния в результате восстаний или — что случалось чаще — из-за пристрастия к азартным играм и крепким напиткам, обладали некоторым, иногда на удивление значительным, влиянием при императорских дворах. Так было и в данном случае, и доктор (получивший от родных немалую ссуду) после нескольких неудач в центре города в конце концов снял большую просторную квартиру с кабинетом на Кленовой во Вжеще, прямо на пересечении с Главной улицей, возле трамвайной остановки.

Из треугольного эркера на втором этаже нового дома, где как раз находился кабинет, Анкевиц наблюдал за прохожими и людьми, поджидающими трамвай. Следует подчеркнуть, что занятие это — поначалу из-за отсутствия пациентов — стало ежедневным ритуалом, когда доктор позволял себе отвлеченные рассуждения и теоретизирование. Как для юриста, глядящего в окно, существуют только объекты и субъекты права, так для Анкевица прохожие делились на тех, кто в данный момент здоров, и тех, у кого есть или непременно возникнут неполадки с psyche. Годы практики у профессора Шарко укрепили его в этом убеждении: всякое нарушение психики так или иначе проявляется внешне. Случайный жест, гримаса, взгляд, манера переставлять ноги при ходьбе, взмах руки — все это составляло предмет наблюдений и анализа, а поскольку — как сказано выше — у доктора почти не было пациентов, то по крайней мере полутора десяткам жителей Вжеща был поставлен диагноз. В их число попала и вся наша троица с Каштановой.

Госпожа Хильдегарда Вибе особых опасений не внушала. Небольшой тик и характерная привычка в ожидании трамвая перебирать в воздухе пальцами обеих рук свидетельствовали о легком неврозе, который, правда, мог и усилиться. Кашубке, в отличие от своей хозяйки, находилась на грани истерии. Возвращаясь домой с покупками, она то и дело проверяла содержимое корзинки. Часто без видимой причины оглядывалась, а когда ей встречался мужчина в мундире — что поблизости от казарм было немудрено, — втягивала голову в плечи, чтобы, упаси бог, не встретиться с ним взглядом. Ганс Касторп же — в котором доктор без труда распознал студента политехникума — принадлежал к идеально гармоническому типу: такой уравновешенный (хотя и несколько флег-

матичный) человек мог бы послужить будущим медикам примером личности душевно здоровой, сильной и устойчивой к превратностям судьбы. Молодой человек неизменно вызывал у доктора Анкевица симпатию. Возможно, потому, что чем-то напоминал его самого в первые месяцы студенческой жизни, когда, с папкой, набитой анатомическими рисунками, он поджидал в утреннем тумане парижский омнибус.

Вряд ли стоит описывать, как изумлен был доктор, когда однажды мартовским днем в приемную на Кленовой вошел Ганс Касторп. Анкевиц, который не держал медсестры, увидел его через полуоткрытую дверь кабинета. Студент с трамвайной остановки внимательно изучил фотографии профессора Шарко, затем копию немецкого подтверждения французского диплома польского врача и, наконец, сел на клеенчатый диванчик, чтобы лишь через минуту заметить стоящий на круглом столике колокольчик и табличку с надписью "вызов". Негромкое, тоненькое "дзынь, дзынь" совпало с трамвайным звонком. Трамвай, чуть отъехав от остановки, притормозил, чтобы не задавить перебегающую пути собаку.

Доктор, кивком поздоровавшись, пригласил пациента в кабинет, но вместо того, чтобы усадить его в кресло или уложить на кушетку, деликатно взял под руку и подвел к эркеру. Трамвай тронулся, а собачник, накинув бездомному псу на шею петлю, потащил несчастную жертву в фургон.

— Вы знаете этих людей? — спросил доктор. — Например, господина с бородкой, или вон того, в красном шарфе, или женщину в меховой шапке?

— Этот, в красном шарфе, — Ганс Касторп приблизил лицо к окну, — мой сосед. В некотором смысле сосед. Эдуард Кригер, Каштановая, 10. Главный специалист на военной судоверфи. Проводит с нами занятия. Других не знаю.

— Вот как, — доктор Анкевиц был несколько удивлен. — Я не это имел в виду, господин...

— Касторп, Ганс Касторп.

— Я не это имел в виду, уважаемый господин Касторп, присядьте, пожалуйста, так вот, я только хотел показать вам, что каждый из прохожих, каждый из тех людей, кого мы ежедневно во множестве встречаем, — словом, каждый из нас обременен какими-нибудь проблемами — духовными, психическими, психологическими. Это норма, тут нет ничего необычного. Ненормально обходить эти проблемы, скрывать, загонять внутрь, именно так возникают психозы, неврозы, критические состояния, войны, революции и тому подобное...

Говоря "и тому подобное", доктор Анкевиц очертил правой рукой в воздухе несколько кругов.

— Понимаю. Вы хотите меня убедить, — Ганс Касторп опустился в кресло, — что ничто человеческое нам не чуждо. Да. Я пришел с очень простой проблемой.

— Разумеется, — доктор уселся за письменный стол. — Слушаю. Вас ведь что-то беспокоит... С определенной точки зрения все проблемы простые.

— У меня неважно со сном.

— Поточнее, пожалуйста.

— Не могу спать.

— Понятно. Но меня интересуют подробности. Вам трудно засыпать? Или вас будят какие-то кошмары и тогда вы не можете снова заснуть?

— Именно так, но без кошмаров. Просто я просыпаюсь через час, от силы два, и до утра уже не могу сомкнуть глаз. Иногда несколько ночей кряду. Зато на лекции или в трамвае глаза так и слипаются. Раньше я мог читать два, три, четыре часа. И что-то записывать. Теперь, случается, прочитав несколько страниц, я забываю, что было на первой. Когда выхожу из дома, три раза проверяю, взял ли ключи. А вообще, — Касторп на секунду заколебался, — я стараюсь как можно реже выходить. То есть предпочитаю не покидать свою комнату.

— И что же вы тогда делаете, позвольте спросить? О чем думаете?

— Мне очень трудно это объяснить. Можно ли думать ни о чем? Я лежу в кровати и смотрю в окно. Или в потолок. Иногда полистаю старую газету — раньше я покупал газеты каждый день, а теперь даже этого не хочется. Все меня раздражает. Мучает. Видите ли, доктор, я здесь не завел никаких знакомств, никаких близких знакомств. Но прежде не прочь был выпить пива с однокашниками в "Café Hochschule", о чем-нибудь поболтать. Сейчас даже на это нет охоты. Если бы я мог нормально спать... Вот об этом я и хотел вас попросить, какое-нибудь легкое средство...

— Снотворное, — докончил доктор Анкевиц. — Легкое снотворное, вы это хотите сказать, да?

— Именно за этим, и только за этим я пришел, — Ганс Касторп выпрямился в кресле, словно беседа подошла к концу. — Порошок или капли, все равно.

— Ну конечно, я выпишу рецепт. Но вы прекрасно понимаете, — доктор встал и, подойдя к эркеру, поглядел на улицу, — что всякое отклонение от нормы требует устранения причин. А вам хочется сразу устранить следствие. Как кратковременная мера это возможно. Разумеется. Ваше состояние ведь нельзя назвать очень тяжелым. Вы не больны. Это всего лишь небольшое недомогание. Временное. Если я правильно оцениваю ваш образ жизни, питание, алкоголь, табак, кофе — все это не выходит за пределы разумной нормы. Словом, причина в чем-то ином. Но вы не хотите ее касаться. Даже думать о ней не хотите, не говоря уж о том, чтобы поделиться с кем-нибудь посторонним, не заслуживающим вашего доверия.

— Не понимаю, к чему вы клоните, доктор.

— Отлично понимаете. Сами минуту назад употребили слова "раньше" и "теперь". В промежутке что-то должно было случиться. На самом деле или в воображении. Возможно, вы что-то вспомнили. Вас это мучает, преследует, и вы требуете капель. Они, конечно, помогут. Но ненадолго.

— Вы полагаете, я должен открыть вам душу? Или, как вы это называете, заняться психоанализом? Поверьте, я принадлежу к разряду людей, которые к таким новомодным вещам испытывают отвращение.

— А кишки! Внутренности! Плазма! Потроха! Кровь! Кал! Моча! Слюна! Семя! Это у вас не вызывает отвращения? Если бы у вас был понос, вам пришлось бы по крайней мере описать врачу свой стул. А я — прошу прощения — предлагаю, чтобы вы просто сказали, что произошло перед тем, как вы потеряли сон. Вот и все, господин Касторп. Кто

вам напел такую чепуху? Открыть душу? Психоанализ? Да мне-то какое дело? Врача интересуют факты. Я хочу вам помочь, но без вашего содействия у меня ничего не получится. Ну ладно, короче, что вы предпочитаете: капли или порошки?

С этими словами доктор Анкевиц снова сел за стол и достал бланк рецепта. Когда он потянулся за пером с янтарной ручкой, Касторп вынул из кармана пиджака портсигар, а из него – "Марию Манчини".

– Я могу закурить? – спросил он. – Не вижу тут пепельницы.

Еще никогда в жизни ему не доводилось так много о себе говорить. Его необычайно смущало, что он находится в центре этой истории как главное действующее лицо, как виновник случившегося и, наконец, интерпретатор, поскольку, хотя он инстинктивно избегал оценок, время от времени у него вырывалось что-то вроде: "я посчитал, что так будет правильно" или "пожалуй, это было неуместно". Начало, однако, далось ему легко, ибо, закурив сигару, он приступил к рассказу с поисков "Марии Манчини". Труднее оказалось пересказать памятный сон о незнакомке, прикасающейся к его затылку в детской, а также видение (такое он употребил слово) заснеженных горных вершин прямо рядом с городом над заливом. Поскольку все это читателю уже известно, отметим только, что Касторп – несмотря на внутреннее сопротивление – героически справился с этой нелегкой задачей, не опустив даже воспоминаний о своем несчастном отце и размышлений о музыке.

Едва он добрался до той ночи, когда читал "Эффи Брист", доктор Анкевиц, не говоря ни слова, достал из аптечки бутылку превосходного французского коньяка, налил по изрядной дозе живительной влаги в две пузатые рюмки, вручил одну Касторпу, легонько с ним чокнулся и, воспользовавшись тем, что Касторп поднес свою рюмку ко рту, деликатно его перебил:

– Стало быть, именно после этой ночи вы стали плохо спать?

Пациент было возразил, но тут же признал, что неприятности, пожалуй, начались именно тогда.

– "Эффи Брист" я прочел примерно в середине ноября, а первый кризис, то есть, я хотел сказать, первая бессонница случилась в декабре, сразу после похорон канцеляриста.

– Канцеляриста? – доктора Анкевица, видимо, удивил новый сюжет. – Это кто-то из ваших близких?

Тут потребовались сложные объяснения: когда Касторп увидел на доске объявлений некролог, сообщающий о "трагической смерти преданного академическому сообществу сотрудника", в вестибюле шептались, будто некий Пауль Котский, занявший место канцеляриста, в какой-то мере был причиной его самоубийства. Старика нашли на чердаке его маленького кирпичного домика: он болтался на бельевой веревке, якобы с приколотой к рукаву короткой, написанной от руки на двух языках запиской: "Дольше я этого не вынесу!" Речь будто бы шла об интригах – Котский, несмотря на польскую фамилию, поляком не был и так отравлял жизнь канцеляристу Нойгебауэру из-за его польского акцента, что тот в конце концов не выдержал и покончил с собой. Церковь сочла эту смерть "несчастным случаем", а Касторп, которого суть дела не очень интересовала, пошел на похороны из чувства долга. Ведь канцелярист был первым, кого он встретил в будущей alma mater сразу после приезда. Каково же было его удивление, когда на загородном

кладбище, кроме Хуго Виссмана, помощника покойного, который нес за гробом скромный венок от Императорско-королевского высшего технического училища, он не увидел больше никого из политехникума. А среди окруживших открытую могилу родственников канцеляриста, стоявших двумя отдельными группами, уловил нешуточное напряжение.

Когда священник запел по-латыни, когда гроб соскользнул вниз, а провожающие покойного — те, что стояли слева, — принялись кидать в могилу комья земли и цветы, от второго полукруга, безмолвного и неподвижного, отделился невысокий мальчуган. Касторп сразу его узнал. Это был владелец модели "Пауля Бенеке", тот самый, что у запруды близ казарм произнес, обращаясь к нему, непонятную фразу и юркнул в заросли лопухов. Теперь, вполне прилично одетый, он бросил комок земли на гроб деда и вернулся обратно, но за этот поступок немедленно поплатился: какая-то женщина — то ли мать, то ли тетка — отвесила ему звонкую оплеуху, а он заплакал и стал кричать по-немецки: "За что? За что?"

Зрелище было ужасающее.

Возвращаясь из Брентова в пролетке, Ганс Касторп погрузился в глубокое оцепенение. Слова сидящего рядом помощника канцеляриста Виссмана даже в обрывках до него не доходили. Он думал только о мальчике и его замечательном, вероятно сделанном дедушкой фрегате, разрезающем зеленое зеркало воды. Это зеркало, или, точнее, воспоминание о водной глади, на которую он смотрел три месяца назад, случайно оказавшись у запруды, подействовало на его воображение словно магический предмет, помогающий гипнотизеру ввести свою жертву в транс.

— Никакого гипнотизера, разумеется, не было, но это зрелище... оно все время стояло у меня перед глазами. Попробуйте себе представить... Темно-зеленая зеркальная поверхность расступается, а под ней еще одно такое же зеркало, и еще, и еще одно. Несколько дней я лежал у себя в комнате, практически ничего не делая, уставившись в потолок. И всякий раз, рано или поздно, из этих наслаивающихся одна на другую картин вырисовывался ее портрет, взгляд серо-голубых... нет, скорее голубовато-серых глаз.

Поскольку доктор попросил кое о чем рассказать поподробнее, Ганс Касторп описал вначале большие дождевые лужи на Гарвестехудской дороге, разливавшиеся — в особенности осенью — на всем пространстве от лужайки перед домом Тинапелей до городского питомника роз. Потом пруд в ботаническом саду, куда он так любил приходить с дедушкой после посещения кладбища Святой Екатерины: там покоились отец и мать. Потом альпийское озеро, водой из которого Ганс Касторп умылся во время прогулки по горам с кузеном Иоахимом, колодец в Эшенбахе с врезавшейся в память цитатой из "Парсифаля" и, наконец, запруду близ казарм во Вжеще, где он повстречал внука канцеляриста.

— Однако самое худшее было еще впереди, — Касторп отставил пустую рюмку, — и если б я мог тогда это предвидеть, я бы, возможно, уехал домой, в Гамбург.

Декабрьские дни начинались свинцово-серыми рассветами под дождем со снегом и тянулись в не желавшей рассеиваться мгле несколько часов, пока опять не становилось темно. Касторп насилу заставлял себя сделать несколько простых дел, которые при нормальном образе жиз-

ни не составляли бы никакого труда. Утренний туалет, одевание, завтрак, поездка на трамвае — все это требовало от него огромных усилий. Приближались рождественские праздники, но от одной мысли о путешествии, необходимых покупках, железнодорожном расписании, билетах, сборах в дорогу его охватывала такая тоска, что он написал короткое сдержанное письмо домой, в котором, не вдаваясь в объяснения, сообщил: "Рождественские каникулы я проведу в Гданьске".

Некая сложность возникла в связи с хозяйкой: едва узнав, что он никуда не уезжает, она решила скрасить жизнь "бедному одинокому студенту". Касторп кое-как проглотил ее праздничный пирог, дотошные вопросы и поздравления. По ночам, лежа без сна, он думал о незнакомке, однако — как ему этого ни хотелось — та ни разу больше не приснилась. Быть может, именно поэтому у него иногда ненадолго улучшалось настроение. Он упорно пытался убедить себя, что все это — лишь игра воображения, что он никогда эту женщину не встречал, но ведь оставалась книга, в которую он время от времени заглядывал и снова погружался в мечты. Как в детстве, сидя в одиночестве перед игрушечным театром, он воображал себя на освещенной сцене, так и сейчас перевоплощался в майора, скачущего верхом по дюнам на свидание с возлюбленной. Порой он беседовал с незнакомкой, и не мысленно, а вполголоса, по-французски, расхаживая по комнате с заложенными за спину руками.

— Вы думаете, доктор, — Ганс Касторп прервал свой рассказ, заметив, что Анкевиц старательно записывает что-то в блокнот, — я сошел с ума?

— Дорогой мой, — доктор отложил перо и с улыбкой взглянул на Касторпа, — уверяю вас, до этого гораздо дальше, чем до Алыи, где вы бродили со своим кузеном. Но раз уж вы сами отвлеклись, позвольте вас спросить про колодец в Эшенбахе. Вы упомянули о какой-то надписи — цитате из "Парсифаля", это любопытно. Помните?

Говоря так, доктор встал из-за письменного стола, долил Касторпу коньяку и сам закурил сигару. Это была обыкновенная "Виргиния", дешевый контрабандный сорт, надо признаться, гораздо хуже "Марии Манчини".

— В Эшенбахе мы были с Иоахимом у его тетушки Эсмеральды, на обратном пути в Гамбург, — Касторп уставился в потолок, как школьник, раздумывающий над ответом. — А колодец? На нем изображен поэт, Вольфрам из Эшенбаха. Это он написал "Парсифаля". Цитата — из его поэмы. Звучит примерно так: "Из воды ведь возникли деревья и все живое..." Нет, точно не помню. Но в конце что-то про душу, которая сверкает ярче ангела.

Касторп на секунду задумался и, помолчав, продолжил:

— Забавно, но я помню и кое-что другое. Деньги на сооружение колодца дал Максимилиан II, король Баварский, примерно в 1861 году. Сейчас Бавария уже не королевство, — тут он приостановился и посмотрел на доктора, — как и ваша страна.

Поскольку Анкевиц никак не отозвался, Ганс Касторп поспешно добавил:

— Простите, доктор, надеюсь, я вас не обидел?

— Напротив, — доктор выпустил несколько искусных колечек дыма. — Впрочем, это не важно. Ну ладно, — сменил он тему. — Оставим ко-

лодец королям и поэтам. Вы сказали: "однако самое худшее было еще впереди"... Имелись в виду ваши фантазии, когда вы представляли себя и эту русскую незнакомку подобными... или, лучше сказать, в образе героев Фонтане?

– Господин доктор, – Касторп чуть понизил голос, – то, что я вам до сих пор рассказал, всего лишь увертюра.

– Ах, так, – Анкевиц незаметно снял с пера колпачок и пододвинул к себе блокнот. – Ну что ж, продолжайте.

В новогоднюю ночь, когда из близлежащего офицерского клуба доносились звуки оркестра, разыгралась снежная буря. Касторпа это неожиданно обрадовало: бушевавшая за окном метель, в то время как в печи пылал огонь, а в комнате разливался аромат только что откупоренной бутылки бургундского, почему-то его приободрила. Незадолго до полуночи, будто получив заряд энергии, он решил отправиться на прогулку – именно в разгар метели. Госпожа Хильдегарда Вибе задержала его, когда он надевал пальто; пришлось выпить с ней бокал шипучего вина, которое Кашубке – в черном платьице с белым воротничком и кружевной наколке – подала им на серебряном подносе. А потом он погрузился в белую круговерть – и почувствовал себя счастливым. Снег валил такой густой, пронизанная ветром мгла была такой непроницаемой, что он кружил по улицам Вжеща вслепую, выбирая дорогу интуитивно. Миновал двух подвыпивших гусар: поддерживая друг друга, они, безуспешно пытаясь перекричать вой бури, горланили "Хочу быть пруссаком". Потом ему повстречался человек в шубе и тяжелой русской шапке, который спросил у него: "Вы не видали мою жену?" Немногочисленные освещенные окна были как морские маяки: он брел от одного к другому, не ощущая ни мороза, ни пронизывающего ветра. Можно сказать – доктор Анкевиц поспешил это записать, – что настроение Касторпа во время зимней ночной прогулки менялось обратно пропорционально погоде: чем гуще валил снег, чем громче ревел порывистый ветер, тем легче становилось у нашего Практика на душе – настолько легче, что в парадное дома номер один по Каштановой улице он вошел так, будто возвращался со студенческого бала: веселый, бодрый, готовый шутить и валять дурака. Сколь же велико должно было быть изумление госпожи Хильдегарды Вибе, когда она услышала негромкое посвистывание в коридоре, а затем увидела в открытых дверях гостиной улыбающееся лицо. "Вы еще не спите?" – спросил Касторп и без церемоний, не дожидаясь приглашения, сел за пианино и исполнил бравурный полонез. "Вы позволите?" – и сыграл вариации на темы Чайковского. "Все пары танцуют", – воскликнул, увидев входящую в гостиную Кашубке.

– Поверьте, доктор, это была поистине безумная сцена, сотворенная волшебством необычной ночи. – Касторп закурил погасшую "Марию Манчини". – Какая-то нелепая, карнавальная. Прислуга сделала книксен, и обе закружились в ритме вальса, я же продолжал играть, а они, веселясь точно две барышни-пансионерки, танцевали, пока я не сыграл в заключение "Rondo Russo" Саверио Меркаданте. Потом встал, отвесил дамам поклон и сказал: "Всего вам доброго в Новом году!", на что моя захмелевшая хозяйка воскликнула: "Ну, господин Касторп, вы, не говоря худого слова, шалун!", после чего расцеловала меня в обе щеки – смачно, звонко, оставив жирный след своей алой помады...

— И это было тем "самым худшим", что вас ожидало? — деликатно спросил Анкевиц.

— Нет, доктор, поцелуй госпожи Вибе, то есть, я хотел сказать, весь этот вечер, наоборот, отвлек меня. Спал я на редкость хорошо, долго, а когда на следующий день увидел город, просыпающийся среди огромных снежных сугробов, залитый солнцем, то уже почти не сомневался, что никакие темные мысли больше не нарушат мой покой, словом... — Касторп настороженно поглядел на доктора, точно опасаясь, что его признание вызовет сострадательную улыбку, — что я начинаю новую жизнь... Будто бабочка из гусеницы, — добавил он, помолчав, — новая форма из белого кокона.

И это доктор Анкевиц незаметно записал в блокнот. А потом, поглядывая то в окно, то на своего пациента, продолжал внимательно слушать.

Второго января Ганс Касторп отправился на прогулку. Большая аллея, по которой он шел, выглядела как декорация к "Снежной королеве". Потом он завернул в "Café Hochschule": там, в почти пустом зале, царила сонная атмосфера. Свежий "Анцайгер" на первой полосе сообщал о катастрофе в Пуцком заливе. Во время бури затонул баркас с восемнадцатью рыбаками; пятнадцать из них погибли. Если б не темнота и внезапно ударивший сильный мороз, буквально на глазах превративший воду в бесформенную ледяную кашу, возможно — несмотря на высокую волну, — удалось бы спасти больше людей. Так, по крайней мере, полагал автор заметки, подсчитавший, что среди пятнадцати утопленников было семеро холостяков и восемь отцов семейства, оставивших сиротами в общей сложности двадцать двух детей.

Когда Касторп размышлял о бессмысленной газетной статистике, позволявшей читателю вычислить, что на каждого из утонувших женатых бедолаг приходится в среднем по два и три четверти ребенка, кто-то крепко стукнул его по спине и заревел над ухом:

— Привет, дружище, вот здорово, что я тебя встретил!

Не кто иной, как сам Николай фон Котвиц уже подсаживался к нему, уже заказывал две рюмки водки с содовой, уже что-то рассказывал — торопливо, громко, поминутно разражаясь смехом. Ну и намучился он с отцом во время праздников! Ну и соскучился по обществу, более приятному, нежели дряхлые тетки, старший лесничий и дворцовая челядь! Ну и удивился и обрадовался, увидав Касторпа, поскольку, честно говоря, не рассчитывал застать здесь никого из студенческой братии: еще слишком рано, все съедутся только к концу недели, разглагольствовал Николай.

— Ну а ты-то как, дружище? Уже вернулся из своего Гамбурга? Быстро ты... Может, и у тебя, — оглушительно взревел барон и хлопнул Касторпа по плечу, — нелады с твоим стариком?

Касторп деликатно ушел от ответа. На самом деле он был рад встрече, как человек, который, недели две прошагав по пустыне, впервые встречает путника и может перекинуться с ним несколькими словами. По той же причине — хотя он терпеть не мог так называемый шнапс — Касторп не поморщившись проглотил водку и продолжал слушать Николая, рассказывавшего об очередной сваре с отцом, "старым идиотом, которого уже, хоть тресни, не научить уму-разуму". Потом они с минуту

поговорили о погоде, и наконец Николай вспомнил, что у него есть для Касторпа важная информация, точнее, приглашение.

— Увидишь кое-что, не предназначенное для глаз добропорядочных лютеран или католиков, — хихикал барон. — Ох уж и позабавимся!

Общество любителей античной культуры "Омфалос", о котором Касторп знал только понаслышке, в тот вечер собиралось на новогоднее заседание. Пару часов спустя Касторп и Котвиц встретились у Главного вокзала, откуда взяли пролетку. К зимнему пейзажу, правда, больше бы подошли сани, но снег с центральных улиц уже убрали, и пролетка, хоть и не без труда, покатила к Новым садам, где в доме восемнадцать размещалась масонская ложа "Под коронованным львом". Оттуда вышли два господина Хааке — Леопольд и Людвиг, — близнецы, настолько похожие, что Касторп, уже после того как Николай его с ними познакомил, не мог удержаться и с интересом поглядывал то на одного, то на другого в надежде отыскать в их внешности какие-нибудь различия. Это, однако, ему не удалось, как не удалось и получить ответ на довольно бестактный, признаться, вопрос, куда, собственно, они направляются. К счастью, Николай фон Котвиц сгладил неловкость.

— Не подумайте, что мой друг излишне любопытен, — объяснил он господам Хааке. — Просто я не успел ему сказать, что необходимое условие наших встреч — сохранение тайны.

На Долгом базаре, возле фонтана Нептуна, они сменили пролетку. Только тогда Ганс Касторп понял, что Николай тоже не знает, куда они едут. Один из Хааке, время от времени высовываясь из-под поднятого верха пролетки, давал указания извозчику. Они промчались через Зеленый мост, миновали Молочные башни[1], быстро проехали по Длинным садам, а затем, не доезжая бывшего дворца Мнишеков, свернули влево, в старый портовый район. Было уже темно. По рыхлому снегу пролетка ехала все медленнее; по сторонам тянулись безмолвные лабазы, запертые на засов сараи и пустующие в эту пору года склады древесины. Последние пятьсот метров, отпустив извозчика, прошли пешком. Когда через минуту из виду скрылся тусклый фонарь пролетки, путь им освещали только звезды.

— Вы даже представить себе не можете, доктор, — продолжал Ганс Касторп, — как я был поражен. Выйти из ущелья между стенами каких-то заброшенных складов и вдруг увидеть в пустыне освещенный дом, полный гостей! Как все эти люди туда попали — дорога была совершенно непроторенная! Перед огромной дверью, охраняемой двумя плечистыми лакеями, не стояло ни одного экипажа. Господа Хааке назвали пароль, я хорошо помню, как он звучал: "Тавромахия", — и мы вошли внутрь. То, что я увидел, мне показалось забавным — похоже мы попали в театр, на новогодний бал-маскарад; костюмы, к счастью, были не обязательны: переодевался только тот, кто хотел, в богато оснащенной гардеробной.

Поскольку доктор Анкевиц, не говоря, правда, ни слова, высоко подняв брови, вопросительно поглядел на Касторпа, тот объяснил, что мог нарядиться римским легионером, фавном, галльским рабом, лесной нимфой, философом, коринфской гетерой любого пола, гречес-

1. Дословное название: Молочные бидоны (Mleczne Stągwie); кирпичные сторожевые башни, у подножия которых в Средние века торговали молоком.

ким купцом, адонисом, сирийским рыбаком, кифаристом или каким-нибудь мифологическим героем — например, Гераклом, Ясоном либо Тесеем. Молодая женщина в скудном одеянии мальчика-слуги водрузила ему на голову венок, и этим ограничилось его преображение, но не любопытство доктора Анкевица. Несмотря на то что рассказ был довольнотаки сдержанным, лишенным эмоций, слушатель совершенно забыл про блокнот, сигару и коньяк и, поминутно от удивления хлопая глазами, нервно потирал то левую, то правую щеку.

Переходя из зала в зал, Ганс Касторп холодным взглядом аналитика наблюдал за поцелуями, откровенными ласками и разнузданными сценами, участники которых не выказывали ни малейшего смущения. Любовным играм способствовали расставленные на обоих этажах, во всех залах, диваны, кушетки и козетки. Запах горящих трав, свет разноцветных лампионов и музыка в исполнении нескольких групп флейтистов и флейтисток создавали атмосферу, ничем не схожую с той, что царила в гамбургском публичном доме, который он посетил с одноклассниками после выпускных экзаменов. Там зоны возбуждения и разрядки были четко разделены: в общей зале, где посетитель выбирал себе проститутку, все было направлено на разжигание похоти, все чувства суммировались в одно, усиливая желание, а излияние скопившихся соков, этот короткий, спазматический акт происходил как-то стыдливо, украдкой, в тесных, освещенных мертвенным светом номерах, где пахло пудрой, дешевыми духами и пóтом предшественников. Здесь же возбуждение и разрядка были связаны гораздо нагляднее, представая в диалектическом единстве, и Касторп, нравственность которого подверглась серьезному испытанию, почувствовал, что не на шутку взволнован. Сторонние взгляды и сознание, что и сам он, если окончательно преодолеет внутренний барьер, станет объектом наблюдения, только подстегивали вожделение.

Касторп видел вакханок, эфебов, козлов, нимф, рабовладельцев и невольников, богов, людей — всех вперемешку, будто рай соединился с преисподней, — однако нигде не встретил Николая фон Котвица, куда-то пропавшего сразу же, еще в гардеробной. Только снова спустившись на первый этаж и остановившись у пылающего камина, где полуобнаженный философ в рваной тоге и с приклеенной бородой подсыпал в бокалы всем желающим беловатый порошок из золотой коробочки, а затем помешивал напиток веточкой, похожей на жимолость, он узнал в философе приятеля. Это так развеселило Касторпа, что он не смог удержаться от громкого смеха.

— Неужто, — спросил он, выпив зелье, — ты ограничиваешься столь невинным развлечением? Хочешь, чтобы я в это поверил?

Николай Антисфен — хотя его с равным успехом можно было принять и за Сократа — насыпал Касторпу еще одну порцию опия, сам отхлебнул изрядный глоток из своего бокала, после чего ответил:

— Всякий развлекается на свой лад — ну, а ты? Здорово ведь тут, а?

К Николаю подходило слишком много желающих получить свою толику обращенного в порошок тела бога, чтобы Касторпу захотелось хоть в чем-нибудь ему признаться — и уж меньше всего в вожделении, разгорающемся под маской бесстрастного наблюдателя, — поэтому он только молча пожал плечами. И продолжал кружить по залам, присматриваясь издалека то к играющим в кости легионерам, то к римской матроне, за которой неотступно следовал переодетый весталкой юнец.

Наконец, утомившись, наш наблюдатель опустился на диван, откуда минуту назад вспорхнули два эфеба.

— Следует ли понимать, — доктор Анкевиц заговорил слегка охрипшим голосом, — что вас за весь вечер так и не захватила атмосфера разнузданности? А они вы еще брали?

— Не знаю, как вам рассказать... — Ганс Касторп нерешительно посмотрел на доктора. — Поверьте, мне ничего не привиделось: это был не призрак и не двойник. Нет, это была она, русская из гостиницы "Вермингхофф". Прошла от меня так близко, что я ощутил запах ее духов, тот же самый, вне всяких сомнений — смесь мускуса и фиалки...

Касторп увидел, как она не спеша поднимается по лестнице, и лишь тогда встал с дивана и пошел за ней на второй этаж. Он мог бы ошибиться, будь на ней какой-нибудь античный наряд, но незнакомка, вероятно, не любила маскарадов: она была в обычном вечернем лазурного цвета платье. Он разыскивал ее повсюду, медленно переходил от одной группы к другой, приближался к полуобнаженным телам, к дремлющим либо веселящимся ряженым. В дом между тем прибывали новые гости, стало жарко и очень шумно, но нигде в толпе ее не было, она испарилась как камфара, а ведь ошибки быть не могло: он явственно видел незнакомку из Сопота. Касторп без устали бродил между первым и вторым этажом, заглядывал в гардеробную, пытался расспросить Котвица, но тот только потрепал его по плечу и подсыпал в бокал порошку. Дважды во время этих поисков Ганс Касторп не устоял перед соблазном. Один раз, властно притянутый атлетической рукой Геры, он ответил ей долгим страстным поцелуем; под толстым слоем пудры на щеках богини чувствовалась щетина. Второй раз, застряв в плотной толпе гостей, несколько мгновений крепко обнимал прелестного эфеба — миниатюрную гибкую девушку, переодетую посланцем богов. Незнакомки он не нашел.

Уходя на рассвете, в чужой шляпе, без перчаток, где-то оброненных, Касторп ощущал в голове страшную пустоту. Дороги он не знал и петлял среди портовых складов, в глубоком снегу, с наслаждением вдыхая резкий морозный воздух, пока не заметил, что под ногами у него уже не суша. Замерзший канал привел его к Мотлаве. И именно там, на скованной льдом реке, где с одной стороны тянулись кирпичные городские стены, а с другой — лабазы и склады, он увидел поднимающийся шар солнца. Сощурившись, он смотрел, как в мертвой тишине шар делится на три части и уже не одно, а три одинаковых солнца освещают белую гладь. Продолжалось это не дольше минуты. Потом наползли серые, тяжелые как свинец тучи и повалил густой снег. Никогда еще, даже на похоронах матери, а затем отца, он не чувствовал себя таким несчастным. Унылые набережные с примерзшими к сваям баржами и буксирами напоминали холмистые пустыни; за ними расстилалось небытие. Нигде, даже среди торчавших там и сям башен костелов, не проглядывала хотя бы узенькая полоска света. Единственное, чего Касторпу на самом деле безумно хотелось, это лечь посередине замерзшей реки и заснуть навек. Однако же, сам не зная как, он добрался до Зеленых ворот, а оттуда, приложив почти нечеловеческие усилия, до трамвая.

Потом наступили ужасные дни. Он погружался в себя, как в бездонный колодец, не зная, за что ухватиться. Долгие периоды бессонницы изнурили его до такой степени, что не оставалось сил ездить на занятия. Он не обедал, только завтракал и ужинал. Порой, когда ему все же

удавалось заснуть, его преследовали тягостные картины: незнакомка, разнузданная и бесстыжая, терзала его на сопотском пляже или в номере гостиницы "Вермингхофф". Иногда она превращалась в эфеба, иногда щеголяла в мундире здешнего гусарского полка. Но хуже всего были ночи, когда он, уставившись в потолок, слушал, как по квартире госпожи Вибе, звеня шпорами, ходит кто-то в тяжелых сапогах. Тогда ему вспоминалась физиономия заговорившего с ним возле казарм рыжего коротышки, лицо пассажира в пустом трамвае и портрет господина обер-лейтенанта, сливавшиеся в одну омерзительную рожу. Он не стал записываться на экзамен. Не ответил на письма Иоахима и дяди Тинапеля. Не отправлял больше Шаллейн грязное белье, хотя запасы чистого таяли с каждым днем. Однажды утром, заставив себя выйти на улицу, он с остановки увидел на угловом доме табличку доктора Петера Анкевица: "Нервные заболевания, бессонница, консультации". И подумал, что это счастливое стечение обстоятельств: коли уж он пал так низко, что пренебрегает повседневными обязанностями, нужно воспользоваться подвернувшейся оказией.

— Это все, — Ганс Касторп закончил свой рассказ. — Теперь вы мне пропишете капли или порошки?

IX

Что такое курхаус? Да ничего особенного. Сколько-то гостиничных номеров, веранда, на которой можно лежать в шезлонгах, ресторан с садиком, некое подобие променада. В те времена, когда гостиничное дело, пройдя этап случайных инициатив, превращалось в истинно промышленную отрасль с участием акционерного капитала, курхаусы возникали буквально всюду, где еще не успели построить фабрику или куда не дотянулась городская застройка. Морское побережье, минеральные источники не являлись необходимым условием: достаточно было красивого вида и убежденности в том, что воздух в данном месте чуточку чище, чем где-либо еще. Примером могла послужить Олива: несмотря на отсутствие пляжа, горных вершин или хотя бы одного целебного источника, в прелестном уголке на краю леса выстроили курхаус как символ новых веяний. Куда привлекательнее, разумеется, были местности, расположенные у самого моря, — такие, как Елитково, Бжезно или Собешево. Тамошние курхаусы мгновенно обзаводились купальнями — сооружениями весьма нехитрыми, состоящими из деревянных будок, именуемых кабинами, да на скорую руку сколоченных деревянных помостов и лесенок. Волшебное слово "бад"[1], тем не менее, притягивало туда отдыхающих, хотя непродолжительность балтийского сезона не позволяла развернуться в полную силу владельцам ресторанов, гостиниц и киосков с сувенирами.

Иначе обстояло дело в Сопоте. И не только потому, что кроме курхауса и купален там был самый длинный мол, около восьмидесяти пансионов, два шикарных отеля, санаторий и десятки особняков и вилл — в том числе и таких, которые сдавались внаем. Сопот оставил далеко по-

1. От *нем.* Bad — купанье; купальня.

зади другие курорты, едва там открылись горячие водолечебницы. С тех пор люди, страдающие истинными или мнимыми недугами (последним, впрочем, вышколенный персонал уделял не меньше внимания), могли круглый год, независимо от погоды, пользоваться новейшими достижениями медицины. Пятьдесят восемь ванн предлагали свои услуги для борьбы с ревматизмом, хронической сыпью, увеличением печени, катарами, артритом, бородавками, сердцебиениями, хрипотой, геморроем, импотенцией, эпилепсией, психическими заболеваниями и всевозможными неврозами.

Вероятно, для истории Сопота не имело особого значения, что в первый же год деятельности "Вармбада"[1] пациентом этого лечебного заведения стал студент Ганс Касторп. Его фамилия фигурировала в книге записи процедур под номером 747 с двумя дополнительными пометками: "М" + "Э". "М" означало купание в подогретой морской воде, "Э" — электрический ток, под постоянным небольшим напряжением пропускаемый через ванну пять раз за сеанс. Наш герой для процедур выбрал пятницу, поскольку во втором семестре по пятницам занятия заканчивались раньше обычного, в час дня. Спустя пятьдесят восемь минут он уже садился в поезд на Главном вокзале в Гданьске, куда из политехникума добирался на трамвае. Без пяти три, слегка вспотев от пробежки по Морской улице, он входил в мужскую приемную "Вармбада", где в плетеных креслицах, за кофе и журналами мод, пациенты ждали, пока облаченный в белый халат банщик выкрикнет соответствующий номер и отведет своего подопечного в кабину, где тот раздевался за ширмой и залезал в уже приготовленную ванну.

— Вы студент медицины? — этот вопрос донесся до Касторпа из соседней, грязевой ванны, в которой лежал худосочный господин средних лет, похожий на всполошившуюся куропатку. — Я спрашиваю, поскольку мне интересно, как здесь оцениваются новейшие методы. В берлинских газетах пишут, что нашей немецкой медицине нет равных! Слыхали подобную чепуху?

Сквозь нагретую, пахнущую водорослями воду, в которую Касторп погрузился едва ли не до кончика носа, как раз проходил слабый ток. По коже бежали приятные мурашки, будто тело массировали десятки пальцев. Слегка приподняв голову, он ответил:

— Я изучаю кораблестроение! В медицине ничего не смыслю. Немецкая, говорите? Медицина не имеет национальности!

С этими словами Ганс Касторп, не испытывающий желания продолжать обмен мнениями, демонстративно нырнул в свою морскую купель.

Тогда из другой ванны, наполненной доставленным из-за границы солевым раствором, раздался зычный голос:

— Вы против немецкой медицины?! Интересно, чем она хуже, скажем, французской? А вы, молодой человек, не правы, — это относилось к Касторпу. — Космополитизм еще ничего не создал, ни в одной области! Он способен только паразитировать на достижениях разных наций!

1. От *нем.* Warmbad — горячая водолечебница.

Лицо говорившего на секунду высунулось из облака пара. Толстые обвислые щеки, пышные усы и мешки под глазами делали его похожим на моржа.

— Поразительно, как некоторые умеют переиначивать чужие высказывания! — немедленно отозвался Тощий. — Я не говорил, что немецкая медицина чем-то хуже, позвольте вам напомнить. Не так ли? — обратился он к Касторпу, призывая его в свидетели. — Я только сказал, что превозносить ее в газетах, ставя выше врачебного искусства других народов, — абсурд, глупая пропаганда! Мелкий торговец может на все лады расхваливать свой товар: мол, он лучше того, что продают в соседней лавчонке. Но когда речь касается серьезных вещей, шутки в сторону, господа! Словесная перепалка рано или поздно заканчивается перестрелкой!

Тощий фыркнул и погрузился в свои грязи. Морж, напротив, выскочил из солевого раствора до половины атлетической волосатой груди и прямо-таки прорычал:

— От ваших слов просто уши вянут! Я сразу понял: такое можно услышать только от пацифиста! Там, где начинается критика газет, ждите массового дезертирства! Наши машины, — обратился он к Касторпу, — наши технические изобретения вне конкуренции! Это вы, полагаю, не станете оспаривать?!

Наш Практик ничего не хотел оспаривать, но и подтверждать не стремился. Знаком попросив банщика подать ему полотенце, он за несколько минут до звонка вылез из ванны. Противники между тем продолжали пикироваться, и даже чуть погодя, когда оба уже стояли под душем с пресной водой, смывая грязь и соль, их громкие голоса перекрывали шум воды и восклицания банщиков.

Тощий насмехался над Моржом:

— Может, немецкий воздух тоже лучше? А немецкий песок на немецком пляже? Не говоря уж, понятное дело, о немецкой душе. О да, в особенности она, чьим описанием последние сто лет занимались университеты и философы в халатах, да, да, в особенности немецкая душа — по сравнению с другими — вне конкуренции.

Морж перешел ad personam[1]:

— Тот, кому ничего не нравится, не только нигилист sensu largo[2], но и опасная личность, обязанная носить на отвороте пальто предупредительную табличку, чтобы нормальные люди уже издалека видели, что имеют дело с ненавидящим общество разрушителем.

До чего же смешны были эти голые господа! Завернутый в простыню Ганс Касторп, которого, легонько похлопывая, вытирал банщик, украдкой наблюдал за ними, точно за персонажами немого фильма: казалось, растрачивая всю свою энергию на бурную жестикуляцию и умопомрачительные ужимки, они теряют суть спора, хотя, конечно, это было не так. Касторп едва удержался от смеха, когда Морж упустил кусок мыла и тот по скользкому, украшенному древнегреческим узором полу покатился прямо Тощему под ноги. Явно близорукий Морж, чуть ли не возя носом по полу, кинулся за мылом вдогонку и преследовал его, пока не добрался до огромных, как лодки, ступней Тощего. После чего, подняв глаза, проревел:

1. Зд.: на личности (*лат.*).
2. В широком смысле (*лат.*).

— Так это вы!

Наш герой надолго запомнил эту сцену. Тощий, протянув руку, сказал:

— Ионатан Грей, очень приятно!

На что Морж, подобравший наконец мыло, подал Грею свободную руку и произнес:

— А я Вольфрам Альтенберг. К вашим услугам!

Выслушивать раз в неделю их тирады было даже забавно и уж никак не скучно. При этом отчетливо ощущалось, что, пользуясь услугами "Вармбада" три раза в неделю, они с особенным нетерпением ждали пятничных процедур, ибо проявить присущие обоим актерские способности — отдавали ли они себе в этом отчет, другой вопрос, — могли лишь в присутствии третьего, стороннего лица, исполняющего скромную, но важную роль публики. Так что Ганс Касторп оживлял в "Горячих водолечебницах" не только тело, подвергавшееся целительному воздействию морских солей и электрического тока, но и ум, который невольно приходилось напрягать, дабы улавливать смутный дух эристики[1], витавший над ваннами.

Из описания первой схватки, завершившейся рукопожатием двух голых людей, у читателя может сложиться совершенно неверное впечатление, будто обоих интересовала исключительно политика. Да, в определенной степени все, о чем они говорили, имело политическую окраску, ибо такова уж была эпоха с ее всеобщим избирательным правом, огромными армиями, народными массами, одинаково жаждущими хлеба и зрелищ, наконец, промышленностью, с каждым годом производившей все больше пушек, автомобилей, локомотивов и оснащенных новейшим вооружением судов, — однако столь же ярко, если не ярче, полемические натуры Ионатана Грея и Вольфрама Альтенберга проявлялись и в областях, отдаленных от политики на тысячи световых лет.

Таков, например, был вагнеровский сюжет. Достаточно оказалось Альтенбергу в одну из пятниц, плюхнувшись в ванну, начать насвистывать — с истинной виртуозностью — партию фанфар из "Тангейзера", как Грей спросил:

— По-вашему, Вагнер действительно хороший композитор?

— Вы употребили совершенно неподходящее определение. Хорошим может быть состояние вашей печенки. Плохой может быть погода. Вагнер — гений, — Альтенберг просвистел еще несколько тактов. — Хороший или плохой позволительно сказать, например, о Шуберте, но никак не о гении. Гений, господин Грей, выше всего остального. В том числе невежества и очковтирательства.

— Слушайте внимательно, молодой человек, — Грей поглядел на Касторпа. — Только что нам довелось узнать, что Шуберт не был гением. А кем тогда, если не гением, был, по вашему мнению, господин Альтенберг, вéнец Франц Шуберт?

— Способным музыкантом. Разумеется, ни один здравомыслящий человек этого отрицать не станет. — Альтенберг жестом подозвал банщика, чтобы тот подогрел ему воду. — Однако молодежь, — тут он покло-

1. Эристика — искусство спорить, умение полемизировать, используя оплошности оппонента.

нился Касторпу, — молодежь, у которой есть идеалы, тянется к гению, инстинктивно тяготеет к величию, не так ли?

— Вагнер стремится купить вас напыщенностью, помпезностью, обилием ненужных нот, — Грей сел в ванне и простер руку в сторону Касторпа. — Это все дилетантизм, фанфаронство, мишура. Да, у него есть несколько удачных мелодий, но они приправлены густым, неудобоваримым соусом. И такое вы называете гением, господин Альтенберг? Гений — это утренняя легкость, полуденная чистота конструкции, легкая вечерняя меланхолия. А Вагнер? Тяжело нагруженная телега целые сутки тащится по непроходимому лесу, внушая нам, что это прагерманская душа стонет в песке, хлюпает по болоту, хрустит в костях возницы. Поистине трудно отыскать большее недоразумение в искусстве.

— За подобный вздор надо привлекать к суду, — Альтенберг утер вспотевшее лицо полотенцем. — Но я воспользуюсь вашими же словами, чтобы кое-что вам разъяснить, Грей. Несколько удачных мелодий? Да это же именно Шуберт! Утренний кофе. Потом прогулка по Пратеру. Вечером вино при луне. Как это говорили? Мастер настроения. Вот-вот, но в кафе и салоне.

Ионатан Грей только сделал вид, что проглотил оскорбление. Обращаясь теперь исключительно к Касторпу, он заговорил хотя и спокойно, но с полной убежденностью.

— Вы, наверно, слышали Струнный квинтет до мажор? Вместо второго альта — как это было у Моцарта — там вторая виолончель. Мы ведь понимаем, о чем речь, верно? Вместо альта — вторая виолончель. И в итоге: двойная линия басов, ни в одном квинтете прежде не встречавшаяся. По мере того как одна взбирается вверх, вторая поддерживает ее и усиливает. Что же мы получаем? Невероятно глубокую темноту звучания. Мрак, выраженный чисто музыкальными средствами. Если кто-то этого не понимает, если не способен услышать — что ж... — Тут Ионатан Грей повернулся к Вольфраму Альтенбергу. — Остается только добиваться печально известной пессимистической тяжести. Ввести хор, трубы, барабаны, лепетать что-то о тайнах бытия и средневековых сказках, но с музыкой это имеет мало общего. Гений — это чистое искусство комбинирования, тонко воздействующее на чувства. Таким был Бах, особенно в своих фугах. Таков Шуберт — осмелюсь сказать — в каждом такте. А Вагнер? Красота, уничтоженная яростью помешанного на медных графомана. Невыносимые излишества, мещанская гордыня на фоне искусственных пальм, ярмарочных ковриков и выпиленных лобзиком лебедей!

Последние слова Ионатан Грей произнес, так энергично жестикулируя, что грязевой раствор выплеснулся из ванны и по полу растеклась большая лужа. Однако желаемого эффекта он добился. Вольфрам Альтенберг, будто задыхаясь, широко раскрыл рот, хлопнул ладонями по поверхности воды и крикнул:

— Хватит! Не позволю! Что вы тут мне тычете в глаза какой-то второй виолончелью?! Двойная линия басов! Кого это сейчас интересует? Искусство — это эмоции, но не те, что увлекут нескольких гурманов на исходе осеннего дня. Вам не нравятся хоры? Расширенный состав оркестра? Типичная позиция слюнтяев. Вам подавай тонкие сочетания. Все должно быть упорядочено: "тра-ля-ля" — мелодия идет вверх, "тра-ля-ля" — в последующей фразе опускается вниз. Как у вашего Баха. Пред-

сказуемость, возведенная в ранг абсолюта. Между тем абсолют, подлинный абсолют музыки, господин Грей, — неожиданность. Мелодия, у которой нет ни начала, ни конца. Иными словами, незавершенная, революционная, тотальная по замыслу.

— Прошу прощения, как вы сказали: тональная? А может, банальная? Я не расслышал, — неожиданно перебил его Ионатан Грей.

Громкий звонок прервал неоконченный спор. Ганс Касторп, растянувшись в теплой морской воде, наслаждаясь приятным покалыванием, все время внимательно прислушивался, но не всегда успевал следить за аргументами противников. Порой его мысли, ненадолго обретя свободу, незаметно вырывались за пределы водолечебницы в совсем иные сферы. Иногда всплывали воспоминания о балтийских каникулах с матерью и отцом. Иногда он оказывался в доме Тинапелей, где пил чай с Иоахимом. Все чаще, однако, он думал о незнакомке, притом не вопреки, а согласно рекомендациям доктора Анкевица. Ибо тот прописал нашему Практику не только посещение "Вармбада", прогулки, неукоснительное исполнение своих обязанностей, а также тинктуру со стрихнином — по пятнадцать капель трижды в день, для общего поднятия тонуса. Нет, он, особо подчеркнув эти слова, дал еще один совет:

— Это, конечно, не infelix amor[1], но если вы будете изгонять из памяти все, что связано с вашей незнакомкой, может снова наступить кризис.

И объяснил, что лучше всего было бы познакомиться с этой дамой, хоть как-то с ней сблизиться, деликатно выведать, кто она такая, поскольку ничто так не вгоняет в меланхолию, как фантазии, спровоцированные мимолетными чувственными переживаниями, впоследствии усиленными воображением.

— Иногда, поверьте, какая-нибудь несущественная деталь, совершеннейший пустяк может заставить вас полностью изменить взгляд на вещи. Это называется намеренным избавлением от иллюзий. Итак, мой вам совет: не сосредоточиваться на одном, а если уж не получится, обращаться к фактам — даже самые неожиданные факты в подобных обстоятельствах гораздо менее опасны, нежели любые мечты и грезы.

Это казалось весьма разумным, и Касторп рад был бы согласиться с доктором, но как осуществить его совет? Дать объявление в "Анцайгер"? Заплатить портье за информацию из регистрационной книги гостиницы "Вермингхофф"? Первый вариант, если вообще стоило его рассматривать, вряд ли мог что-нибудь дать. Никто из приезжающих на курорт раз в год не читает у себя в далекой России здешних газет. Второй вариант просто никуда не годился. Как подступиться к портье? Сослаться на infelix amor юнца?

Заметим, что подобные размышления Ганс Касторп позволял себе только во время процедур в водолечебнице, то есть в какой-нибудь полусотне метров от курхауса. Кроме того, по пятницам он дважды проходил мимо гостиницы "Вермингхофф". Ни Ионатан Грей, рантье из Кёнигсберга, который в Сопоте занимал целый этаж в особняке "Валгалла" на Земляничных холмах, ни Вольфрам Альтенберг, судья на пенсии из Ольштына, снимавший квартиру над торговым домом Эдель-

1. Несчастливая любовь (*лат.*).

штайна, даже не догадывались о терзаниях молодого человека. Знай они хоть что-нибудь, у них появилась бы прекрасная новая тема для обсуждения. А так они спорили о чем угодно другом: о прусской системе образования, английском монетаризме, разводах, русском романе, превосходстве Гёте над Гейне и наоборот, роли аэропланов и дирижаблей-разведчиков в будущих войнах, ассимиляции евреев, недавних забастовках в России, французских суфражистках, гомеопатии, развитии курортов, Пелопоннесской войне — и, вероятно, полагали, что обладающий приятной наружностью и хорошими манерами студент Высшего технического училища, слушая их, отшлифует в "Вармбаде" свой ум, чего не достичь в стенах учебного заведения. Пожалуй, они не слишком ошибались. Но наверняка удивились бы, узнав, что больше всего Касторпа заинтересовало нечто, не имеющее никакого отношения к Гёте или, скажем, аэропланам. Однажды, в разгар жаркого спора на тему бракоразводных процессов, когда Вольфрам Альтенберг громил всеобщую распущенность, поощряемую и возводимую в норму театрами, бульварными романами и кабаре, Грей в сердцах воскликнул:

— Значит, вы за полицию нравов? Чтоб от сыщиков проходу не было?

И тут Ганс Касторп вспомнил вывеску на Вокзальной, мимо которой проходил каждую пятницу по дороге в "Вармбад": "Сыскное бюро. Имеется лицензия. Герман Тишлер".

Не вдаваясь в подробности, сообщим, что в тот же день наш герой вошел в сыскное бюро Тишлера, однако прежде чем успел хоть что-либо сказать, испытал сущее потрясение. Ибо человек, занимающийся секретными и стыдными делами, требующими использования грязных методов, был ему знаком. В октябре они ехали в одном купе, и Касторп украдкой читал в газете попутчика заметку об убийстве Хоффмана.

— Я уже где-то вас видел, — Тишлер улыбнулся и указал на стул. — Простите, это профессиональная черта — хорошая память на лица. Но где? Попрошу не подсказывать... — Он закрыл глаза. — Ничего не говорите... — Он наморщил лоб. — Ну конечно! — Он наконец посмотрел на клиента. — В купе второго класса!

Радость и удовлетворение, сопутствовавшие этому восклицанию, ничуть не помогли Касторпу. Напротив, он еще больше смутился, как будто в том, что они с сыщиком уже встречались, было что-то постыдное.

— Чем могу служить? У вас неприятности? Кто-то вас шантажирует? А может быть, письма?

— Письма? — удивился Касторп. — Что вы имеете в виду, господин Тишлер?

— Без писем никогда не обходится. Мы мараем бумагу и доверяем написанное не тому, кому следует, — вы даже не представляете, какими неприятностями оборачивается! Я всегда повторяю клиентам: лучше десять раз согрешить, пускай и взяв на себя тяжкий грех, нежели описать хотя бы один свой, даже незначительный проступок. Вы пользуетесь туалетной водой "Пергамон", не так ли?

— Так точно, — холодно ответил Касторп.

— То-то и оно. У меня не только на лица отличная память, но и на запахи. В поезде, вы уж простите мою бестактность, от вас пахло другим одеколоном. Это была, если не ошибаюсь, туалетная вода "Три коро-

ны". Не отрицаете? Отлично! Что же я тогда мог предположить? Что юный джентльмен, который столь бесцеремонно читает мою газету, отправляется в водолечебницу на rendez-vous[1], но не уверен в успехе, поскольку его избранница даже не догадывается, что с недавних пор стала объектом воздыхания. Я не ошибся, верно? Остальное вы расскажете сами, я ведь не Святой Дух!

Сказав так, Герман Тишлер положил в рот медовую конфетку. В небольшой корзиночке высилась мастерски уложенная пирамида таких конфет. Хозяин пододвинул ее к Касторпу, жестом предлагая угоститься. Тот, однако, не воспользовался предложением.

— Меня восхищает ваша интуиция. Но угадали вы далеко не все. Детали моего дела необычайно сложны — боюсь, то, чего я от вас ожидаю, неосуществимо. Я имею в виду осуществление lege artis[2], — с нажимом подчеркнул Ганс Касторп. — Речь идет об установлении личности двух русских, мужчины и женщины. Кроме того, меня интересует, зарезервируют ли они номера в Сопоте в этом сезоне, и если да, то когда и где.

Пока наш Практик излагал подробности, сыщик разгрыз конфетку и будто невзначай записал в блокнот номер комнаты в гостинице "Вермингхофф", потом его зачеркнул и написал сокращенно "Панс. Сед.", что, видимо, означало название пансиона, и сверху поставил прошлогоднюю дату, которую ему сообщил клиент.

— Дело чрезвычайно простое. — В рот сыщика отправилась следующая конфета. — Однако же выяснить планы этой пары можно будет только после того, как они зарезервируют номера. Если ситуация в России им это позволит.

Поскольку Касторп уставился на него с недоумением, свидетельствующим о полной неосведомленности в этом вопросе, он посчитал нужным спросить:

— Я вижу, вас не занимает политика?

Когда же клиент в ответ пожал плечами, Герман Тишлер, словно бы с удовлетворением, начал перечислять по месяцам события, произошедшие с начала года. Кровопролитие в Петербурге! Забастовки в Москве! В Варшаве стрельба на улицах! А в Лодзи баррикады!

— Быть может, — громко засмеялся он, — этот колосс на глиняных ногах разлетится как арбуз, царь вынужден будет отречься от престола, и тогда...

— Тогда? — подхватил Касторп.

— Только война!

Сыщик, правда, не уточнил кто с кем будет воевать после отречения царя, однако Касторп, которого никогда не волновали сообщения из-за рубежа, уже в поезде, на обратном пути в Гданьск, всерьез задумался, насколько такое возможно. Впрочем, никаких тревожных симптомов нигде не наблюдалось. В гусарских казармах все шло в обычном, довольнотаки вялом ритме. В газетах если и писали что-либо о России, чаще всего прибегали к обтекаемым фразам типа "успокоение чересчур разбушевавшихся волн" или "Черноморский флот вновь проводит маневры". Эдгар Мацкайт и Вальдемар Розенбаум, которым Касторп будто ненароком задавал вопросы, рассказывали интересные, но тоже не

1. Свидание (*франц.*).
2. По всем правилам искусства (*лат.*).

слишком конкретные вещи — их главным образом тревожило, смогут ли они на каникулы уехать домой в Россию и затем спокойно вернуться. Даже госпожа Хильдегарда Вибе, которую трудно было заподозрить в интересе к политике, однажды, столкнувшись с Касторпом в кухне, заметила: "Не скажу худого слова, но эти русские не такие уж олухи, мой покойный муж говаривал, что они нам еще покажут!"

Надежда что-либо разузнать у доктора Анкевица тоже не оправдалась. Тот только прописал вместо тинктуры со стрихнином соли Эрленмейера — по столовой ложке три раза в день — и, весьма удовлетворенный состоянием пациента, порекомендовал заменить водные процедуры интенсивным движением на свежем воздухе. Касторп, обеспокоенный формулировкой "интенсивное", напрямую спросил, не имеется ли в виду нечто вроде военной подготовки на случай вероятной войны. Доктор от души рассмеялся.

— Молодой человек, — он протянул Касторпу рецепт, — поглядите, какая прекрасная весна! Радуйтесь жизни, а войны оставьте генералам и императорам.

Трудно было отказать доктору в правоте. Почки на деревьях готовы были вот-вот взорваться, под лучами солнца неистовствовали стайки воробьев, Кашубке выбивала во дворе ковры, а в порту на Мотлаве царило оживленное движение. На Пасху Ганс Касторп решил поехать домой. Он написал дяде Тинапелю теплое письмо, купил билет до Гамбурга с пересадкой в Берлине, навел порядок в шкафу и комоде. Быть может, он взял бы с собой "Эффи Брист", но в день отъезда, буквально за четверть часа до того, как пора было отправляться на вокзал, Кашубке вручила ему конверт с маркой из Сопота.

"Спешу сообщить, — писал сыщик Герман Тишлер, — что первая часть задания выполнена. Дама, про которую Вы изволили спрашивать, не русская, а полька, Ванда Пилецкая, двадцати девяти лет, проживает в Варшаве. Мужчина — русский, Сергей Давыдов, тридцать лет, ротмистр кавалерии, недавно представлен к званию капитана и переведен из Варшавы в Люблин. У меня в бюро Вас ожидают еще некоторые подробности, весьма любопытные, которые, однако же, я предпочитаю изложить Вам лично. Со второй частью придется повременить, ибо пока невозможно установить, во-первых, поддерживают ли связь интересующие Вас особы, и, во-вторых, если поддерживают, то какие у них планы. В обычной ситуации я нашел бы кому это поручить или сам бы отправился за границу, однако же — я уж не упоминаю о дополнительных расходах, которые не были оговорены, — события, происходящие сейчас в России, отнюдь не благоприятствуют путешествиям и тем более сбору конфиденциальной информации".

Касторп дважды — а потом и еще раз — перечитал письмо. Необычайно старательный, чуть ли не каллиграфический почерк сыщика свидетельствовал о его педантичности. А вот выражение "однако же" достаточно было бы употребить один раз. Впрочем, не об этом думал Ганс Касторп в мчащемся на запад поезде. Его мысли занимал вопрос, лежит ли большой цветной атлас Брокгауза, которым он пользовался в гимназии, на своем прежнем месте в дядиной библиотеке. И где на карте России находится город Люблин, куда перевели капитана Сергея Давыдова.

X

Распрощавшись с водолечебницей, Касторп не распрощался с Сопотом и все свободное время проводил теперь на курорте. Можно даже сказать, что он стал его горячим почитателем и знатоком в одном лице и широко пользовался предлагаемыми удовольствиями. Например, подъезжал на конке к Королевскому холму, откуда – даже без бинокля – можно было любоваться великолепной панорамой Гданьского залива с кораблями на рейде, монументальной башней Марьяцкого костела и светлой лентой Висляной косы, которая тянулась далеко на восток, исчезая в бескрайнем пространстве воды, света и облаков. У подножья холма раскинулся Сопот. Крыши домов, башенки пансионов, парки, аллеи, площади полого спускались к морю, завершаясь темной линией мола, возле которого уже появлялись трубы пароходов. Чистый весенний воздух побуждал не только любоваться пейзажами. Если уж Касторп взбирался на поросший лесом склон, он частенько отправлялся дальше и, добравшись до корчмы "Большая звезда", с аппетитом съедал тамошнее фирменное блюдо: котлеты из молодой баранины с травами, к которым заказывал свой любимый портер. В Сопот он возвращался тоже на конке, которая с часовым интервалом курсировала между железнодорожным вокзалом и лесным ресторанчиком. Однако чаще всего Касторп проводил не менее или даже более приятные часы в нижней части города.

Поскольку в солнечные дни тянуло полежать в шезлонге, он брал в курхаусе или на террасе в Северных Лазенках это полотняно-деревянное устройство, чтобы поваляться пару часов в упоительном безделье. Такое времяпрепровождение прекрасно отвечало характеру Ганса Касторпа, поэтому он никогда не чувствовал себя лучше, чем в те минуты, когда, подремав с четверть часика, открывал глаза и с удовлетворением убеждался, что солнце продолжает ярко светить, на деревьях поют птицы, а непрестанный шум моря призывает снова вздремнуть, и даже дольше прежнего. Время тогда останавливалось, словно бессильный поршень невидимого компрессора, позволяя отключаться сознанию нашего героя. Ничто не нарушало этого блаженного состояния: ни одна, даже самая мимолетная, картина и ни одна – пускай подсознательная – мысль. После такого на редкость полноценного отдыха он неторопливо прогуливался по променаду – от харчевни Адлера и до ресторана в гостинице "Вермингхофф" – и сравнивал достоинства различных меню. По причинам, ранее описанным, он избегал обедов в курхаусе, хотя, по правде говоря, его единственный прошлогодний опыт не был типичен для тамошней кухни. После обеда, завершавшегося кофе и рюмкой портвейна, он обычно проходил из конца в конец весь мол. Дважды послушал в концертном зале попурри из известных мелодий, хотя оркестр, видимо приберегавший силы к новому сезону, особого удовольствия ему не доставил. Еще он позволил себе сыграть в кегли, несколько раз посетил камеру-обскуру "Каскад", прокатился в бричке по берегу моря, один раз пострелял из лука и – тоже один раз, поддавшись внезапному импульсу, – поднялся на палубу судна, доставившего его прямо в Гданьск, на Долгое побережье. Так он коротал время. Точности ради признаемся, что он все чаще пропускал занятия в политехникуме, однако тогдашняя, чрезвычайно либеральная система обучения и обретенное Гансом Касторпом в результате свободного образа жизни умонаст-

роение это допускали, больше того — способствовали учебе: теперь он успевал гораздо лучше, чем когда с поистине прусской дисциплинированностью посещал все лекции и семинары.

Если вечером, еще до ужина, он брался за "Электротехническое оборудование современных судов" Рёдерера, всё — даже сложная схема генератора паровой турбины Лаваля — легко и беспрепятственно укладывалось у него в голове. Он не путал шариковые подшипники с роликовыми, а шпиндель с ручным крутилом сумел бы нарисовать по памяти, даже разбуди его ночью, подобно тому как мог в любой момент перечислить все классы из списков германского Ллойда[1].

Полученные от Тишлера сведения не потребовали от Касторпа хоть сколько-нибудь изменить образ жизни. Ванда Пилецкая после смерти отца — будучи единственной наследницей — получила в собственность поместья на востоке бывшей Польши. Они ежегодно приносили изрядный доход, что позволило ей купить в Варшаве дом и проводить время в свое удовольствие: на Ривьере или путешествуя по Италии и Швейцарии. Полгода назад, в памятном солнечном октябре она впервые посетила Сопот и пробыла там недолго — всего три дня. Сергей Давыдов принадлежал к семье со славными военными традициями, его предки отличились в сражениях с Бонапартом. В Сопот он приезжал под видом торговца древесиной Бориса Ивановича Платонова; так значилось в его, похоже, специально с этой целью выправленном паспорте. Касторп всего лишь поручил Тишлеру дать ему знать, если они снова приедут, и не воспользовался предложением сыщика "собирать и впредь важную информацию". Интуиция подсказывала ему, что он встретит обоих еще в нынешнем году, — этого пока было вполне достаточно.

По-настоящему его заботило только одно: что он не выполнил всех рекомендаций Анкевица. Доктор настаивал на интенсивном движении на свежем воздухе, имея в виду занятия спортом, — лесные походы в "Большую звезду" или прогулки по молу лишь отчасти их заменяли. Впрочем, как-то Касторп выбрался в гребной клуб и в качестве одного из шестерых членов команды совершил нехитрое путешествие по Мотлаве, от Лабазного острова до Польского мыса и обратно. Натерев на ладонях мозоли, обозлившись на донимавших его своими замечаниями других гребцов и горластого рулевого, он поклялся себе, что, если и займется каким-нибудь видом спорта, там и в помине не будет духа коллективизма. Выбор он откладывал со дня на день, а между тем в середине мая у него закончились соли Эрленмейера и следовало бы узнать у доктора, конец ли это лечения, и если нет — попросить новый рецепт. Так или иначе, ему бы пришлось ответить на вопрос, как обстоит дело с интенсивным движением на воздухе. Короче, он не пошел к врачу, придумав себе оправдание: "Я ведь прекрасно себя чувствую, кто б на моем месте стал думать о лекарствах?" И, вероятно, окончательно пренебрег бы предписанием доктора Анкевица, когда б не очередная случайность, произошедшая, разумеется, в Сопоте.

Однажды, полежав в шезлонге, Касторп отправился в Южный парк, где начиналось строительство новых купален. Неподалеку он обнаружил

1. Имеется в виду немецкое классификационное общество "Регистр судоходства Ллойда" при английской страховой монополии "Ллойд", которое наблюдает за постройкой морских торговых судов, присваивает им класс, ежегодно издает списки судов морского торгового флота всех стран.

неизвестную ему прежде рыбацкую таверну, которую держал некий Павлоский, чех из Микулова. Усевшись в садике, он заказал картофельный суп с лососем, судака в укропном соусе, графинчик белого мадьярского вина, а к кофе – торт с кремом из каймака и рюмку портвейна. И пришел в превосходное настроение, поскольку давно не едал так вкусно и так недорого. Закурив "Марию Манчини", он подозвал хозяина и завязал разговор о грядущем курортном сезоне, прислушиваясь к забавному акценту, в котором австрийская мягкость соперничала с чешской, типично славянской напевностью. Когда выяснилось, что Касторп – студент, чех, извинившись, скрылся в подсобном помещении. И тут, повернувшись лицом к морю, Ганс Касторп увидел на аллее парка трех граций. Девушки ехали гуськом на бициклетах. Яркие платья и ленты на шляпах развевались так же, как – годом раньше – на палубе "Русалки", где он обратил на этих девушек внимание. Прелестная сама по себе картинка заставила его задуматься о загадочных свойствах времени: разделенные долгими месяцами события повстречались, будто в кинематографе, создавая обманчивое, но убедительное впечатление непрерывности.

– Это барышни Ландау, – сказал хозяин, вернувшийся с подносом, на котором стояла рюмка водки. – А это от фирмы. – Он поставил перед Касторпом "бехеровку". – Они с отцом убежали сюда с Украины, после погрома, лет пять назад. Можете себе представить? Их мать, госпожу Ландау, застрелил на улице казак.

Ганс Касторп – чего с ним никогда не бывало – залпом выпил настойку, расплатился, поблагодарил хозяина и торопливо зашагал на вокзал; меньше чем через час он уже входил в велосипедный магазин Руди Вольфа на Главной улице Вжеща.

– Я хочу купить мужской велосипед, – сказал он, – и к нему насос, комплект запасных шин, заплатки и клей. А также, если есть, прищепки для брюк – английские булавки я считаю непрактичными.

– Да, конечно, прошу вас. А какую модель вы предпочитаете? – поинтересовался приказчик.

Поскольку Ганс Касторп в марках велосипедов не разбирался, состоялась демонстрация моделей.

Определенными достоинствами, главным образом благодаря современной конструкции тормозов, обладал английский "ровер". Однако он был тяжеловат, да и седло казалось не слишком удобным. К тому же, из-за отличия английской метрической системы от европейской, некоторые болты – если б понадобилось их менять – пришлось бы заказывать в Британии. Таких проблем не могло возникнуть с французским "пежо". Победитель прошлогоднего Tour de France, предлагавшийся аж в трех расцветках, привлекал рулем особой конструкции и оригинальным звонком. Зато производившаяся в Гаггенау "бадения" могла служить образцом немецкой солидности: у велосипедов этой марки по сравнению с прочими было меньше всего изъянов и, соответственно, к ним реже предъявлялись рекламации. "Марс-редер" с Нюрнбергской фабрики тоже выглядел весьма соблазнительно. Последняя модель – "вандерер" с фабрики в Хемнице – понравилась Касторпу больше других, и именно такой велосипед он выбрал, однако не из-за его достоинств, со знанием дела перечисленных приказчиком. Пока тот, демонстрируя модели, давал им краткие характеристики, наш Практик разглядывал раскрашенный от руки плакат, висевший над кассой. На фоне пологих холмов очаровательная

девушка в голубой шляпе вела за руль велосипед, держа в свободной руке букет полевых цветов. Каждому было ясно: девушка нарвала цветы на ближайшем лугу и ждет юношу, который вот-вот подъедет на идентичном, только с мужской рамой, велосипеде марки "вандерер".

Таким образом, благодаря трем барышням Ландау и удивительному свойству времени, которое в садике при таверне подало нашему герою таинственный знак, а также благодаря доктору Анкевицу и, наконец, рекламному плакату Ганс Касторп подкатил к дому на Каштановой на великолепном синем "вандерере". На багажнике в картонной коробке лежали запасные камеры, заплатки, клапаны, клей и две элегантные прищепки для брюк; насос, крепящийся к раме специальным зажимом, был, как и руль, хромирован.

– Теперь-то уж на вас трамваи, не скажу худого слова, ни пфеннига не заработают! – воскликнула госпожа Хильдегарда Вибе, вручая Касторпу ключ от чулана во флигеле.

Она не сильно ошиблась. Даже в дождливые дни, если только не свирепствовал ветер, наш Практик, укрывшись под лоденовой пелериной, с небольшим финским рюкзаком на спине, мчался по Главной улице, а затем по Большой аллее до аллеи Госслера, где ему приходилось прилагать несколько больше усилий, ибо эта улица – как мы уже не раз отмечали – вела в гору. Пелерину, финский рюкзак с изысканным плетеным каркасом, а также очки-консервы, замшевые перчатки – когда день выдавался холодный – и застегивавшийся под подбородком шлем, новые брюки-гольф и подобранные в цвет высокие носки Ганс Касторп приобрел в торговом доме Штернфельдов на углу Вжещанского рынка и Ясековой долины. Впервые после приезда в Гданьск он потратил больше денег, чем обычно расходовал за месяц. Однако это его нисколько не огорчило. Долгов у него не было, а вынужденная бережливость ничуть не противоречила новому образу жизни. Из завсегдатая курорта он превратился в настоящего путешественника, и эта почти не составившая труда перемена настолько его устраивала, что он с присущим юности оптимизмом видел только хорошие ее стороны. Да и были ли плохие? Мы и днем с огнем вряд ли бы их отыскали даже при обостренном критицизме или врожденной неприязни к велосипедистам.

Касторп вновь наслаждался необычайной прелестью ранних утренних часов. Город, еще не совсем проснувшийся, но уже сверкающий на солнце, сулил новые сюрпризы, раз за разом открывая неизвестные прежде калитки, тайные проходы и лазейки. Внезапно, будто вернувшись в сады детства – тот, что раскинулся перед домом деда на Эспланаде, и тот, который окружал дом Тинапелей у Гарвестехудской дороги, – Касторп стал ощущать острые запахи весны, обещавшие, что лето не за горами. Перед занятиями он заезжал на цветущие луга Заспы, в долину Стшижи, в парк на Кузьничках или, намеренно выбрав окольный путь, катил вдоль границ городской застройки, упорно одолевая подъемы, чтобы на взгорке вместо трамвайных звонков услышать пение петухов и жаворонков. Во второй половине дня он отправлялся через центр в Старый, Главный или Нижний город. Ему нравилось, остановившись над каналом, смотреть, как плывут по зеленой воде облака. Кружа по закоулкам Лабазного острова, Оловянки, Старой и Новой Шотландии, Оруни, Бжезна, Зарослякa, он все лучше познавал диковинную структуру города, состоящую из столь разнообразных и необычных элементов, что, пожа-

луй, только человек с душой поэта мог бы увидеть их единство. Со временем, однако, – хотя он не был и ни в малейшей степени не ощущал себя поэтом – это единство, или, скорее, целостность Касторп начал постигать интуитивно: интуиция убедила его в существовании нескольких основных слоев, совмещающихся как во времени, так и в пространстве.

Кашубы и поляки, различить которых по языку он, впрочем, не мог, представлялись ему серым слоем земли, давно прикрытым брусчаткой и выступающим на поверхность лишь там, где сохранились старинные постройки: пригородный трактир, портовые склады, убогий домик в низине, иногда лавчонка в предместье, куда не доходили ни городской водопровод, ни трамвай, ни газовое освещение. На этой болотистой, вязкой почве возвышались кирпичные стены Ганзы, былая гордость купеческих династий и рыцарей; успешная торговля зерном определила облик строений: лабазов, домов, ворот и костелов. Время голландских фортов и амстердамских аттиков наступило гораздо позже, хотя в языке следов не оставило, если не считать разве что надписей на кладбищенских плитах. Евреи, как и везде, являли собой пестрое сборище, среди которого выделялись – чаще всего одеждой – пришельцы из России и Галиции; здесь, в отличие от Гамбурга или Франкфурта, их было не так уж много и своего обособленного района они не имели. Витавший надо всем этим дух прошлого преграждал дорогу будущему: стоявший некогда на главном торговом пути город теперь жил словно бы на обочине, без крупных инвестиций, лишенный размаха и воображения, которые придавали Гамбургу или Штеттину современный вид и дарили мощный жизненный импульс. Только военные гарнизоны – пехота, гусары, моряки и артиллеристы – создавали, быть может иллюзорное, представление о значимости города. Порт, верфи и несколько окрестных заводов были недостаточным источником энергии; впрочем, город – со своими холмами на юге, заливом на севере и огромной чашей долины Вислы на востоке под клубящимися тучами, безустанно ползущими с моря, – обладал бесспорным очарованием.

Наш герой не ограничивался постижением сущности Гданьска. Больше всего он любил, оседлав велосипед и водрузив на спину набитый провизией финский рюкзак, выезжать за старые рогатки Седльце, Оруни или Оливы. Это были прекрасные моменты: проселочная дорога, словно готовая расступиться перед Странником зрелая нива, обещала открытия уже за ближайшим поворотом. Обычно так оно и случалось, и Касторпа охватывали прежде не свойственные ему чувства. Какая-нибудь верба, склонившаяся над прудом, аист на лугу или березовая роща могли настолько его зачаровать, что он слезал с велосипеда и порой добрых четверть часа разглядывал это чудо, будто оно и было целью экскурсии. Если, разогнавшись при спуске с горки, он ехал быстрей обычного, слова песни Странника сами срывались с языка. Он выкрикивал их, с особым удовольствием повторяя: das Wandern, das Wandern! Но самые сильные, до душевной дрожи, эмоции вызывали лужи. Те краткие минуты, когда он вспарывал отражающееся в воде небо и облака и видел в луже свое искаженное лицо, таинственным образом заставляли Касторпа почувствовать себя в темном пустом храме, только что покинутом последними адептами давно забытой секты. Поэтому ему нравилось ездить после грозы: едва из-за туч выглядывало солнце, в мир бурых зеркал вливался ослепительный, резкий свет, испещряя подвижную картину яркими бликами. Когда вечером, приняв пос-

ле ужина приготовленную Кашубке ванну, он ложился, чтобы через минуту без малейших затруднений заснуть, перед глазами проплывали образы мест, которые ему хотелось навсегда сохранить в памяти. Луг в излучине Радуни, где он лежал в тени развесистого вяза, прибрежные дюны Собешевского острова, откуда он увидел стадо тюленей, холмы Эмаус, поросшие степными травами и ромашкой, или дубы в Дубовой долине, где он дремал, убаюканный тишиной и густым, как смола, запахом трав, – все это казалось Касторпу не столько неотразимо прекрасной частью дивного сада природы, описанию которого любой пастор с волнением и восхищением посвятил бы по меньшей мере половину воскресной мессы, сколько поверхностью громадной, разлившейся, будто озеро, лужи, в которой отражались предметы и отблески, а также появлялось на мгновение и исчезало его преображенное движением, сосредоточенное лицо.

У настоящего озера, впрочем, ему однажды довелось пережить нечто совсем иное. Из-за холма под громкий аккомпанемент флейты и двадцати с лишним юных голосов появилась зеленая шляпчонка Вилли Штокхаузена. Вилли наигрывал мелодию, а хор пел: "Кто тебя, прекрасный лес, вознес прямо до небес?". "Перелетные птицы" – Ганс Касторп сразу вспомнил название их организации – явно облюбовали ту же, что и он, солнечную полянку на берегу. Не обращая внимания на велосипедиста, лежащего в траве рядом с прислоненным к сосне велосипедом, Перелетные птицы разделились и, не дожидаясь команды, занялись каждый своим делом. Они рубили сучья, готовили костер, набирали в котелок воду, сооружали шалаш – работа так и кипела под веселые перекрикивания, шутки, звяканье фляжек и треск ветвей.

– Так это ты! – Вилли Штокхаузен узнал поднимающегося с травы велосипедиста и крепко пожал ему руку. – Я приметил твою печальную физиономию еще тогда, в "Café Hochschule", помнишь? Я знал, дружище: когда-нибудь мы встретимся, но мог ли предположить, что и ты отправишься странствовать? Ох, нет, ничего не говори, чудесное совпадение, ты остаешься с нами, не спорь. Ребята! – крикнул он. – У нас гость, это Ганс, студент политехникума! – И снова обратился к Касторпу: – Ты даже не представляешь себе, как я рад!

Вежливым кивком наш велосипедист продемонстрировал, что он тоже рад, а затем сказал, подчеркнув последнее слово:

– Я на прогулке.

Таким образом он дал понять Вилли Штокхаузену, что "странствовать" – неподходящее определение, отнюдь не передающее сути дела. Они ведь не в горах и не в канадских лесах, а в часе езды на велосипеде от городского предместья.

– Мы тоже обожаем прогулки, – Вилли Штокхаузен взял Касторпа под руку и подвел к костру, где под котелком уже занялся огонь. – Покинуть задымленный город, дышать полной грудью, вырваться из мещанского окружения – это же прекрасно, согласен? Бедняк или богач, сын сапожника или врача – какая разница? Звезды светят для всех одинаково. Фальшь нашего времени, деньги и лицемерие – все это мы оставляем в городе. Ты поймешь это вечером, когда мы запоем у костра.

Ганс Касторп молчал. Присев рядом с Вилли на пенек, он наблюдал, как Птицы готовят луковый суп – огонь под котелком уже разгорелся.

– Людям кажется, будто, читая в газетах о разных изобретениях, они начинают понимать, что такое новые времена, – продолжал Вил-

ли. — Вздор! Неужели это все, на что способен человеческий разум? Когда я увидел тебя тогда, в орущей толпе, я сразу проникся к тебе симпатией. Такой человек, как ты, конечно же думает по-другому, независимо. Мы считаем это очень важным: быть независимым. От условностей. Узость ума столь же обременительна, сколь теснота в квартире. Мы освобождаемся от того и от другого. Странствуем и поем. Ты спал когда-нибудь в стогу сена? Пил простоквашу из крынки, протянутой натруженной рукой земледельца? Ночевал в лесу, у костра? Тому, кто просыпается с пеньем птиц, дано познать вкус жизни. Вот к чему мы стремимся. Нравится тебе такая философия?

Все время, пока Вилли говорил, Ганс Касторп представлял себе, как с суковатой палкой идет по деревенской улице под лай собак. На беду, у него всегда вызывала тошноту сама мысль о простокваше, а уж тем более в глиняной, наверняка засиженной мухами крынке, протянутой жилистой крестьянской рукой.

— Понимаю, — подумав, ответил он, — каждый чего-то ищет. Согласен. Но не называй это философией.

— Почему?! — возмутился Вилли и посмотрел Касторпу прямо в глаза. — Что, этим понятием имеют право пользоваться только профессора? Бездушные слуги рассудка, которые носа из города не высовывают? И копаются в мелочах, не зная жизни? Мы принимаем жизнь такой, какая она есть. И никаких заумных теорий. Простота, понимаешь?

— Философия, — заметил Касторп, — ищет истину. А вы? Проводите время на свой лад. Вот и все.

— Истина, — рассмеялся Вилли. — А что это такое? Абстракция, придуманная в спертом воздухе библиотек! Чтобы ее постичь, не нужны книги. Об этом ты никогда не думал?

Ганс Касторп не испытывал желания делиться с ним своими мыслями. И уж наверняка не собирался сидеть тут до вечера, чтобы у костра с радостью постигать вместе с Перелетными птицами знания о простоте жизни. Он хотел вежливо попрощаться и уехать, но Вилли Штокхаузен протестовал так горячо и настойчиво, что в конце концов Касторп согласился разделить с ними трапезу. На обед был луковый суп с хлебом, намазанным смальцем со шкварками, а также чай без сахара. Есть пришлось не своей ложкой, из чужого котелка. Чай Касторп отхлебывал из общей кружки, после каждого глотка тщательно вытирая губы пучком травы. Вилли Штокхаузен делал то же самое, но весьма небрежно. Зато он беспрерывно повторял: "Вкуснотища!" или: "Ничего нет лучше еды на свежем воздухе!" А когда наконец настало время прощаться, сердечно расцеловал Ганса Касторпа в обе щеки и сказал: "Мы наверняка еще когда-нибудь встретимся на дороге странствий!"

Приунывший Практик проехал через сосняк до дома лесника, откуда свернул к деревне. Едва миновав последние дома Отомина, он почувствовал сильную резь в желудке. Остановился, лег на траву, пытаясь справиться с судорогами и ужасными звуками, которые издавали его кишки, однако не тут-то было. Подавить этот кошмарный бунт можно было лишь одним способом: поминутно слезая с велосипеда и опрометью бросаясь в кусты — если таковые оказывались поблизости. Приседая в придорожной канаве, Касторп едва не терял сознания от мысли, что его увидит какой-нибудь проезжающий мимо крестьянин. По причине, понятной без объяснений, он в конце концов перестал взбирать-

ся на седло и толкал велосипед перед собой, с трудом переставляя ноги по песку обочины. Его трясло, явно поднялась температура. Наконец он добрался до холма, за которым виднелись крыши деревни под названием Красивые Поля. Из последних сил дотащив свой "вандерер" до небольшого камня, из-под которого бил родничок, Касторп напился холодной, кристально чистой воды и почувствовал некоторое облегчение. Утолив жажду, он растянулся на траве и долго смотрел в небо, по которому ползли барочные, ослепительно светлые облака. Ему вспомнились давнишние наставления доктора Хейдекинда: глубоко дышать, массируя ладонями живот! Так он и сделал, и — о чудо! — ему стало лучше. Судороги прекратились, а опорожненные кишки, будто эта простая манипуляция их умилостивила, великодушно позволили ему передохнуть. В таком состоянии Ганс Касторп лежал с закрытыми глазами, мечтая о наполненной теплой водой ванне, расстеленной кровати, грелке и горячем, не очень сладком чае, который в фарфоровой, с золотым ободком чашке принесет ему в комнату Кашубке. Все эти мечты могли исполниться — и исполнились, но не в самом скором времени.

Когда Касторп услышал два знакомых голоса из прошлого, ему почудилось, что он на корабле, в офицерской кают-компании "Меркурия", где напротив него сидят, перешептываясь над тарелками, преподобный Гропиус и мадам де Венанкур — служитель лютеранской церкви с легкомысленной католичкой. Однако то был не сон, голоса продолжали звучать и после того, как он открыл глаза. Ну конечно, сомневаться не приходилось: по лугу вдоль ручья, который, будто на роскошном олеографическом пейзаже, вился среди высоких трав, медленно шли рука об руку пастор Гропиус и мадам де Венанкур. Чуть подальше щипали клевер две лошади — сивая и гнедая, впряженные в покинутую пассажирами пролетку. Парочка уселась под явором на расстеленной француженкой шали, пастор достал из корзинки провизию, бутылку вина и рюмки. Ганс Касторп только чуть погодя осознал всю сложность своего положения: он, правда, мог, оставаясь незамеченным, за ними наблюдать, но если бы поднялся, чтобы взять лежащий в траве велосипед, или, что хуже, вынужден был внезапно — по понятным причинам — вскочить с тоже понятной целью, они бы немедленно его увидели и, вероятно, узнали, что — при нынешнем, также известном положении вещей, не говоря уж о разных других обстоятельствах — ему уж никак не было нужно, хуже того: страшно бы его скомпрометировало. Какие муки он испытывал, опасаясь, что расстроившийся желудок в любой момент опять может взбунтоваться, мы не намерены описывать. Достаточно сказать, что, все больше изнемогая, со все большим жаром мечтая о той минуте, когда можно будет отправиться домой, он вынужден был созерцать достойные названия fêtes galantes[1] сцены под явором, в которых истинно германская, протестантская основательность сочеталась с католическим, подлинно французским пылом. Розовое dessous[2] мадам де Венанкур идеально контрастировало с черными чулками пастора Гропиуса. Зонтик дамы покоился подле Библии в переплете с серебряной застежкой.

1. Излюбленный сюжет придворной живописи XVIII в. (рококо): изысканное общество, развлекающееся на лоне природы (*франц.*).
2. Нижнее белье (*франц.*).

"Адам и Ева, – думал со злостью Практик. – Как жаль, что они не наткнулись вместо меня на стаю Перелетных птиц".

Под вечер, когда он наконец добрался до Каштановой, силы его были на исходе. Поскольку у Кашубке неожиданно оказался выходной, ему пришлось самому развести огонь под колонкой, а после ванны, уже в халате и шлепанцах, заварить в кухне чай.

– Чего это вы так рано ложитесь? – удивилась Хильдегарда Вибе. – Ведь, не сказать худого слова, лето на носу. Читали сегодняшнюю газету? Пудровского этого, который убил золотильщика, приговорили к смертной казни – голову ему отрубят. И невесте его тоже, хотя пишут, что император, возможно, ее помилует: она якобы не убивала и не четвертовала, а только помогла парню разложить части тела по мешкам. Ничего себе штучка, а? И вообще, господин Касторп, мне кажется, что времена теперь просто варварские. Говорят, в России все чаще бастуют и царь повсюду вводит войска. Неужто такое возможно? Ах, чуть не забыла, вам письмо, из Сопота.

Хозяйка принесла газету и конверт. Касторп сразу узнал почерк Германа Тишлера и тем не менее, оставшись один у себя в комнате, не торопился вскрывать письмо. Вначале он внимательно просмотрел "Анцайгер". Про Россию ничего не писали, а вынесенный подмастерью приговор обсуждался исключительно с точки зрения техники его исполнения: в окружной тюрьме не было гильотины, отчего процедура могла быть проведена традиционным способом, но не попахивало ли это Средневековьем? Автор заметки, хотя прямо этого не высказывал, явно был на стороне прогресса. Отложив газету, Ганс Касторп прочитал письмо сыщика.

"Многоуважаемый господин Касторп, – писал Тишлер, – спешу сообщить чрезвычайно важные известия. Ванда Пилецкая прибудет в пансион 'Мирамар', что на улице Загайники, ровно через неделю, считая с сегодняшнего дня. Она зарезервировала одноместный номер на втором этаже (№ 10) с видом на море. Относительно же намерений ее друга, господина Давыдова, мы пока никакой информацией не располагаем. Весьма вероятно, что их встреча уже запланирована, поскольку Пилецкая сняла номер на все лето. Это дает основание полагать, что она будет его ждать, а также что Давыдов не может заранее указать точную дату своего приезда, а стало быть, появится при первой же возможности, то есть практически в любой момент. Смею заверить: у меня все под строжайшим контролем, так что в случае приезда русского я оповещу Вас об этом письмом, а если будет слишком мало времени, вышлю телеграмму следующего содержания: 'Встреча в гостинице...; в номере...; кланяюсь, дядя Герман'. Поскольку я не получил от Вас никаких дополнительных распоряжений – исполнить которые я готов, однако же лишь после того, как будут оговорены связанные с этим расходы, – то до момента возможных изменений характера моих услуг я прекращаю наблюдение за Вандой Пилецкой. С уважением – Герман Тишлер".

Ганс Касторп вынул из ящика "Эффи Брист". Открыл роман наугад и прочитал: "И вот мимо вокзала пронесся поезд, а в следующее мгновение промелькнул и мимо сторожки, и мимо садового участка. Эффи была так возбуждена, что ничего не рассмотрела как следует и только безмолвно глядела на последний вагон, на площадке которого сидел тормозной кон-

дуктор"[1]. С минуту он раздумывал, не закрыть ли и спрятать книгу, но потом заложил страницу картонной закладкой из путеводителя Брокгауза и, завернув томик в веленевую бумагу, обвязал пакет тесемкой из книжного магазина в точности так, как запомнил по прошлому году. Затем завернул все в толстую бумагу для почтовых посылок, уголки заклеил гуммиарабиком, а когда клей высох, взял перо и написал: "Гостиница 'Вермингхофф', Морская улица, Сопот". И ниже: "Собственность, утерянная особой, которая проживала в седьмом номере". Здесь же он приписал прошлогоднюю дату. А подумав, добавил еще: "Передать в пансион 'Мирамар'". Затем выпил чаю и лег. Ужасные последствия лукового супа уже почти не давали о себе знать, и Касторп недолго вспоминал Перелетных птиц, Вилли Штокхаузена, висящий над огнем котелок, наконец, престранную пару под явором с пролеткой на заднем плане. Все это уже отошло в прошлое, очень далекое, как ему казалось, и гораздо более далекое, чем прошлогодний портер, выпитый на веранде курхауса, или новогодний карнавал общества любителей античной культуры "Омфалос", когда, вероятно под воздействием добавленного в вино опия, ему на мгновенье привиделась женщина, так похожая на Ванду Пилецкую.

Опять он не мог заснуть. Но не из-за каких-то особенно возбуждающих картин или тягостных мыслей. Он слышал, как по коридору квартиры госпожи Вибе пару раз протопал кто-то в тяжелых армейских сапогах со шпорами. Прожив столько месяцев в доме на Каштановой, он научился распознавать на слух шаги как хозяйки, так и прислуги и сейчас был уверен, что это ни та, ни другая. В духов он не верил — неужели у него начались звуковые галлюцинации?

XI

Внимательный читатель нашего повествования, вероятно, заметил в поведении сыщика Германа Тишлера некую непоследовательность. Горячо отговаривая своих клиентов писать письма — в тех случаях, когда речь шла о любовных размолвках, неофициальных союзах, мимолетных романах, а также о долголетних содержанках, — так вот, не рекомендуя клиентам оставлять следы подобного свойства, которые, в точности как в романе Теодора Фонтане, способны даже спустя семь лет произвести эффект разорвавшейся бомбы, сам он написал Гансу Касторпу два процитированных выше письма, даже не пытаясь, хотя бы для вида, что-либо завуалировать. Объяснить это нетрудно: клиент пожелал, чтобы связь осуществлялась именно в такой форме — путем переписки, — и даже слышать не хотел о том, чтобы, получив по почте обыкновенную открытку, всякий раз отправляться в сыскное бюро. Была тут, впрочем, и другая причина, которой наш Практик знать не мог и которую — дабы пролить свет на грядущие в скором времени события — следует привести. Так вот, сыщика Германа Тишлера, которому пришлось там и сям наводить справки, однажды посетил штатский сотрудник полиции, некий Хааке. Беседа была краткой и деловой.

1. Теодор Фонтане. Эффи Брист / Перев. с нем. и под ред. Т. Путинцевой. — М., 1960.

– С какой стати, – спросил Хааке, – вы собираете информацию о русских штабных офицерах?

А затем, когда Тишлер дал надлежащие объяснения, господин Хааке любезно ему сообщил, что тот вмешивается не в свое дело. На вопрос сыщика, должен ли он в таком случае вернуть клиенту аванс и отказать в дальнейшем содействии, сославшись, скажем, на недоступность информации, Хааке ответил:

– Ни в коем случае. Вы просто будете мне обо всем докладывать, не утаивая никаких, даже на первый взгляд не представляющих интереса сведений.

Именно поэтому Гансу Касторпу – как никогда никому из клиентов – Герман Тишлер писал обо всем напрямую. Конечно, он не мог до конца избавиться от своих привычек, и в первом письме есть тому подтверждение, взять хотя бы слова "интересующие Вас особы", но Ганс Касторп оставил без внимания эту деталь, для него напрочь лишенную значения, – подобно тому как для сыщика не имел значения факт, что некий Хааке явно работал на армию, а служба в полиции была, вероятно, удобным и не единственным его прикрытием.

Между тем наш Практик в начале июня отправил домой письмо, изобилующее смутными намеками, из которых, однако, достаточно ясно следовало, что летние каникулы или по крайней мере бóльшую их часть он намерен провести в Гданьске, если же его планы изменятся, он не замедлит оповестить дядю и Шаллейн о своем приезде. Новый поворот событий отразился прежде всего на велосипеде, который Касторп теперь все реже выводил из чулана. В те времена железная дорога еще не предлагала удобных купе для велосипедистов, а крутить педали на долгом пути из Вжеща в Сопот и обратно казалось ему излишней тратой времени и сил ввиду предстоящих, еще не до конца определившихся задач. Так что он снова сменил форму велосипедиста на наряд курортника – сменил без особого сожаления, если не с радостью, да и вообще – признаемся – голова его полна была чрезвычайно оптимистических, хотя и несколько сумбурных планов, связанных с грядущими событиями. Он записался на экзамен по физике и сдал его на тройку с плюсом, а также успел перед каникулами скинуть с плеч техническое черчение, что не являлось особым достижением, однако укрепляло уверенность в том, что впредь он справится и с более серьезными трудностями.

Теперь он почти ежедневно отправлялся в Сопот, где проводил много времени в точности так, как мы уже описывали, с той лишь разницей, что все чаще заказывал обед и портер на веранде пансиона "Мирамар". Двадцать семь номеров разной величины были уже заняты курортниками из Берлина, Вроцлава, Дрездена, Варшавы и Познани, поэтому кроме немецкого вокруг звучал еще польский и русский язык. А одна еврейская семья из Лодзи, занимавшая два смежных номера на первом этаже, говорила одновременно на трех этих языках, когда же дело доходило до ссор – что, при наличии пятерых детей и двух прислуг, было неудивительно, – Касторп слышал жаргон, бывший в ходу и у евреев в Гамбурге; несмотря на множество заимствований из немецкого, в целом он казался чуждым и малопонятным. Накануне приезда Пилецкой в Сопот Ганс Касторп отправил с местной почты тщательно упакованную "Эффи Брист". Однако полька в указанный Тишлером день не приехала; не появилась она и в последующие два дня. Десятый номер на

втором этаже пустовал, деревянные жалюзи в окне были закрыты, и только позади стойки портье, в отделении, где Ванду Пилецкую ждал ключ, покоилась знакомая посылка, которую Касторп углядел краем глаза, когда проходил через вестибюль в зал ресторана.

Беспокоиться оснований не было. Раз дирекция пансиона держит для нее комнату — а именно так это выглядело, — ему просто следует ждать. Ганс Касторп запасся терпением и, пользуясь солнечной погодой, полеживал в шезлонге, откуда наблюдал за прогулочными и рыбачьими судами, за детьми, играющими на берегу, а также за окном на втором этаже "Мирамара", которое прислуга открывала раз в день, вероятно чтобы проветрить номер. В канун Иванова дня жара так допекала, что даже в рубашке с коротким рукавом и легкой соломенной шляпе, сняв незаметно туфли и носки, он не мог выдержать на раскаленном песке больше часа, переставлял шезлонг в тень деревьев близ аллеи парка и все чаще подумывал, не пора ли начать купаться. Привилегией плескаться у берега обладали только маленькие дети; взрослые, чтобы освежиться в прохладных балтийских волнах, вынуждены были отправляться в купальни, разделенные деревянной перегородкой на мужские и женские секции. На обратном пути во Вжещ Касторп приобрел в торговом доме Фастов купальный костюм в бело-зеленую полоску, с вышитым на груди парусником, под которым вилась надпись "Ostseebad Zoppot". Поглядев на себя в зеркало на дверце шкафа, он не удержался от смеха. Человек в зеркале смахивал на циркача, разве что в его голых плечах и икрах не было ничего атлетического, не говоря уж о грудной клетке, на которой изображение парусника слегка обвисло, производя довольно жалкое впечатление, как и то, что вырисовалось внизу живота, где трикотаж, наоборот, прилегал очень плотно. Вся же фигура в соломенной шляпе и с сигарой во рту выглядела весьма комично: таким мог предстать перед публикой один из братьев Веллинек, знаменитых клоунов, которых Касторп помнил по гамбургскому цирку.

Назавтра около одиннадцати часов — разумеется, без сигары и соломенной шляпы — он, пройдя несколько метров по нагретым доскам помоста от раздевалки до лесенки, спустился в холодное море. Охватившее его приятное чувство было ни с чем не сравнимо. Он постоял по пояс в воде, принимая удары небольших волн, обрызгивавших лицо шипящими пузырьками. Затем сделал несколько шагов вперед, нырнул, коснулся песчаного дна, вынырнул на поверхность и поплыл брассом до красного буйка и обратно. Затем повторил этот путь еще два раза, совершенно не чувствуя усталости. Напротив — им овладела какая-то, прежде неведомая, эйфория, с которой не шли ни в какое сравнение даже очень приятные ощущения от лечебных ванн. Потом он сидел на горячем помосте, высыхая на солнце, слушая неумолчный шум моря, в который вплетались веселые восклицания мужчин, женщин и детей. С этого сезона в центральной, самой большой части Северных Лазенок были разрешены совместные, так называемые "семейные" купания, что Ганс Касторп не без удивления отметил. Когда он выходил из воды после повторного заплыва, часы на деревянной башенке показывали уже начало второго. Переодевшись в кабине, он зашагал по променаду, миновал курхаус, мол, здание "Вармбада", площадку под будущие Южные Лазенки и уселся в садике рыбачьей таверны, где плотно пообедал, потешил себя охлажденным двойным портером, а за рюмочкой портвей-

на закурил "Марию Манчини". После чего за несколько минут добрался до пансиона "Мирамар", где его уже ждал оплаченный за целый месяц вперед шезлонг.

Увидел он ее сразу. Ванда Пилецкая стояла у открытого окна, глядя — как ему показалось, в бинокль — на пляж и вытащенные из воды лодки. Ганс Касторп надвинул шляпу на лоб и развернул "Анцайгер". На первой странице сообщали о предстоящем визите императора Вильгельма. Планировался парад гусарского полка, конные состязания в Сопоте, осмотр монархом судоверфей, наконец, фейерверк в Старом городе и прием во Дворе Артуса. Фото изображало императора во время прошлогоднего посещения гусарских казарм. На секунду Касторпу вспомнился обер-лейтенант Вибе. Будь он жив, наверняка сегодня вернулся бы домой очень поздно. Интересно, от чего он умер? Об этом госпожа Хильдегарда Вибе никогда не упоминала. На второй странице писали о визите наследника престола Фридриха Вильгельма, которого ждали через несколько недель после императора. Предполагалось участие кронпринца в июльском празднике цветов, теннисных соревнованиях, парусной регате, а также посещение им гусарского полка во Вжеще. На фотографии был запечатлен наследник престола в тех же казармах год назад. На нем был парадный мундир с черепом на головном уборе; подобающим образом была одета и сопровождавшая его супруга Софья. На третьей странице Касторп прочитал о несчастном случае на пляже Вестерплатте: двое молодых людей, сыновья рыбака, некоего Пашке, слишком далеко заплыли в море и утонули. Найдено было тело лишь одного из них. Полиция подозревает, что перед купаньем братья изрядно выпили. На четвертой полосе газета сообщала, что в деле о прелюбодеянии Греты Колодзик гданьский суд, основываясь на показаниях подмастерья пекаря Крефта, снял с некой Эммы Герман обвинение в лжесвидетельстве.

Фигура Пилецкой исчезла из окна. Ганс Касторп раздраженно отложил газету. "Неужели это все?" — с горечью подумал он, имея в виду, разумеется, не содержание "Анцайгера", а свое присутствие здесь, на пляже, перед пансионом "Мирамар". Еще несколько дней назад он строил во множестве планы — правда, весьма неопределенные, но само их наличие, казалось, гарантировало, что после приезда польки он сделает какие-то, возможно даже рискованные шаги, дабы приблизиться к этой прекрасной и загадочной женщине. А сейчас в голове царила полнейшая пустота, и он не придумал ничего лучшего, чем ждать, пока Пилецкая выйдет на прогулку или в купальню. Можно, конечно, за ней следить, но что ему это даст? Если б он догадался вложить в посылку записку, где нагло — а почему бы и нет, черт подери! — назначил незнакомке свидание... Что-нибудь типа: "Если Вам захочется поговорить об этом романе, который я нашел год назад в гостинице 'Вермингхофф' и который и на меня произвел огромное впечатление, напишите мне по такому-то адресу; я готов выполнить любое Ваше пожелание. Как студент, как человек, выросший в добропорядочной семье, заверяю Вас, что мои намерения совершенно чисты, просто с тех пор как я один раз, в прошлом году, Вас увидел, я даже вообразить не могу, что когда-нибудь покину этот город, так и не обменявшись с Вами хотя бы парой слов". Однако, поскольку он этого не сделал, поскольку не отважился и на какой-либо иной подобный шаг, на что, в конце концов, он мог рассчиты-

вать? Что дождется приезда ее любовника и, незаметно за ними следя, узнает некую тайну – банальную и очевидную – о двух людях, которые встречаются за пределами своей страны, на курорте, чтобы никто не мог помешать им наслаждаться любовью? Ну и что ему в результате достанется? Какое-нибудь русское или польское слово, внезапно проскочившее в беседе на французском языке? Картина двух сплетенных на прогулке рук? Или поцелуев в сумерках на аллее? "Нет, нет, – продолжал лихорадочно раздумывать он, – я должен что-то предпринять, сделать этот первый шаг, подать ей четкий сигнал, на который она в худшем случае не ответит, и тогда я уеду, что ж, я ведь просто провожу здесь каникулы, так чего же я опасаюсь?"

Пока ничего конкретного не пришло ему на ум, он решил незаметно проверить, забрала ли она по крайней мере посылку. Оставив шезлонг на пляже, Ганс Касторп поднялся по лестнице на веранду пансиона, а оттуда в просторный вестибюль, где у широких дверей в ресторан находилась стойка портье. Однако ему не дано было украдкой взглянуть на ящичек под номером десять. Перед стойкой царило необычное, грозящее выйти за рамки приличий оживление: владелец "Мирамара" господин Густав Цим и его правая рука – управляющий Альфред Конке, бывший машинист императорского военного флота, о чем-то спорили с усатым господином в летнем выходном сюртуке.

Усатый с явно венгерским акцентом кричал:

– Это международный скандал! Вы меня пугаете полицией?! Я не позволю! Я поищу другой пансион!

Нарушителем спокойствия оказался приехавший из Будапешта и поселившийся в одиннадцатом номере господин Лайош Сегиви, торговец. Утром, не зная местных правил, либо притворившись, что их не знает, он прямо на общем пляже облачился в купальный костюм и целых полчаса преспокойно плавал на глазах чуть ли не всех обитателей пансиона, в том числе, разумеется, и дам. Прибывший полицейский, накинув на господина Сегиви одеяло, отвел его в номер, заставил переодеться и повел в участок для снятия показаний. Венгру сообщили, что купанье в здешнем "баде" дозволено лишь в определенных местах, после чего отпустили, не вызвав – несмотря на его требования – консула Австро-Венгерской монархии, который якобы проводил отпуск в Триесте. Вернувшись в пансион, господин Лайош Сегиви объявил, что уезжает, однако не намерен платить за сегодняшний испорченный день. Поэтому портье вызвал управляющего, управляющий – Густава Цима, а Густав Цим заявил, что, поскольку иностранец отказывается платить, он снова вызовет полицию.

Ганс Касторп прошел в ресторан и, заказав стаканчик портера, продолжал наблюдать за ходом событий. Венгр в конце концов заплатил, коридорный снес вниз его багаж, и беспокойный постоялец уселся в пролетку, громко ворча, что в "бадах" на Адриатике, где вода лучше и теплее, а обслуга культурнее, купаться можно везде: там нет дурацких прусских ограничений и деревянных курятников, именуемых купальнями.

– Может, так оно и есть на вашем Балатоне, – бросил ему вслед Густав Цим. – Но в Риеке? Пуле? Дубровнике? Вряд ли!

Когда портье остался один, Ганс Касторп подошел к стойке и спросил, не найдется ли свободный номер.

— Одиннадцатый освободился, — ответил портье. — Но там не убрано.

— Не важно, — Касторп посмотрел на пустой ящичек под цифрой десять. — Сегодня я еще в Гданьске. Вещи привезу завтра утром.

— Сколько собираетесь у нас пробыть?

— Две недели, — без колебаний ответил он. — А возможно, и дольше.

— Я должен зарезервировать номер. Ваша фамилия и постоянный адрес?

— Ганс Касторп, Гамбург, Гарвестехудская дорога, 12.

— Не скажу худого слова, — заявила госпожа Хильдегарда Вибе, когда Касторп спустя два часа вошел в гостиную, чтобы рассчитаться и сообщить ей, что оставшуюся часть лета он проведет в Сопоте, куда приезжают его кузен с тетей. — Выходит, мы опять остаемся одни, а помните, я вам еще в первый день говорила, что у нас во Вжеще воздух такой же здоровый, зато не надо платить климатический налог?

Ганс Касторп тоже напомнил ей, что она сказала: "в ваши годы только и наслаждаться жизнью".

— Неужели, — она рассмеялась, — неужто я так сказала? Не говоря худого слова, вы просто счастливчик, господин Касторп, сразу видно, что жизнь принадлежит таким, как вы.

Никогда еще он не видел ее лица расплывшимся в улыбке, больше походившей на гримасу. "Лисий" — как он это называл — облик госпожи Хильдегарды Вибе сейчас скорее следовало бы определить как "беличий", хотя с равным успехом — подумал Касторп, выходя из гостиной, — независимо от того, улыбается она или нет, ее можно сравнить с ламой или анатолийской разновидностью муфлона.

Добавим, что он отнюдь не иронизировал, напротив — впервые с тех пор, как он поселился на Каштановой, — Касторп почувствовал к своей хозяйке даже некоторую симпатию. Дольше, однако, размышлять на эту тему у него не было ни охоты, ни времени: до переезда в сопотский пансион "Мирамар" предстояло сделать еще ряд важных дел. Два купальных полотенца, полотняный пиджак в английском стиле, запас рубашек с коротким рукавом, новая шляпа, второй купальный костюм на смену, несколько пар тонких носков — все это было куплено у Штернфельдов, где он совсем недавно приобрел экипировку велосипедиста. Оказалось, что мужские купальные костюмы в нынешнем сезоне почти не отличаются от того, который у него уже был. Единственное различие заключалось в цвете поперечных полосок и аппликациях на груди. На этот раз Касторп выбрал бело-красную полоску и небольшое рулевое колесо с надписью "Hansa". В книжном магазине на рыночной площади он купил очень красивый и дорогой набор первоклассной почтовой бумаги и — в последний момент замеченную на полке — "Эффи Брист" Теодора Фонтане. Уложив все самое необходимое в один небольшой чемодан, в прекраснейшем настроении он сошел на следующий день с сопотской пролетки, которая остановилась в конце улицы Загайники рядом с пансионом "Мирамар".

Как и раньше, никаких конкретных планов на ближайшее будущее у него не было. Однако с той минуты, как он переступил порог одиннадцатого номера, одно лишь сознание, что отныне он будет смотреть на те же, что и соседка, стены, видеть те же восходы и закаты солнца, целые сутки дышать тем же самым морским воздухом и впитывать ту же

самую, ленивую, соблазнительную курортную атмосферу, что будет часто — за завтраком, на прогулках, лежа в шезлонге — видеть Пилецкую и, быть может, благодаря пребыванию под одной крышей обретет неформальное, дружеское право кланяться ей на веранде или в коридоре пансиона, — одно это сознание придавало ему энергию и улучшало настроение, а также внушало надежду, что настанет момент, когда он приблизится к возлюбленной.

Разумеется, он вел себя рассудительно и с первых же часов в пансионе держался как обычный курортник из Гамбурга, ничем не отличающийся от других постояльцев. После завтрака не спеша отправлялся в Северные Лазенки, где с наслаждением подолгу плавал. Обедал попеременно то в таверне чеха Павлоского, то в ресторане пансиона, где кормили не хуже, разве что кухня была чуть более тяжелой, типично северной. Потом, с "Анцайгером", сигарой и плоской фляжкой, время от времени пополняемой любимым портвейном, лежал в шезлонге, всегда ставя его так, чтобы с середины пляжа или даже от самой кромки воды, где среди лодок и песочных замков возились дети, видеть окна "Мирамара". Под вечер, когда легкий бриз немного умерял жару, он отправлялся на мол, где причудливая игра теней, отбрасываемых новыми, электрическими фонарями, создавала великолепный фон для туалетов дам и мужских комплиментов. Бывал он и на концертах в открытом летнем театре и в зале курхауса. Если день выдавался особенно жарким, во второй раз — после обеда, подремав часок в номере, вместо того чтобы валяться в шезлонге, — шел купаться в Северные Лазенки.

Этот размеренный, чрезвычайно приятный образ жизни, отвечающий — как сказал бы дядя Тинапель — их сословию, разумеется, не усыплял его бдительности. Он не старался любой ценой оказаться поблизости от Пилецкой, внимательно следя, чтобы его столик за завтраком или расставленный шезлонг всегда находились от нее на некотором расстоянии, отделенные парой других столиков или шезлонгов. Завидев ее прогуливающейся по парку или возвращающейся из купальни, он скорее избегал встречи, нежели к ней стремился. Дважды, впрочем, они обменялись поклонами: один раз на молу, куда Касторп вышел на вечернюю прогулку, и второй раз на веранде пансиона, во время послеобеденной сиесты. На молу он увидел Пилецкую внезапно, никак того не ожидая. Они чуть не столкнулись в толчее, которая ненадолго возникла, когда группа зевак, до того наблюдавшая за двумя плясунами на канате, расходясь, заполонила почти весь мол. На Пилецкой было голубое летнее платье с зеленой туникой и шляпа цвета морской волны. Из-за высокого, очень модного тогда воротника à la Медичи ее ответный поклон показался ему несколько скованным, церемонным. А вот на веранде пансиона, в легком, песочного цвета платье с прикрывающей декольте кружевной шемизеткой, Пилецкая держалась гораздо непринужденнее. Но и тут, когда он проходил мимо нее и поклонился, а она, отвечая ему, кивнула, ее серо-голубые или скорее голубовато-серые глаза посмотрели на него словно бы настороженно и вопрошающе, отчего он буквально оцепенел, а затем на несколько часов погрузился в смятение.

Воспользовавшись особым, что ни говори, положением отдыхающего, Касторп вскоре позволил себе нечто большее. В прогулочной лодке, катавшей постояльцев "Мирамара" по заливу, он сел на скамейку с ней рядом и дважды, когда лодка слегка накренялась, коснулся бати-

ста, из которого была сшита ее блузка, украшенная пышным жабо. В некотором смысле еще ближе к Пилецкой он оказался во время экскурсии на Клубничные холмы, предусматривавшей посещение ресторана "Большая звезда". Ехал он, правда, в третьем экипаже, а она – в первом, однако за длинным, на шесть человек, столом под соснами Гансу Касторпу досталось место напротив Пилецкой. Он украдкою наблюдал, как она изящно подносит ко рту вилку со спаржей и затем вытирает губы салфеткой, чтобы отпить глоток охлажденного шабли. Сидящий подле нее берлинский советник Фридрих Хаупт ежеминутно с ней чокался и сыпал незамысловатыми шуточками – по мнению Касторпа, на грани приличия. Пилецкая отвечала советнику столь же весело и чокалась охотно, и вероятно, если бы не его жена, походившая на четырнадцатую дочку кальвинистского пастора, эти двое – советник и полька – возвращались бы с экскурсии бок о бок, в одном экипаже. Ганс Касторп внимательно прислушивался к ее немецкому: лишь изредка, в отдельных словах почти неуловимо ощущался иностранный акцент – не обязательно польский, его с равным успехом можно было приписать воспитанию в каком-нибудь немецком доме в Риге или Клайпеде. Уже за десертом Пилецкая, заметив, что Касторп не притронулся к портеру, поданному ко второму блюду, весело спросила:

– Должно быть, молодой человек, вы изучаете теологию?

Соседи по столу дружно рассмеялись, а Касторп ответил серьезно, глядя ей прямо в глаза:

– Я учусь в политехникуме, моя будущая специальность – не души, а корабли!

Никто, однако, его не слушал: на столе после пирога появилось мороженое с земляничным кремом, предоставив берлинскому советнику новую тему для глупых шуток.

Все эти краткие моменты близости вызывали у Касторпа небывалые эмоции, разжигая в его загоревшем и приобретшем более или менее спортивную форму теле подлинную страсть, не говоря уж о возбуждении в постели перед сном, которое ему не всегда удавалось обуздать. Кроме того, всплыли некие проблемы, над которыми до сих пор – среди повседневных забот – он не задумывался, хотя знал, что этого не избежать. Пилецкая была полькой, Давыдов, которого она ждала, – русским, и уже сам этот выбор – а Касторп не сомневался, что выбор ее, а не капитана, – представлял для него загадку. В гимназии лишь один урок истории был посвящен Польше; ученикам рассказали, что анархия и пьянство шляхты привели страну к разделам: образовавшийся в самом центре Европы нарыв понадобилось из гигиенических соображений безотлагательно вскрыть. Больше он ничего не узнал, а то, что случайно слышал о Сибири, казаках, восстаниях, заговорщиках, забастовках и тюрьмах, было сказано лишь с последними, если не сказать текущими событиями в Лодзи или Варшаве.

Иногда он воображал, как Пилецкая в своем имении где-то на востоке приглашает Давыдова на верховую прогулку. И они скачут в роще, будто Эффи Брист с майором Крампасом. Было ли такое возможно? И если да, то какой ценой достигалось? Предаваясь подобным размышлениям, Ганс Касторп сокрушался, что плохо знает историю и крайне мало осведомлен о нынешних польско-российских – или российско-польских – запутанных отношениях, впрочем, присущие ему тонкая интуиция и бо-

гатая фантазия подсказывали, что роман офицера и помещицы вовсе не столь банален, как могло бы показаться стороннему наблюдателю. Касторп прекрасно помнил услышанный год назад в курхаусе обрывок их разговора. Поскольку Давыдов говорил о невозможности в тот момент своей отставки, стало быть, прежде он обещал Пилецкой, что подаст в отставку, или же она на этом настаивала. Но если бы он покинул армию, позволило ли бы это любовникам нормально, а не incognito встречаться за границей? Неясным также оставалось и то, почему они разговаривают исключительно по-французски — неужели потому, что русский язык противен Пилецкой, так же как польский — Давыдову? Что же это за любовь, если они не могут шептать друг другу слова на одном из двух славянских языков? А если бы Пилецкая и Давыдов шли рука об руку по Варшаве, его и ее знакомые от них бы отворачивались?

Проходили дни — спокойные, солнечные. Продолжая наблюдать за Пилецкой, Ганс Касторп часто представлял себе польско-русский узел в виде клубящейся темной тучи, несущейся по степи; издалека туча напоминала стаю саранчи, однако по мере приближения в ней все отчетливее вырисовывались дикие, окровавленные фигуры схватившихся между собой казаков и польских повстанцев. Еще он вспоминал, как Герман Тишлер в поезде с сарказмом говорил об убийце золотильщика. И как капитан Матиас Хильдебрандт на мостике "Меркурия" отчитал рулевого, когда тот позволил себе презрительное замечание о полячишках. Все это казалось Касторпу тем более странным и неприятным, что ни в Гданьске, ни в Пруссии, ни во всей огромной германской империи поляки не бросали, как в России, бомб, не стреляли в немецких полицейских и немецких бургомистров. В истории нет никакой логики — к такому заключению он однажды пришел, глядя, как Пилецкая на берегу моря помогает двум маленьким девочкам выудить из воды ведерко для песка; поляки, будучи славянами, должны чувствовать себя в России гораздо лучше, чем в Германии, и стало быть, если уж им обязательно нужно где-то бросать бомбы и устраивать революционные заговоры, то следовало бы заниматься этим здесь, в германском государстве, а не в России. Однако дело обстояло ровно наоборот, и возвращающаяся с моря Ванда Пилецкая помогла Касторпу это осознать. Он вспомнил Давыдова, который — раз уж все не приезжал в Сопот — вероятно, преследовал польских бунтовщиков.

Быть может, именно потому, запутавшись в неразрешимых сложностях, Касторп решился на прямую провокацию. Днем он лежал в шезлонге с "Эффи Брист" в руках, держа книгу так, чтобы каждый, кто проходил мимо, мог прочитать ее название. И место он выбрал такое, чтобы никто из поднявшихся на веранду не мог его миновать. Однако, как назло, в последующие два дня Пилецкая туда не заглядывала. Он терпеливо ждал. Наконец, на третий день, она появилась и, как ему почудилось, около его шезлонга замедлила шаг. Сердце забилось сильнее, когда, минуту спустя, он отложил роман и посмотрел ей вслед. То, что она обратила на него внимание, не подлежало сомнению. Но была ли она удивлена? Заподозрила ли что-то? А может, обо всем догадалась? Он снова поднес книгу к глазам и снова, отложив ее, посмотрел на Пилецкую, но на этот раз почувствовал, как его окатывает жаркая волна. Пилецкая держала в руках роман Теодора Фонтане — ошибки быть не могло, эту обложку он узнал бы даже с гораздо большего расстояния. Следующие

четверть часа оба читали, хотя Касторпу казалось, что Пилецкая – впрочем, как и он сам – не может сосредоточиться и поминутно отрывается от книги, чтобы на него взглянуть. А когда она встала с шезлонга и направилась в его сторону с томиком под мышкой, подумал только: "Ах, неужели уже сейчас?!" – подумал скорее со страхом, чем с облегчением. Однако она не остановилась около него, не спросила: "Я вижу, нас с вами интересуют одни и те же романы?" Нет, она прошла мимо, а когда он проводил ее взглядом, вплоть до перил веранды, все стало понятно: на песке стоял Давыдов и, приветственно махая одной рукой, второй приподнимал шляпу. Словно в цилиндре корабельной силовой установки, куда через приоткрытый клапан врывается очередная порция сжатого пара, время для Касторпа побежало с головокружительной – по сравнению с предыдущими неделями – быстротой. В ближайшие дни ему предстояло убедиться в этом даже чересчур ощутимо.

XII

Удивительное это было чувство: радоваться приезду русского. Но, видно, такую нить парки спряли Касторпу. Мог ведь Давыдов – думал наш Практик – погибнуть в стычке на лесной дороге, или разгоняя бастующих рабочих, или от бомбы, заложенной в офицерском клубе. Тогда Пилецкая, вероятно получив бы от доверенного однополчанина срочную телеграмму, уехала бы из Сопота. Между тем она с каждым днем хорошела, и, хотя Касторпу никакого проку от этого не было, всякий раз, когда она с улыбкой отвечала на его поклон в коридоре или на веранде, его охватывала радость. А еще он постигал секреты любовного шифра, известного только посвященным: женщина, отправляющаяся на rendez-vous, идет по аллее парка совершенно не так, как, в легкой задумчивости, возвращается, проведя несколько часов в объятиях возлюбленного. Или, когда парочка оказывается где-нибудь в общественном месте, среди десятков других людей, по мимолетным, на первый взгляд ничего не означающим жестам нетрудно понять, прикажет ли дама везти себя на лесную прогулку или скорее, посидев в кондитерской, пожелает немедленно отправиться с любовником в его locum.

Последнее слово мы употребили совершенно сознательно, поскольку Давыдов поселился не в гостинице и не в пансионе, а снял квартиру, точнее – целый этаж виллы с отдельным входом из сада. Это был один из тех прекрасных, комфортабельных особняков, обращенных фасадом к морю, каковые буквально в первые же годы нового столетия выросли на сопотских улицах. Та вилла, мимо которой Ганс Касторп теперь часто проходил, стояла неподалеку от пансиона "Мирамар", в самом начале Елитковской дороги, где песок еще не успели покрыть брусчаткой. Оттуда было довольно далеко до заведений, которыми славился курорт, и, возможно, поэтому русский нанял постоянного извозчика, который – если Пилецкая задерживалась на вилле – уезжал по своим делам, чтобы вернуться за нею вечером. Но так бывало не всегда. Наш Практик точно знал, когда Пилецкая оставалась у Давыдова на ночь. Не только потому, что за завтраком в пансионе ее место пустовало, но также и потому, что за стеной его номера царила тишина. Обычно он слышал, как там постукивают каблучки, кувшин со звяканьем уда-

ряется о таз, хлопает закрываемое на ночь окно. Иногда Пилецкая возвращалась за минуту до завтрака — тогда в соседнем номере скрипели дверцы двустворчатого шкафа, из которого она, вероятно, доставала свежую одежду.

Касторп не собирался следить за ней целыми днями. Во-первых, это могло бы вызвать у любовников ненужные подозрения. Если б, например, он тоже нанял извозчика и приказал ехать за ними, Пилецкая тотчас обратила бы на это внимание — ведь ее юный сосед из одиннадцатого номера до сих пор всюду ходил пешком. Во-вторых, он предпочитал доверяться случаю. Куда лучше было встречать их на молу, в курхаусе, в гостинице "Вермингхофф", где они часто обедали, перед концертной эстрадой либо у входа в Лазенки, когда они давали местному мальчишке монету, чтобы тот вошел с ними в семейную купальню. Нехитрый способ — применявшийся, как оказалось, не только этой парой — очень позабавил нашего героя. Любовники могли таким образом купаться вместе, мальчик зарабатывал каждый день несколько грошей, и ничто не нарушало традиционно высокого уровня общественной морали. Однажды, через щель в деревянной перегородке, Касторп увидел их рядышком в воде. На Давыдове был такой же, как у него, полосатый купальный костюм, только черно-белый. Пилецкая в раздутом, как шар, вероятно тиковом купальнике, увенчанном желтой резиновой шапочкой, выглядела ужасно. Однако это им совершенно не мешало. Капитан, громко выкрикивая что-то по-русски, сажал ее себе на плечи, а она с притворным испугом размахивала руками, пока он не кидал ее в воду. Забаву эту они повторяли по многу раз, а потом плавали бок о бок: он — кролем, она — брассом.

Гораздо презентабельнее оба выглядели на теннисном корте. Он в спортивных брюках, она — как полагалось — в юбке в складку и блузке с засученными рукавами. Ее удары были короткими, резкими, иногда крученными, его — мягкими, длинными, словно бы лучше отшлифованными.

Что же еще нам остается добавить? Ганс Касторп уже ощущал усталость. Как-то раз, гуляя по пляжу, он увидел Пилецкую с Давыдовым на балконе виллы. Они сидели в плетеных креслах по разные стороны столика с напитками. Русский читал газету, а полька смотрела на море в большой бинокль — такие давали напрокат на молу или на Королевском холме. Пилецкая, похоже, заметила, что Касторп поглядывает в их сторону, помахала ему рукой — так матросы приветствуют с борта встречный корабль, — а затем наклонилась к Давыдову и сказала что-то, быть может: "Посмотри, это мой сосед из 'Мирамара', тот самый молодой немец", или что-либо в этом духе; так или иначе, Давыдов взял у нее бинокль и, опершись о кованые перила, направил его на нашего Практика, который — краем глаза, так как уже отвернулся, заметив, что за ним наблюдают, — торопливо зашагал по скрипучему песку, всем своим видом демонстрируя неудовольствие человека, за которым следят, хотя сердиться ему надо было бы на себя: в неловкое положение он загнал себя сам и теперь не очень-то знал, как из него выпутаться.

В тот вечер Пилецкая не вернулась в пансион. Ганс Касторп достал из чемодана набор почтовой бумаги, сел за стол в своем номере и начал писать:

"Многоуважаемая сударыня! Перед отъездом считаю нужным кое-что Вам объяснить. Да, это я в октябре прошлого года взял со стойки

портье в гостинице 'Вермингхофф' книгу, которую Вы там оставили. Не знаю, почему я позволил себе столь — мягко говоря — неблаговидный поступок. Возможно, меня оправдывает любопытство молодого неопытного человека: интересно, какую книгу может читать элегантная иностранка? 'Эффи Брист' я прочитал с огромным удовольствием, но потом заплатил за это — поверьте — высокую цену. Угрызения совести заставили меня отправить книгу обратно в гостиницу. Признáюсь: с помощью некоего сыщика я узнал — только для того, чтобы вернуть книгу, — что в этом году Вы поселитесь в 'Мирамаре'. Во избежание дальнейших осложнений, я написал на отправленной в 'Вермингхофф' посылке, чтобы оттуда ее переслали в этот пансион. Надеюсь, я не заставил Вас беспокоиться и не причинил других, непредвиденных неприятностей. Прошу меня простить".

Надо ли подписать письмо? И если да, то какой обратный адрес указать: гамбургский или здешний? Кроме того, что лучше: послать письмо по почте или оставить у портье? Но все эти вопросы были пустяком по сравнению с главной проблемой. На самом ли деле он хочет уехать? В конце концов, после долгих раздумий, Касторп решил остаться еще на несколько дней, до праздника цветов, но заниматься исключительно собой. Что же касается письма, пожалуй, он не станет его подписывать и отправит по почте. Ведь если интуиция что-то подскажет Пилецкой и она спросит у портье фамилию своего соседа, ситуация окажется столь же неловкой для нее, как и для него. Что на этот счет говорил Герман Тишлер? Что лучше совершить тяжкий грех — вспомнил он сентенцию сыщика, — чем оставлять следы пускай и незначительных проступков.

Однако праздника он не дождался и отправить письмо не успел. На следующий день пополудни, когда он вернулся из Северных Лазенок, перед пансионом "Мирамар" его деликатно остановили двое полицейских в штатском. Чтобы не поднимать излишнего шума, а также потому, что допрос неформальный, они пожелали побеседовать с ним в его номере. Давыдов был застрелен неизвестным в собственной спальне. Ганс Касторп сразу понял, что господа, преудивительным образом напомнившие ему близнецов Хааке, осведомлены о его — как бы это лучше назвать? — связях с польско-русской парой. Вопросы — вежливые, четко формулируемые — касались Ванды Пилецкой. Интересовался ли он ее жизнью? С каких пор? Почему? Знала ли она, что он следил за ней, наняв частного сыщика?

Ганс Касторп объяснил, что следить за Пилецкой Тишлеру не поручал, а лишь затребовал информацию о том, когда и где она остановится в Сопоте. Но господа в штатском этим не удовлетворились. Они продолжали расспросы: знал ли он, кто ее друг? Видел ли когда-нибудь его в обществе других особ? И в конце концов спросили, может ли Касторп утверждать, и если да, то на каком основании, что Ванда Пилецкая провела прошлую ночь в соседнем, десятом номере?

— Мне кажется, она ночевала в номере, — ответил Ганс Касторп. — Я отчетливо слышал, как она открывала дверь. Потом прикрыла окно, — добавил он, помолчав, — как всегда перед сном.

— В котором это могло быть часу? — спросил тот, что был пониже.

— Незадолго до полуночи, — сказал Касторп. — Хотя, возможно, и после полуночи. Точно сказать не могу.

Когда двое господ ушли, он сел на кровать и, собравшись с мыслями, попытался трезво проанализировать ситуацию. Поможет его ложь Пилецкой или повредит? Подозревать ее он не мог. Но если она была на месте преступления, пускай даже невиновная, и там ее задержали или она сама вызвала полицию — его показания ей повредят, только запутав дело и возбудив новые подозрения. Если же она, допустим, заявила, что ночь провела в пансионе, а Давыдова обнаружила мертвым, придя к нему рано утром, — сказанное им сыграет ей на руку. Но зачем ей было говорить неправду? Это имело бы смысл лишь в том случае, если она и впрямь виновата. Тогда подтверждение алиби было бы для нее поистине бесценным, а вот он оказался бы в сговоре с убийцей... Внезапно он услышал за стеной какой-то шум, потом хлопнула дверь, раздались шаги. Это господа в штатском покидали соседнюю комнату. Подождав минуту, Касторп вышел в коридор и постучался в десятый номер. Никто не ответил; он толкнул дверь и несмело вошел. Ванда Пилецкая сидела, а вернее, полулежала на кровати в утреннем платье, поверх которого была небрежно накинута домашняя пестрая кофта.

— Прошу прощения, — пробормотал он, — ко мне приходили полицейские. Я сказал, что вы ночевали здесь, что я слышал шаги и как вы закрывали окно.

Поскольку Пилецкая даже не приподняла головы и молчала, он продолжал:

— Не знаю, как... Я могу вам помочь? Простите, я буду у себя, за стенкой. Да, вы меня позовите.

— Не уходите. — Наконец он увидел, что глаза у нее серовато-зеленые. — Благодарю вас, хотя ваши показания не имеют значения. Там, в доме, один из них... один из убийц, был ранен. Сергей защищался, — она сглотнула, — остались следы. Если бы они знали, что я рядом со спальней, в ванной, мы бы сейчас с тобой не разговаривали.

Теперь Ганс Касторп молча сглотнул слюну.

— Я знаю, ты в меня влюблен, — Пилецкая села на кровати и потянулась за книгой. — Возьми ее себе, на память, — она с трудом сдерживала слезы. — Ты славный мальчик. А знаешь, ведь мы беспрерывно о тебе говорили.

— Вы догадались? — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Касторп.

— О да. Еще тогда, в Гданьске. Но это не важно.

— Нападение совершили ваши соотечественники?

— Соотечественники? Почему ты об этом спрашиваешь?

— Мне хотелось бы знать.

— Убийц обычно нанимают за границей. Одного из них я бы узнала. Уродливый, низкорослый, гнусная физиономия. Рыжий. Слегка прихрамывает. Но полиции я этого не сказала. Спасибо тебе за твою ложь. Я им сказала, что пришла к Сергею утром, отсюда.

— Почему?

— Я полька. Меня станут допрашивать как свидетеля, и я целый месяц не смогу уехать. Потом дело передадут русским. Там меня тоже будут допрашивать, и тоже не меньше месяца. А я видела только лицо убийцы, больше ничего.

— А можно еще кое-что спросить?

— Да.

– Почему вы сказали: "тогда, в Гданьске"?

– У тебя на голове был такой смешной венок.

– Значит, я не ошибся. Что вы там делали?

– То же, что и ты. Ну, ступай. И не забудь книгу.

Она протянула ему томик "Эффи Брист" с закладкой из путеводителя Брокгауза и нежно поцеловала в лоб. Ганс Касторп покидал десятый номер в крайнем возбуждении, ощущая, что от хаоса мыслей, образов и противоречивых чувств у него вот-вот лопнет голова и разорвется сердце.

Еще в тот же день он перебрался из пансиона "Мирамар" на Каштановую.

– Не скажу худого слова, – приветствовала его госпожа Хильдегарда Вибе. – Значит, ваша тетя и кузен уже уехали из Сопота? Велосипед вас ждет.

Но он даже не заглянул в чулан. Отправил с почты грязное белье Шаллейн, а сам сел в берлинский ночной поезд. В столице он пересел на поезд до Гамбурга и вскоре, на пороге дома на Гарвестехудской дороге, здоровался с дядей Тинапелем, который, как всегда, радостно его приветствовал, хотя и не мог припомнить, чтобы на сей раз племянник предупредил о своем приезде.

На этом можно было бы и завершить наш рассказ, если бы Гансу Касторпу – который до конца каникул проводил время большей частью в дядиной библиотеке либо у себя в комнате, лишь изредка прогуливаясь по Эспланаде или играя с Иоахимом в шахматы, – не предстояло на третий семестр вернуться в Гданьск, куда он и приехал третьего октября, хмурым дождливым днем.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить произошедшие с нашим героем существенные перемены. Он был сдержан, немногословен, редко заходил теперь в "Café Hochschule", с однокашниками держался по-прежнему дружелюбно, но в разговор вступал, только если речь шла о конкретных вещах. "Вандерер", смазанный тавотом и помытый, снова вошел в милость, хотя уже и не служил для далеких загородных прогулок, лишь иногда увозя своего владельца в Оливу или в Старый город.

Зато Касторп с небывалым рвением взялся за математику, и вовсе не потому, что должен был сдавать по ней экзамен – к профессору Гансу фон Мангольдту он мог записаться на любое время, – а по совершенно иной причине. Он вспомнил об упомянутой на прошлогодней лекции кривой, которая описывается неким уравнением, но начертить которую невозможно. Это противоречие не давало ему покоя. В учебнике "Высшая математика" Эрнста Паскаля он отыскал все теории Карла Вейерштрасса, поскольку именно тот, через тридцать лет после открытия Больцано, составил это уравнение. Поначалу Касторп стал изучать кривые на плоскости. Потом перешел к кривым и поверхностям в многомерных пространствах. Наконец, углубился в теорию множеств. Однако среди замечаний, посвященных Паскалем Карлу Вейерштрассу, нигде не нашел уравнения, которое еще в первом семестре должен был записать в тетрадь и которого теперь не мог отыскать. Эта кривая существовала единственно в воображении алгебраиста, но, если она была описана формулой, чем объяснить невозможность ее графического изображения? Касторп хорошо помнил ту лекцию профессора Мангольдта, но хотел увидеть уравнение своими глазами – тогда бы его сомнения рассеялись.

Не найдя уравнения, он бросился в другую крайность и записался на курс русского языка к Николаю ван дер Бергену. Без особого труда одолел алфавит и перешел к простейшим текстам для чтения, в которых — на уровне младших классов русской школы — рассказывалось о каникулах в лесу, походах за грибами, катании на лодке по озеру, а также о доме, семье и животных. Однако когда он добрался до вступительной информации о государственном устройстве и вынужден был прочитать вслух: "Николай Второй, император Всея Руси", то со стуком захлопнул учебник и ушел с занятий, чтобы больше на них не появляться. Подобное произошло на лекции по немецкой литературе доктора Лёбнера. Касторп посещал его лекции раз в неделю, всё усердно записывал, но когда Лёбнер, говоря о Гёте, заявил: "К нам, немцам, господа, благоволит Бог, ибо такого поэта нет ни у кого на свете", Ганс Касторп записал в тетради: "Воистину!" — и распрощался с этой областью знаний, которые готово было ему предоставить его учебное заведение.

Касторп чувствовал, как хаос, коварно отыскивая лазейки, завладевает им, и, дабы сохранить душевное равновесие, всячески пытался сопротивляться. С неутешительным, впрочем, результатом: он все больше утрачивал интерес к жизни. Он посетил доктора, который теперь звался Анке и благодаря этому, что ни говори, разумному поступку обзавелся кабинетом в центре города, медсестрой и множеством пациентов. Визит, продолжавшийся десять минут, состоял в основном из обмена информацией общего характера, когда же Анке спросил напрямую: "Вас опять что-то беспокоит?", Касторп не сумел толком объяснить, в чем дело, извинился, раскланялся и ушел.

На самом деле он знал, что тоскует по Пилецкой, но сама мысль, что об этом можно с кем-то поговорить, даже с доктором Анке, вызывала у него панический страх, как будто за дверями пансиона "Мирамар" скрывалось нечто, о чем даже поэты должны молчать.

Потом он окунулся в философию. В букинистическом на Огарной, среди старых бумаг, рукописей и всякой чепухи он нашел копию письма Канта к Гарткноху. Речь шла о пребывании Дидро в Риге, куда француз заехал, направляясь в Петербург, ко двору царицы. Видимо, Гарткнох описывал рижские приключения Дидро, поскольку Кант ответил следующее: "Сообщение, что он связался там с какой-то потаскухой, а затем описал это во фривольном стишке, меня ничуть не интересует, однако если вы, Гарткнох, хотите получить ответ на свой вопрос: возмущен ли я этим? — отвечаю: нет! Чего можно ждать от француза? Их философы используют книги, как женщины — часы. Лишь бы было видно, что часы у них есть, а остановились они или вообще перестали ходить — не важно".

Касторпа письмо очень заинтересовало, но когда букинист спросил, не нужны ли ему произведения Канта, ответил, что ищет что-нибудь более современное, хотя и не обязательно совсем свежее.

— Кажется, это специально вас поджидало, — сказал букинист и вручил ему толстую брошюру. — Я сам написал, вы только взгляните.

Касторп чуть не охнул, вспомнив сочинения канцеляриста, и, поспешно расплатившись, вышел с брошюрой, однако на этот раз его наихудшие предчувствия не оправдались. Исаак Данцигер — так звали автора — написал о Шопенгауэре. В тексте, уснащенном многочисленными цитатами, изобилующем тонкими, очень содержательными коммента-

риями, особенно много внимания уделялось родным местам философа, начиная от имения в Оруни и кончая резиденцией на Полянках. Дома Ганс Касторп читал брошюру почти до полуночи, потом снова ее перелистал, подчеркивая карандашом отдельные сентенции, и наконец заснул, будучи уверен, что нашел нечто чрезвычайно важное.

Следует заметить, что философская система Шопенгауэра после прочтения брошюры не стала ему намного яснее, однако труд Исаака Данцигера, простой и исполненный едва ли не музыкальной стройности, открыл нашему студенту гораздо больше, чем любая ученая лекция по философии: он почувствовал, что отныне может рассматривать все события собственной жизни будто в увеличительное стекло, под разными углами, с разного расстояния. Вероятно, в таком ощущении была доля экзальтации, но это не меняло сути. Теперь Касторп сумел увидеть в судьбе своего отца с его болезнью и роковым для семейных финансов пренебрежением делами игру случая — подобную той, что определила судьбу отца философа. Тот покончил жизнь самоубийством в Гамбурге, выбросившись из окна лабаза, Касторп-старший простудился, инспектируя схожие, если не те же самые лабазы, и умер от воспаления легких; честно говоря, простуда была не столь и случайной, раз он — как поговаривали — сознательно не надевал шапки и шарфа. А сравнение жизни с фитилем горящей лампы? Если человек боится темноты, он должен убедить себя, что, когда лампа погаснет, все останется таким же, каким было перед тем, как ее зажгли. Ганс Касторп приободрился, осознав, что его юношеские терзания лишь составная часть большого механизма, которому он прежде подчинялся слепо. Кажется, он начинал разбираться в самом механизме.

С тех пор он систематически, каждую свободную минуту, читал труд Данцигера, а кроме того, взял в библиотеке два толстых тома произведений самого философа, которые, при своей обстоятельности, не мог одолеть быстро, однако это ему не мешало — он читал Шопенгауэра отрывочно, с не меньшим увлечением, чем брошюру букиниста.

Таким мы однажды увидим Ганса Касторпа в Оруни, где он, еще не сойдя с велосипеда, с книжечкой Данцигера в кармане лоденовой пелерины, рассматривает усадьбу и конюшни деда философа. А также на улице Святого Духа, у крыльца старого дома, где началась долгая жизнь Артура Шопенгауэра. Потом на Лабазном острове, перед конторой, где отец философа — тот самый, который покончил с собой в Гамбурге, — зарабатывал на содержание семьи. Потом в Полянках, где мать философа в летней фамильной резиденции читала вместе с мужем газеты из Англии, сообщавшие о Французской революции и полетах на воздушном шаре. И везде наш студент обнаруживал преудивительную, по сути невидимую — как кривая Вейерштрасса — нить времени, соединявшую его с горьким, но раскрепощающим посланием Артура Философа, с наукой, размышлениям о которой он предавался последующие два семестра в своем провинциальном, хотя отнюдь не заштатном Высшем политехническом училище.

Если благодаря этому Касторп окреп духом, если он смирился с тем, что пережил и очень уже давно, и недавно в Гданьске — о чем мы постарались рассказать нашему читателю, — то немалую роль тут сыграл и некий момент чрезвычайно странного, почти мистического озарения, чему в заключение следует посвятить хотя бы пару страниц.

Опять, как в прошлом году, серый город запорошило снегом. Вначале в воздухе кружились большие белые хлопья, потом ударил мороз и пошел мелкий снежок, но продолжалось это ровно три дня. Ганс Касторп как раз успешно сдал экзамен по математике профессору Мангольдту. Пожалуй, особенно сильное впечатление на ректора произвели любопытные, продуманные рассуждения Касторпа по поводу теоремы Больцано-Вейерштрасса: описание кривой, не имеющей касательных, то есть в некотором роде идеальной, и тем не менее выражающейся уравнением, которое студент Касторп написал на листе бумаги быстро и безошибочно. После экзамена ему захотелось проветриться, и он поехал на трамвае в Главный город и сошел уже за Зеленым мостом, возле Молочных башен. Там ему пришло в голову, что было бы забавно и даже поучительно повторить пешком тот путь, который он проделал в пролетке, отправившись с Хааке и Хааке — имена их он давно уже забыл — и с Николаем фон Котвицем на заседание общества любителей античной культуры "Омфалос". Бывший дворец Мнишеков, который после того, как город перестал быть польским, сто с лишним лет служил прусскому гарнизону, теперь был снесен. Но Касторп знал, где свернуть, чтобы попасть в район портовых складов, лабазов, хранилищ угля и древесных материалов. Несмотря на снег и мороз, тут было довольно оживленно, хотя суда на Мотлаве и в каналах стояли скованные льдом. Маленький локомотив тащил вагоны, с конных подвод на полозьях докеры сгружали ящики, где-то неподалеку громыхал паровой молот.

Тщетно, однако, искал он дом, в котором любители античной культуры устроили свой бал-маскарад. Касторп внимательно изучил местность: здесь остановилась пролетка, отсюда они прошли шагов шестьсот, там был проход между складами. Все идеально сходилось, за одним исключением: дома, куда их тогда впустили два глуповатого вида лакея, тут никогда не было. Под снегом — на всякий случай он и это проверил — не обнаружилось даже следов фундамента.

Ганс Касторп, не веривший в чудеса, вдруг рассмеялся. Так громко, что с крыши лабаза на углу съехала большая снежная шапка, а из кирпичной ниши вылетели, вереща, две перепуганные сороки. Всласть насмеявшись, он двинулся дальше под все гуще валившими хлопьями снега. Его шагам по замерзшей глади канала вторили звуки рояля, которые он услышал не сразу. Это была самая печальная из двадцати четырех прекраснейших песен мира. Шуберт в квартире поэта Шобера: свечи и его всегда холодные, от соприкосновения с клавиатурой становящиеся еще холоднее пальцы. Шуберт, играющий в Вене для друзей, а сейчас и для Касторпа, внезапно услышавшего, как отец, сидя за роялем, играет для себя, для своей умирающей жены, для маленького Ганса и для Шуберта, с которым никогда не был знаком. Круг замкнулся. Музыка плыла отдельно от слов. Потом настала тишина. Ганс Касторп стоял посреди замерзшей реки в самом центре города и видел, как из-за туч медленно выползают три солнца, одно подле другого, а не друг над другом. Однако он не хотел умирать. Он хотел жить, вопреки тому, что говорила песня. Ведь он уже преобразился, он был уже не тем Касторпом, который год назад стоял на корме "Меркурия" и, отдаваясь чувству приятной меланхолии, смотрел, как от бурного непрерывного движения не остается никакого следа. Поэтому, когда снова потемнело и из больших

свинцовых туч над заливом повалил снег, он спокойно пошел дальше, словно ничего не произошло.

Можем ли мы себе представить веселое, добродушное лицо дяди Тинапеля, когда он обнимает вернувшегося домой Касторпа, целует, а затем, хихикая, берет берлинскую газету, вручает ее племяннику и, больше не в состоянии удержаться от смеха, повторяет:

— Говорил я? Говорил? Сплошные кошмары! Хорошо, что ты больше туда не вернешься, мой дорогой. Восток не для нас!

А можем ли мы вообразить еще и лицо Ганса Касторпа, внимательно читающего короткую заметку? В ней рассказывается о госпоже Хильдегарде Вибе, которая с помощью прислуги отравила своего мужа. Показания аптекаря, эксгумация останков, наконец, признание несчастной девушки, раскрывшей такие подробности, что у следователя не осталось сомнений, — и все это в сознании Касторпа завершается фразой: "Не сказать худого слова, теперь уж нас точно отправят на гильотину!"

Дядя Тинапель спрашивает: "Погоди-ка, погоди, Вибе — не твоей ли хозяйки это фамилия?" — а Касторпу между тем припоминаются разные детали. Но — оставим его в этом затруднительном положении.

Я бы предпочел увидеть Тебя на знакомой улице Вжеща: Ты идешь по тротуару, а по мостовой гусары с черепами на киверах гонят русских пленных; на дворе 1914 год, вскоре после Танненберга[1]; стоящие трамваи, жара и минута славы. Потом по той же улице маршируют отряды штурмовиков в коричневых рубашках, и это снова минута славы. К счастью, Ты не любишь таких минут, поэтому я избавлю Тебя — но только Тебя — от вида этой улицы во Вжеще. А вот сапоги Твоих соотечественников хлюпают по грязным мартовским лужам: они идут под конвоем солдат Красной армии; улица, как весь город и весь мир, в огне. Вряд ли кто-нибудь из них вернется сюда и уж наверняка ни один здесь не поселится — они еще не понимают, что значит слово "бесповоротно", а Ты понимаешь. Поэтому мне хотелось бы видеть Тебя, вечный наивный идеалист, на этой самой улице сегодня, когда сотни автомобилей мчатся из Гданьска во Вжещ и из Вжеща в Гданьск, в трамваях слышна только шелестящая речь Ванды Пилецкой, а если уж кто и говорит на Твоем языке, то лишь студенты того самого Высшего политехнического училища на экзаменах по немецкому.

Ты удивляешься: а это что за дорожка? Куда подевалось кладбище? Так давай же, Дружище, садись на свой замечательный велосипед, и пусть эта улица навсегда останется Твоей; мне хотелось бы каждый день видеть, как Ты на синем "вандерере" катишь по Большой аллее — Ты, виртуальный, будто магическая кривая Вейерштрасса, над которой ползут всегда те же самые облака с Балтийского моря.

1. Около деревни Танненберг (теперь Стенбарк) во время Первой мировой войны (26—30.08. 1914) произошло сражение между немецкой и российской армиями, в результате которого русские войска были разбиты.

Альдо Нове

Рассказы из сборника "Самый большой мертвый кит Ломбардии"

Перевод с итальянского Геннадия Киселева

Слухи

Эту историю мне рассказала одна женщина. Ей было пятьдесят восемь лет. Она делала уколы старикам и старухам в доме для престарелых Св. Марии Сподручницы. История эта произошла, когда мне было три года.

Как-то раз эта женщина закончила дежурство в доме для престарелых, где делала уколы старикам и старухам. Перед самым ее уходом медсестры решили угостить женщину лимонным пирогом. Сначала она отказывалась. Но чтобы никого не обидеть, съела полкуска лимонного пирога.

Весь кусок был очень большой.

В восемь часов вечера женщина, которая делала уколы старикам и старухам, вернулась домой как обычно – на велосипеде. Она устала и сказала мужу, что ложится спать. Есть она не будет, потому что медсестры угостили ее лимонным пирогом. Чтобы никого не обидеть, она съела пирог. Пирог, правда, был невкусный. В нем было слишком много теста. И кусок был очень большой, поэтому она съела только половину.

Ее муж был слесарем. Он очень хотел есть.

© Giulio Einaudi, editore s.p.a., Torino, 2004
© Геннадий Киселёв. Перевод, 2005

Ладно, сказал он. Пирог так пирог. Устала так устала. Ложись спать. Спокойной ночи. Он накрыл на стол и развел шипучку из пакетика. Потом сварил себе вермишелевый супчик с бульонным кубиком "Кнорр".

Он съел вермишелевый супчик с бульонным кубиком "Кнорр", поел еще брынзы с хлебом, убрал со стола, помыл посуду, включил радио и стал слушать новости. После новостей была передача о том, как устроены реки. В передаче было слышно, как журчит вода.

Сами они с женой были с юга. К нам на север приехали после войны. С тех пор отсюда ни ногой. Кроме одного раза, когда ездили на машине к себе на юг в свадебное путешествие. Чтобы заработать на машину, оба вкалывали в поте лица. Им хотелось показать машину тем, кто остался на юге и не поехал, как они, искать работу на севере.

В тот вечер журчала речная вода всех рек мира. Вода журчала и набегала на камни. Потом вода испарялась, и получались облака. Облака проливались на землю дождем. По радио.

Слесарь уже засыпал, убаюканный журчанием воды, получавшейся из дождя, лившего из облаков по радио. Без всяких помех с соседних каналов и без треска электрических разрядов. Слесарь уже засыпал, когда в дверь позвонили.

Он встал, открыл дверь и увидел на пороге двух своих друзей. Те стояли бледные и смотрели вниз, в темноту.

Привет, чего не заходите, ночь уже, чего пришли-то?

Те двое никогда к ним не заходили, а тут вдруг пришли.

Пришли и стоят на пороге, в пол уставились.

Слесарь говорит: чего молчите-то?

Чего в пол уставились?

А один из них стоит и плачет.

Другой подходит к слесарю.

Похлопал его по плечу, помотал головой. Не сказав ни слова, они ушли.

Слесарь вернулся в дом слушать радио. Спать больше не хотелось. Он стал слушать передачу "Лицо города". Это была радиопостановка на музыку популярных эстрадных композиторов в исполнении популярных эстрадных певцов.

В радиопостановке был слышен грохот трамваев и шум толпы большого города. Такого, как Милан. А в таком городе, как наш городок, трамваев нет и людей совсем немного. Среди них — он. Идет на завод. Каждое утро, в шесть пятнадцать.

Слесарь слушал передачу о звуках большого города и снова заклевал носом. Тут в дверь постучали. Сначала тихо, потом все громче и громче. Он встал.

Открыл дверь. На пороге стояла его двоюродная сестра, с которой он давно не разговаривал. Сестра была небольшого росточка.

Они поссорились из-за того, что не смогли поделить садовый участок, доставшийся им от покойного дяди. Много лет они сажали на участке горох и тыкву. Однажды сестре расхотелось сажать горох и тыкву. Она вздумала сажать ревень и варить из него варенье. Он был против. С тех пор они друг с другом не разговаривали. Шли годы. На одной половине участка она сажала ревень, на другой он по старинке сажал горох и тыкву.

И вот тем вечером сестра стояла на пороге его дома и, как всегда, ничего не говорила. У нее был убитый вид. Она положила руку ему на плечо. Он отвернул от нее лицо, закрыл дверь и подумал: к чертям собачьим и ее, и ревень, и всю эту дурь. Тоже мне, притащилась на ночь глядя и стоит, чисто воды в рот набрала. Совсем уже тыква не варит с тех пор, как удумала сажать на дядином участке свой ревень.

Слесарь разозлился и стал крутить ручки приемника. По радио были сплошные помехи. Будто поймал русскую станцию, где примерно такие слова: *дир бул шил убесскур скум ви со бу р л ец*. В этот момент снова позвонили в дверь. Слесарь бросился открывать. За дверью стоял булочник, у которого он бывал каждый день. Ну все, хорош, сказал слесарь, что за дела, чего наладились?

Булочник сказал, что ему так жаль, так жаль, — и протянул было слесарю руку. На это слесарь сказал: совсем, что ли, все того, валите уже. Булочник отдернул руку, сказал: бедняга, и был таков. Это ужасно, ужасно, сказал он, спускаясь по лестнице.

Нервы у слесаря были на пределе. Он пошел в спальню и разбудил жену. Той снилось, что у них с мужем курятник больше, чем на самом деле, а в глубине курятника маленькая дверца, ведущая прямо в Перу. Однажды эта медсестра видела документальный фильм о Перу. Фильм ей очень понравился. Она спрашивала у разных людей, где это — Перу. Но никто не видел тот документальный фильм, его показывали поздно.

Проснувшись, медсестра сказала, что в курятнике было Перу.

Ее муж был слесарем, он сказал ей, что в курятнике не было никакого Перу. Зато, после того, как она легла спать, в их доме перебывала уйма народа. Они приходили, плакали у двери, а потом уходили.

Женщина села на кровати и спросила у мужа, кто приходил. И муж сказал кто.

Сначала пришли наши старые друзья, сказал он. Те, что работают в мраморной мастерской. Ну, еще в картишки с ними режемся. Их уже сто лет не видать, разве в булочной когда встретишь. Потом была Марта, моя сестра. Она, как высадила этот свой ревень... Ну, ты знаешь. После пришел булочник.

Жена смотрела на него в полной растерянности. Один глаз у нее был открыт, другой закрыт. Наконец она спросила, зачем они приходили.

Муж ответил ей, что не знает. Они подходили к двери, звонили в звонок, потом плакали. Может, случилось что неладное, о чем никто не знал. Может, рвануло где что-то радиоактивное.

Жена делала уколы старикам и старухам и кое-что в этом понимала. Она знала, что в какой-то момент люди начинают заговариваться. Она спросила мужа, а не поплохел ли он часом. Муж ответил, что не поплохел. Он просто сидел и слушал радио. Тут-то и началось.

Тогда жена спросила, может, он выпивши? Нет, не выпивши, ответил муж.

Муж сказал: я съел вермишелевый супчик из кубика, краюху хлеба с брынзой, убрал со стола, вымыл посуду и включил радио.

А что ты пил?

Шипучку водой развел.

А потом?

Потом ничего.

Потом ничего не пил?

Ничего.

А что ты делал?

Слушал передачи по радио.

Какие передачи?

Сначала были новости. Потом передача про то, как устроены реки. Потом была постановка о больших городах, вроде Милана, про то, какие там звуки. Под конец каналы уже не ловились, кроме одного: там говорили типа как по-русски.

Как это, по-русски?

Не помню.

Напрягись.

Что-то типа *дир бул шил убесскур скум ви со бу р л ец.*

И что это значит?

Не знаю.

Не знаешь?

Не знаю.

Ну и словечки.

Да уж.

А как ты их запомнил?

Не знаю.

Как там было?

Я же сказал.

Повтори.

Дир бул шил убесскур скум ви со бу р л ец.

Дир бул шил убесскур скум ви со бу р л ец?

Да.

А потом?

А потом я и говорю: сижу, слушаю передачу, только вздремну — снова-здорово.

Что?

Я же сказал!

Что сказал?

Что начинают трезвонить в дверь и плачут все как один, а еще норовят руку пожать или похлопать по плечу.

Неправда.

Правда.

Неправда.

Клянусь.

И все плачут?

Плачут или стоят с похоронным видом.

А потом?

А потом вот булочник кое-что сказал.

Что сказал?

Сказал, что это ужасно.

Так и сказал?

Так и сказал.

Когда спускался по лестнице.

Медсестра встала и пошла с мужем-слесарем в большую комнату.

Они молча сели за стол.

Немного подождали — а ну как снова позвонят.

Они хотели понять что к чему.

Никто не звонил.

Они не знали, что делать. Покрутили ручку настройки и настроились на волну, где говорил Папа Павел VI. Он говорил: по нашему разумению, сегодня Церковь должна составить более глубокое представление о себе и о тех духовных ценностях, коих она является наследницей и хранительницей, о той миссии, кою призвана выполнять в миру. Еще до того, как приступить к изучению какого-то отдельного вопроса, до того, как выработать отношение к окружающему ее миру, Церковь должна в настоящий момент размыслить о себе, утвердиться в осознании Божественного промысла о ней, обрести ясный свет, новую силу и высшую радость во имя своей миссии, сделать все от нее зависящее, чтобы придать более близкий, действенный и благотворный характер ее связям с человечеством, к коему относится и она сама, при всем ее своеобычии. Воистину думается нам, что таковое размышление позволит нам яснее узнать тот образ, который избрал Господь Бог, дабы открыться людям и установить с ними те религиозные отношения, коих Церковь есть одновременно орудие и воплощение. Ибо, если верно, что Божественное откровение всячески и великое множество раз содеялось во внешних и неопровержимых исторических фактах, оно же вошло в человеческое бытие путем Божественного слова и Божественной благодати, передающимися душе изнутри через восприятие благой вести о спасении и через последующее проявление веры, лежащей в основе нашего оправдания.

Так они сидели и слушали радио. Ближе к полуночи муж с женой задремали, склонив головы на вышитую скатерть. В этот момент снова раздался звонок.

Муж мигом встрепенулся.

Видишь? — сказал муж.

Женщина проснулась скорее от рывка, чем от звонка. Полусонная, она подняла голову и спросила мужа: что́ видишь?

Опять позвонили!

Позвонили в дверь?

Как тогда?

И кто это?

Ненормальные.

Что будем делать?

Я прошу, поди ты открой.

Женщина подошла к двери и открыла.

На пороге стояла ее сестра Вирджиния. Она работала на фабрике в пригороде. Рядом стоял ее муж, по профессии плотник. В руке он держал букет цветов. Оба плакали.

Когда работница фабрики увидела сестру, она завизжала и бросилась вниз по лестнице.

Потом выбежала из дома в сторону курятника.

Потом села в машину и уехала.

Ее муж стоял на месте как вкопанный, вытаращив глаза. Он сжимал в руке цветы и не говорил ни слова.

Муж медсестры тоже подошел к двери, глянул на свояка и заорал: вам что, больше поплакать негде? Чего заладили, а?

Плотник набрался храбрости, поглядел на медсестру и выпалил: а ты что, не умерла?

Как это умерла?

Слух прошел.

Какой слух?

Что умерла.

Я не умерла.

Ну, хорошо.

Ну да.

Я здорова.

Ну да.

А с чего это решили, что умерла?

С того, что прошел слух, что умерла.

Неправда.

Ну да.

Ну да.

Ну, хорошо.

Вот придурки, распускают тут слухи.

Ну да.

Ну да.

Ну да.

Ну, хорошо, что не умерла.

Да, хорошо, что не умерла.

Да уж.

Ну да.

Свояк и свояченица обнялись.

Свояк обнял заодно и свояка.
Ну, хорошо.
Что хорошо, то хорошо.
Порядок.
Ну да.
Ты жива.
Да, я здорова, я жива.
Ну, хорошо.
Ну да.
Тогда извините.
Ладно.
Слухи.
Ну да.

Дир бул шил убесскур скум ви со бу р л ец.

Дир бул шил убесскур скум ви со бу р л ец.

НЛО

У одного мужика из пригорода (там еще церковный приход, где служат по канону св. Амвросия) был мотороллер. Мотороллер действовал что надо.

Утром он на мотороллере ехал на работу. Вечером он на мотороллере ехал с работы. Работал он на заводике в Швейцарии.

Все это мужик проделывал из года в год каждый божий день. За всю свою жизнь по дороге на работу и с работы он ни разу не встретился с формами внеземной цивилизации. Не важно, представляют они какой-либо интерес или не представляют. Вся его жизнь была отдана заводику, на котором он делал маленькие разноцветные гребешки для усов. Они-то и были для него вселенной и ее формами жизни.

На завод привозили мешки с пестрыми пластмассовыми шариками. Шарики нагревали и плавили в особой машине. Получался такой коричневатый замес. Мужик готовил пресс-формы, в которые разливалась эта смесь. Смесь превращалась в тысячи спаянных между собой горячих гребешков. И все это происходило на заводике в Швейцарии, в кантоне Тичино.

Мужик охлаждал пресс-формы в холодной воде. Целыми днями он вынимал гребешки из пресс-форм. Потом ехал домой на мотороллере. Дома его ждали жена и четверо детей. Одни мальчики.

Жену звали Лючия. Она была с Сицилии. Летом Лючия работала сторожем на городском кладбище. Зимой помогала на рынке.

Первого сына звали Энрико. Он тоже работал с отцом на заводике.

Второго сына звали Сальваторе. Ему было двенадцать. Он учился в средней школе.

Третьего сына звали Калоджеро. Он учился в начальной школе.

Четвертого сына звали Маттео. Ему было три года.
Как-то вечером мужик столкнулся с признаками внеземной цивилизации.

Стояла зима.

Мужик ехал в гору. Сбоку от дороги он увидал белые мерцающие огоньки. Он ехал на мотороллере с работы. Огоньки мерцали все ярче. Он стал думать: что бы это могло быть? Он все думал: а не признаки ли это внеземной цивилизации?

Вот так смену отмолотишь в цеху, а потом поди еще растолкуй инопланетянам, что такое цех. Думал мужик, пока рулил мотиком.

Мужик не хотел упускать такую возможность. Поставил он мотороллер у стены женского монастыря и пошел навстречу огонькам. Идет мужик к огонькам, а сам думает о гребешках и космосе, об энциклопедии про ракеты, звезды и кометы и своих ребятах. Старший, Энрико, работал с ним в Швейцарии. Он ездил на работу на заводском микроавтобусе. У него пока не было такого мотороллера, как у отца.

Джованни купил мотороллер в 1972 году.

Он купил подержанный мотороллер. Тот уже пробегал два года, но был в хорошем состоянии. Модель "Lui 50 sl", рычаг переключения передач на руле, шарик фиксатора, смесь двухпроцентная, свеча резьбовая, многозаходная, 225 по шкале Bosch, моторное масло Sae 90, 160 г, карбюратор Sha 1/20, жиклер полного хода 52, жиклер холостого хода 45, одноклапанный, опережение зажигания 20–22°. Джованни долго откладывал деньги на мотороллер. Теперь мотороллер у него был. Старший сын Энрико тоже откладывал деньги с зарплаты, чтобы купить мотороллер и ездить с работы домой вместе с отцом. Отец впереди, он за ним. По старшинству. Со временем трое остальных сыновей – Сальваторе, Калоджеро и Маттео – тоже будут работать на заводике и тоже купят мотороллеры. Вечером они будут возвращаться с работы из Швейцарии все вместе. Они будут ехать в гору друг за другом.

Вот вам все семейство в полном составе:

Первый, впереди – Джованни.
За ним, второй – Энрико.
Дальше, третий – Сальваторе.
Четвертый – Калоджеро.
Замыкающий – Маттео.
Дома их ждет Лючия.

Таков был семейный план на будущее. Пока план был недовыполнен на три четверти.

Джованни слышал по радио, что в прошлом году одного рабочего из Пьемонта похитили инопланетяне. Правда, на космическом корабле рабочего принимали хорошо. Его накормили и отвели отдохнуть. Он отдохнул и рассказал марсианам о своей жизни на заводе. Те внимательно его слушали. Потом инопланетяне из радиопередачи дали рабочему

из Пьемонта денег, чтобы он купил себе участок земли и домик с гаражом.

Тем вечером Джованни поставил мотороллер у стены женского монастыря. Он шел навстречу огонькам из галактики. От волнения сердце готово было выпрыгнуть у него из груди. Он ждал, что его жизнь в корне изменится. И все благодаря мигающим огонькам из другого мира, замигавшим на самом подъеме по дороге к дому.

Старые магазины

У старых стариков бывает свой магазин. Магазин стареет вместе с ними. И уже не отличить старика от магазина, а магазин от старика.

Умирают они не обязательно в одно и то же время.

Бывает, первым умирает магазин. Бывает — старик.

Когда первым умирает старик, магазин какое-то время еще открыт. Люди заходят посмотреть, как угасают вещи, выставленные на прилавках. Они говорят с владельцем, хотя он уже умер. Они этого не замечают, большой разницы-то нет. Когда первым умирает магазин, старик делает вид, что продает то, чего уже нет. Он продает то, чего уже нет, на больничной койке. Старик думает соединиться со своим магазином где-то совсем далеко. Там, где нет конца и краю мелким лавочникам. Где магазины никогда не закрываются, потому что мертвые все время покупают то, чего не успели купить при жизни.

На том свете все продается за гроши. Если покупать в кредит, то до погашения кредита целая вечность. Платежи можно отсрочить настолько, чтобы не платить никогда. На том свете все бесплатно, хоть для вида сколько-то и стоит. Ведь бесплатно никто покупать не хочет, даже мертвые. На том свете до сих пор открыта бездна магазинов, которых на земле давно нет. На их месте появились торговые центры. Как это было, скажем, с двумя магазинами нашего городка тридцать лет назад.

В середине семидесятых у нас в городе был магазин пуговиц.

В магазине пуговиц была старушка. Ее никто не видел, потому что внутри магазина стоял полумрак. Еще там пахло плесенью и старой бумагой. В магазин неделями никто не заходил. А если и заходил, то старушка замечала его не сразу. Зашедший сначала привыкал к темноте. Потом начинал различать товар и старушку, стоявшую за прилавком.

У этой старушки были жестяные коробки из-под печенья, в которых она держала груды пуговиц. Я украдкой отрывал пуговицы от бабушкиных платьев, чтобы пойти к старушке и попросить у нее таких же. Старушка открывала все коробки, а я открывал мир пуговиц. У старушки были пуговицы в форме облака и пуговицы в форме ракушек, военные пуговицы с серпом и молотом и фашистские пуговицы с орлом, такие огромные, что и представить невозможно. Пуговицы в форме корзин с фруктами и пуговицы в виде Мадонны. Любая вещь может стать пуговицей и оказаться в ее магазине. Кроме пуговиц, у старушки были еще пи-

жамы. Они лежали ровными стопками. Пижамы не трогали лет семьдесят, а то и больше.

Еще старушка продавала мотки шпагата и ржавые иглы.

Когда старушка умерла, никто не решался закрыть ее магазин. Какое-то время он так и простоял. Все равно в магазин никто никогда не заходил. Потом магазин снесли и построили на его месте забегаловку, где продавали пиццу в нарезку и домашние макароны. Потом она закрылась, и вместо нее открылся ларек. Потом ларек закрылся. Сейчас там сделали площадь. О старушке и ее пуговицах, таких огромных, что и представить невозможно, никто уже вовек не вспомнит.

В то время у нас был еще один магазин. Он принадлежал даме, которая жила над магазином. Не то чтобы магазин был на самом деле открыт. Сначала ты сдвигал что-то вроде занавески, открывал дверь и только потом попадал внутрь. Внутри был магазин. На прилавке стоял колокольчик. Позвонишь — может, дама и спустится, что-нибудь тебе продаст или спросит, как жизнь, как дела, чей ты и откуда. В магазине продавались пасхальные яички, покрытые шоколадной глазурью. Яички были завернуты в фольгу. Внутри яичек были солдатики или переводные картинки. Еще у дамы были жвачки в виде мультяшек, и макароны россыпью в круглых стеклянных банках, и лезвия для бритья, но без бритв. Лезвия были как расплющенные жвачки с лицом Наполеона. А еще у нее были незаточенные карандаши. Дама была вдовой. Ей было девяносто лет, когда умер муж. Пятнадцать лет назад это был настоящий магазин. Потом витрины замуровали. Дама по-прежнему держала магазин и потихоньку продавала за занавеской остатки. Родители не разрешали нам ходить в этот магазин. Они говорили, что там одна гниль. Но мы, дети, все равно ходили. Мы покупали яички или смотрели на россыпи макарон.

Кости

ОДНАЖДЫ школьный учитель сказал нам, что в жизни все меняется. Взять, например, кости людей или животных. Если их поместить в нужную банку, они размякнут. Мы очень удивились. На следующий день школьный учитель принес на урок банку с какой-то вонючей жидкостью. Еще он принес куриную кость, с которой снял все мясо. Он сидел за кафедрой и показывал нам куриную кость и банку. По телевизору говорили, что мафия провела такой же опыт, как наш учитель. Только вместо курицы у мафии был человек, а вместо банки — ванна. В ванне у мафии было то же самое, что в банке у нашего учителя. Когда человека положили в ванну, он весь размяк, а потом совсем исчез. Мафия вылила воду и рассказала про это в теленовостях.

Учитель говорил, размахивая куриной костью. Он сказал, что кости содержат вещество под названием кальций. Чем дольше живешь, тем меньше его в костях. Когда кальция остается мало, кости ломаются, старики падают с лестницы и умирают. Потом учитель стал говорить о жизни. Он сказал, что сами мертвые умерли, но тело их живет, потому

что в него проникает куча разных букашек. Они превращают тело в такие маленькие тельца, которые полезны для земли. Мало-помалу тельца становятся деревьями. Когда деревья тоже умирают, букашки делают из них другие деревья. И так до тех пор, пока на свете не останутся одни деревья.

Если деревья засунуть в банку с вонючей жидкостью, они тоже размякнут. А если подержать их в банке весь день, они растворятся. Были — и нет их.

Тецуин 28 – GO, и еще 22 робота, сбежавших из магазина игрушек в центре города, чтобы захватить власть в мэрии, а затем и на всей земле

ОДНАЖДЫ роботы из магазина игрушек в центре города выбрались из своих коробок, сняли с себя ценники и двинулись маршем на мэрию, чтобы захватить всю власть, какую только могут поначалу захватить мини-роботы, прежде чем всецело покорить планету, на которой мы живем вместе с игрушечными роботами.

Взрослые жители города не замечали роботов, потому что это были мини-роботы и они шли гуськом по обочине тротуара.

А может, и замечали, но думали, что этого не может быть. Не может быть, чтобы роботы шли гуськом по обочине тротуара. Потому что взрослые по-своему тоже роботы. Сначала они производят на свет детей. Потом программируют свои головы так, чтобы видеть только то, что хотят видеть. Они живут и видят только то, о чем сказали в теленовостях.

Даже когда они видят все остальное, они просто пожимают плечами и убирают это из программ, которые объясняют в их сознании, что они увидели, и что сказали дети.

Из магазина игрушек в центре города сбежали следующие роботы:

1) Тецуин 28 — GO. Нос как у дятла, глаза желтые. На спине закреплен робот-щенок, наблюдающий за местностью. Ноги как у пластмассового гуся, мягкие и зеленые. Тецуин 28 — GO шагал впереди всех;

2) Миррор Мэн, Ультра Мэн и Ультра 7. По бокам зафиксированы пружины для пружинистого перемещения к мэрии. По ходу движения шаркают красными (Миррор Мэн и Ультра Мэн) и серебристыми (Ультра 7) космическими сапогами.

У Миррора Мэна очки космического горнолыжника и желтые руки.

У Ультра Мэна гусиная голова, вместо глаз — две пуговицы.

У Ультра 7 голова в форме церкви и красный тренировочный костюм "Adidas" из лунного металла;

3) Робот U-5. Вместо шеи диск в форме золотого цехина. Под диском приборный щиток, по нему ясно, сколько у U-5 осталось энергии, чтобы дойти до мэрии. Руки в форме оранжевых клещей;

4) Робот-истерик. Ноги в форме пылесоса. Живот заклепан черными болтами. На животе тахометр. Там же имеется ящик, из которого Робот-истерик изрыгает гневные послания против всей страны. Рот усеян зубами. Очки с рентгеновскими лучами. Зеленый фосфоресцирующий мозг зажигается каждый раз, когда случайный прохожий может на него наступить;

5) Роботанк-Z. Самоходная банка говяжьей тушенки "Simmental", на гусеничном ходу. Без изображения коровы. Сверху вращается голубая банка свиной тушенки Manzotin. Утыкана пулеметами, минометами и антеннами для приема сигналов с Альфа Центавра и Марса. По обе стороны у Роботанка-Z установлены готовые к пуску ракеты. На башне постоянно крутятся треугольные транзисторы, пока не сядут батарейки;

6) Робот Майк. Оснащен пультом управления. Радиус действия – до самой мэрии. Ноги белые, трубчатые. Корпус в форме радио, для прослушивания воскресных футбольных репортажей. Лицо грустное. Руки круглые, в форме лего;

7) Робот RT-8. Выполнен в виде молочного пакета тридцатилетней давности, превращенного в маленький танк. Руки-молотки из желтого пластика сложены как у игрушек в пасхальных яйцах. Вместо глаз вентиляторы. В механических волосах желтый пропеллер;

8) Робот-шестерня № 1 и № 2. У робота-шестерни № 1 вместо живота прозрачное окошко. В окошке видны шестеренки, приводящие робота в действие. Две самые большие шестеренки желтые. Робот-шестерня № 2 такой же, как робот-шестерня № 1. С той лишь разницей, что самые большие шестеренки у него светло-зеленые. У обеих шестеренок имеются рычаги, как у телефонов-автоматов;

9) Робот-луноход. Во лбу горит красная лампочка. Железный нос в форме плавленого сырка. В животе часы без циферблата, только с часовой и минутной стрелками. В голову впаян металлический треугольник. Руки в форме крестовой отвертки, снизу – белые, сверху – желтые;

10) Охгон Бэт. Корпус как у электронного Бада Спенсера. Голый, в коричневом плаще с алым подбоем;
Голова в виде черепа космического пришельца. В руке скипетр уничтожения человечества;

11) Ультра Мэн Лео. Весь красный. Вместо сердца жестяной рычаг переключения скоростей для увеличения скорости движения к мэрии. Голова в форме богомола. Оранжевые прямоугольные глаза с прорезями для монет. Монеты опускаются внутрь, как в копилку;

12) Астро Мэн. Голова вдвое больше корпуса. На голове красный пластмассовый шлем. Из-под шлема выглядывает печальное лицо. Оно опеча-

лено своим физическим недостатком по сравнению с другими роботами, идущими к мэрии.

В живот Астро Мэна вделана клавиша *выкл.* и клавиша *вкл.*, а также воздухопровод внутренней вентиляции ярко-оранжевого скафандра;

13) Астронавт Роско. Треугольный живот. Соединен двумя белыми трубками со спиной. Астронавт Роско дышит кислородом, производимым в его животе. Он синтезирует энергию магазинных батареек. Энергия расходится по его жестяному корпусу, доходя до головы. Голова расположена внутри прозрачного колпака. Внутри колпака — белый шлем. Внутри шлема — полное решимости лицо Астронавта Роско;

14) Метаморф. Ноги в форме воздушного кондиционера. Зеленые. Корпус в виде рации и одновременно губки. По центру живота — радиоактивная кастрюля. Кнопка огня из всех орудий — в самом сердце. Голова дракона, красная с золотистым отливом. Голова открывается и выпускает голову Иисуса-младенца, сделанного из прессованного порошка для мытья посуды;

15) Астронавт Дейза. На спине кислородные баллоны наподобие пальчиковых батареек и ружье с прозрачным наконечником ствола. Лицо новорожденного ребенка. На голове — красная галактическая шапочка для душа. Сплющенные прямоугольные ноги в пупырчатых кнопках;

16) Робот-угадай-ка. Безногий. В основании космического тела красная пирамида. Напоминает юбку. Под такой удобно продвигаться к мэрии. В животе — десять клавиш, как в калькуляторе, с цифрами от одного до десяти. Вместо рта гриль для барбекю. В глазницах два стеклянных шарика с кусочками картона в форме желтоватых зрачков;

17) Робот-курилка. Весь черный. В центре туловища — спидометр и кнопка для выпуска дыма из головы. Восемь пластмассовых винтов т-образной формы образуют нос и довольно густые космические брови;

18) Робот Атом. Выполнен в виде межгалактической металлической монахини. Вместо грудей — ручки переключения телеканалов. Ручки регулировки электромагнитных волн ниже пупка. На плечах — микрофоны, издающие космический скрежет. На голове красный железный экран для защиты голубого кибернетического мозга;

19) Робот Акробот. Голова на месте ног. Целиком синий. Передвигается на руках. Под каждой рукой пластиковые ролики. На груди по голубому идет красная надпись АКРОБОТ. Внизу, точнее вверху, поскольку Акробот ходит вниз головой, установлена круглая рация с треугольным заострением книзу;

20) Робот Йонезава. Лицо бледное как полотно. Как будто забинтовано. Не исключено, что из-за сильных ожогов, полученных от чрезмерно долгого перемещения по Марсу без солнечной защиты. На голове полицейская сирена. Повсюду кнопки включения различных функций. С помощью вращения пружины, закрепленной на левом боку, у Йонезавы

начинают кровоточить пальцы. Черные ноги стянуты белыми болтами. Руки гнутся в нескольких точках взад-вперед, как в конструкторе;

21) Робот-редуктор. Ноги как у надувного человека-символа фирмы "Michelin", только черные. В животе множество шестеренок. Они вращаются по часовой и против часовой стрелки. Шестеренки – белые, синие, красные, оранжевые, светло-голубые, полупрозрачные. Лицо у робота-редуктора невеселое. Узкий, прямоугольный рот. Вместо зубов – маленькие красные кнопки;

22) Робот Йон Той. Ноги в форме лягушачьих лапок из зеленого пластика. На пружинах. Лицо как у куклы-марионетки. Груди в виде счетчиков Гейгера. Металлические губы накрашены красной металлической помадой. На спине – белая антенна с загнутым кончиком и надписью РОБОТ;

23) Робот ТВ. Через плечо перекинут красный резиновый жгут в форме антенны. Посреди черного металлического живота телеэкран. На экране демонстрируются диапозитивы галактик. При появлении диапозитива солнечной системы, если присмотреться, видно Землю, Европу, Италию,

Ломбардию, Милан, чуть выше Галларате, Бусто, Арсицио, Традате, Варезе, Мальнате, Виджу́. Если как следует вглядеться, видно начало виа Рома, 23 робота на выходе из магазина игрушек и среди них – робот ТВ. Они движутся маршем на мэрию,

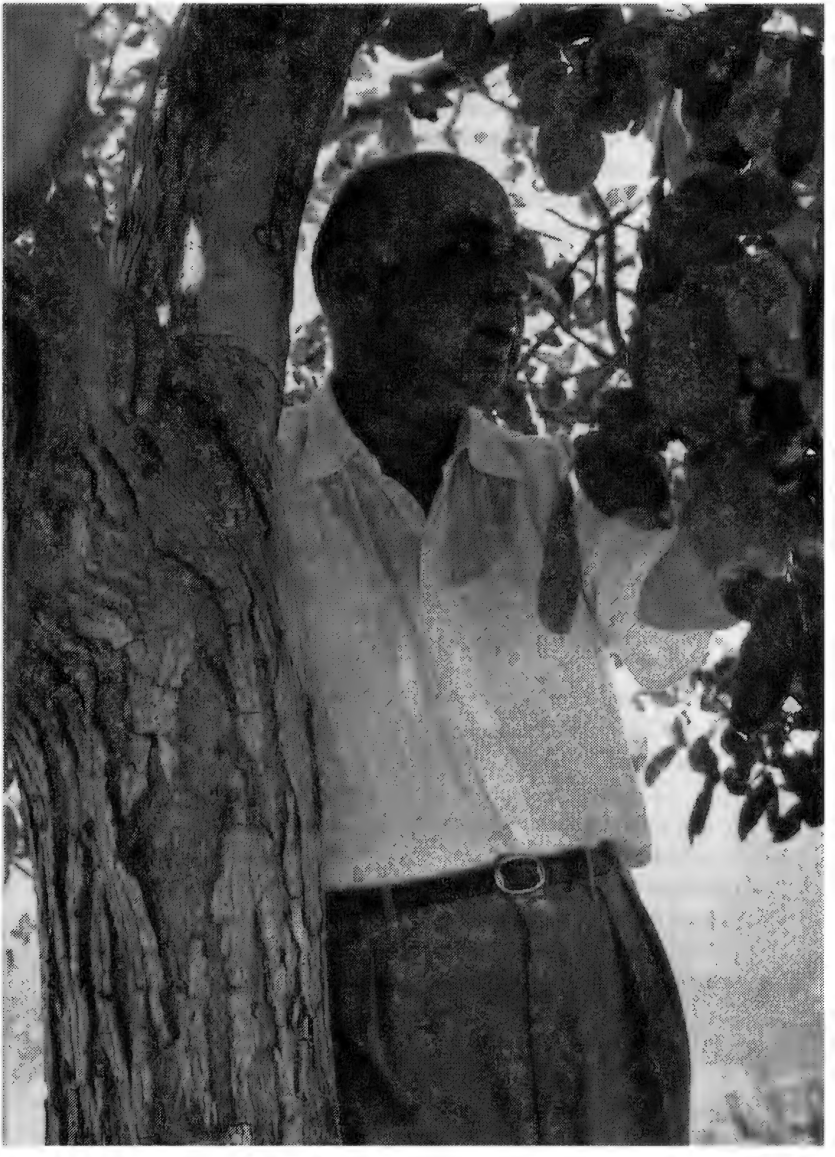
чтобы захватить всю власть, какую только могут поначалу захватить мини-роботы, прежде чем всецело покорить планету, на которой мы живем вместе с игрушечными роботами. Взрослые жители города не замечали роботов, потому что это были мини-роботы, и они шли гуськом по обочине тротуара. А может, и замечали, но думали, что этого не может быть. Не может быть, чтобы роботы шли гуськом по обочине тротуара. Потому что взрослые по-своему тоже

роботы. Сначала они производят на свет детей. Потом программируют свои головы так, чтобы видеть только то, что хотят видеть. Они живут и видят только то, о чем сказали в теленовостях. Даже когда они видят все остальное, они просто пожимают плечами и убирают это из программ, которые объясняют в их сознании, что они увидели, и что сказали дети. Из магазина игрушек в центре города сбежали следующие роботы: 1) Тецуин 28 – GO. Нос как у дятла, глаза желтые. На спине закреплен робот-щенок, наблюдающий за местностью. Ноги как у пластмассового гуся, мягкие и зеленые. Тецуин 28 – GO шагал впереди всех; 2) Миррор Мэн, Ультра Мэн и Ультра 7. По бокам зафиксированы пружины для пружинистого перемещения к мэрии. По ходу движения шаркают красными (Миррора Мэн и Ультра Мэн) и серебристыми (Ультра 7) космическими сапогами. У Миррора Мэна очки космического горнолыжника и желтые руки. У Ультра Мэна гусиная голова, вместо глаз – две пуговицы. У Ультра 7 голова в форме церкви и красный тренировочный костюм "Adidas" из лунного металла; 3) Робот U-5. Вместо шеи диск в форме золотого цехина. Под диском приборный щиток, по нему ясно, сколько у U-5 осталось энергии, чтобы дойти до мэрии. Руки в форме оранжевых клещей; 4) Робот-истерик. Ноги в форме пылесоса. Живот заклепан черными болтами. На животе тахометр. Там же имеется ящик, из которого Робот-истерик изрыгает гневные послания против всей страны. Рот усеян зубами. Очки с рентгеновскими лучами. Зеленый фосфоресцирующий

мозг зажигается каждый раз, когда случайный прохожий может на него наступить; 5) Роботанк-Z. Самоходная банка говяжьей тушенки "Simmental", на гусеничном ходу. Без изображения коровы. Сверху вращается голубая банка свиной тушенки Manzotin. Утыкана пулеметами, минометами и антеннами для приема сигналов с Альфа Центавра и Марса. По обе стороны у Роботанка-Z установлены готовые к пуску ракеты. На башне постоянно крутятся треугольные транзисторы, пока не сядут батарейки; 6) Робот Майк. Оснащен пультом управления. Радиус действия – до самой мэрии. Ноги белые, трубчатые. Корпус в форме радио, для прослушивания воскресных футбольных репортажей. Лицо грустное. Руки круглые, в форме лего; 7) Робот RT-8. Выполнен в виде молочного пакета тридцатилетней давности, превращенного в маленький танк. Руки-молотки из желтого пластика сложены как у игрушек в пасхальных яйцах. Вместо глаз вентиляторы. В механических волосах желтый пропеллер; 8) Робот-шестерня № 1 и № 2. У робота-шестерни № 1 вместо живота прозрачное окошко. В окошке видны шестеренки, приводящие робота в действие. Две самые большие шестеренки желтые. Робот-шестерня № 2 такой же, как робот-шестерня № 1. С той лишь разницей, что самые большие шестеренки у него светло-зеленые. У обеих шестеренок имеются рычаги, как у телефонов-автоматов; 9) Робот-луноход. Во лбу горит красная лампочка. Железный нос в форме плавленого сырка. В животе часы без циферблата, только с часовой и минутной стрелками. В голову впаян металлический треугольник. Руки в форме крестовой отвертки, снизу – белые, сверху – желтые; 10) Охгон Бэт. Корпус как у электронного Бада Спенсера. Голый, в коричневом плаще с алым подбоем. Голова в виде черепа космического пришельца. В руке скипетр уничтожения человечества; 11) Ультра Мэн Лео. Весь красный. Вместо сердца жестяной рычаг переключения скоростей для увеличения скорости движения к мэрии. Голова в форме богомола. Оранжевые прямоугольные глаза с прорезями для монет. Монеты опускаются внутрь, как в копилку; 12) Астро Мэн. Голова вдвое больше корпуса. На голове красный пластмассовый шлем. Из-под шлема выглядывает печальное лицо. Оно опечалено своим физическим недостатком по сравнению с другими роботами, идущими к мэрии. В живот Астро Мэна вделана клавиша *выкл.* и клавиша *вкл.*, а также воздухопровод внутренней вентиляции ярко-оранжевого скафандра; 13) Астронавт Роско. Треугольный живот. Соединен двумя белыми трубками со спиной. Астронавт Роско дышит кислородом, производимым в его животе. Он синтезирует энергию магазинных батареек. Энергия расходится по его жестяному корпусу, доходя до головы. Голова расположена внутри прозрачного колпака. Внутри колпака – белый шлем. Внутри шлема – полное решимости лицо Астронавта Роско; 14) Метаморф. Ноги в форме воздушного кондиционера. Зеленые. Корпус в виде рации и одновременно губки. По центру живота – радиоактивная кастрюля. Кнопка огня из всех орудий – в самом сердце. Голова дракона, красная с золотистым отливом. Голова открывается и выпускает голову Иисуса-младенца, сделанного из прессованного порошка для мытья посуды; 15) Астронавт Дейза. На спине кислородные баллоны наподобие пальчиковых батареек и ружье с прозрачным наконечником ствола. Лицо новорожденного ребенка. На голове – красная галактическая шапочка для душа. Сплющенные прямоугольные ноги в пупырчатых кнопках; 16) Робот-угадай-ка. Безногий. В основании космического тела красная пирамида. Напоминает юбку. Под такой удобно продвигаться к мэрии. В животе – десять клавиш, как в калькуляторе, с цифрами от одного до десяти. Вместо рта гриль для барбекю. В глазницах два стеклянных шарика с кусочками картона в форме желтоватых зрачков; 17) Робот-курилка. Весь черный. В центре туловища – спидометр и кнопка для выпуска дыма из головы. Восемь пластмассовых винтов т-образной формы образуют нос и довольно густые космические брови; 18) Робот Атом. Выполнен в виде межгалактической металлической монахини. Вместо грудей – ручки переключения телеканалов. Ручки регулировки электромагнитных волн ниже пупка. На плечах – микрофоны, издающие космический скрежет. На голове красный железный экран для защиты голубого кибернетического мозга; 19) Робот Акробот. Голова на месте ног. Целиком синий. Передвигается на руках. Под каждой рукой пластиковые ролики. На груди по голубому идет красная надпись АКРОБОТ. Внизу, точнее вверху, поскольку Акробот ходит вниз головой, установлена круглая рация с треугольным

заострением книзу; 20) Робот Йонезава. Лицо бледное как полотно. Как будто забинтовано. Не исключено, что из-за сильных ожогов, полученных от чрезмерно долгого перемещения по Марсу без солнечной защиты. На голове полицейская сирена. Повсюду кнопки включения различных функций. С помощью вращения пружины, закрепленной на левом боку, у Йонезавы начинают кровоточить пальцы. Черные ноги стянуты белыми болтами. Руки гнутся в нескольких точках взад-вперед, как в конструкторе; 21) Робот-редуктор. Ноги как у надувного человека-символа фирмы "Michelin", только черные. В животе множество шестеренок. Они вращаются по часовой и против часовой стрелки. Шестеренки – белые, синие, красные, оранжевые, светло-голубые, полупрозрачные. Лицо у робота-редуктора невеселое. Узкий, прямоугольный рот. Вместо зубов – маленькие красные кнопки; 22) Робот Йон Той. Ноги в форме лягушачьих лапок из зеленого пластика. На пружинах. Лицо как у куклы-марионетки. Груди в виде счетчиков Гейгера. Металлические губы накрашены красной металлической помадой. На спине – белая антенна с загнутым кончиком и надписью РОБОТ; 23) Робот ТВ. Через плечо перекинут красный резиновый жгут в форме антенны. Посреди черного металлического живота телеэкран. На экране демонстрируются диапозитивы галактик. При появлении диапозитива солнечной системы, если присмотреться, видно Землю, Европу, Италию, Ломбардию, Милан, чуть выше Галларате, Бусто, Арсицио, Традате, Варезе, Мальнате, Виджу́. Если как следует вглядеться, видно начало виа Рома, 23 робота на выходе из магазина игрушек и среди них – робот ТВ. Они движутся маршем на мэрию, чтобы захватить всю власть, какую только могут поначалу захватить мини-роботы, прежде чем всецело покорить планету, на которой мы живем вместе с игрушечными роботами. Взрослые жители города не замечали роботов, потому что это были мини-роботы и они шли гуськом по обочине тротуара. А может, и замечали, но думали, что этого не может быть. Не может быть, чтобы роботы шли гуськом по обочине тротуара. Потому что взрослые по-своему тоже р

Сеферис, или Путь Одиссея



© И. Ковалева. Составление, 2005

Редакция журнала и составитель выражают глубокую признательность госпоже Анне Лонду, издательству "Ikaros" и госпоже Х. Кариди за право публикации текстов Г. Сефериса.
Публикация подготовлена при поддержке фонда Е. и К. Ураписов, которому составитель и переводчик выражает искреннюю признательность.

Георгос Сеферис

Подражание Г. С.

Перевод с новогреческого Ирины Ковалевой

Куда бы я ни пустился, Греция ранит меня.

На Пелионе в каштановой роще одеянье Кентавра
змеилось меж листьев нацелясь обвить мое тело
пока я поднимался по склону и море шло следом
поднимаясь подобно столбику ртути
пока мы не вышли к источникам вод.

На Санторине где я касался тонущих островов
слышал пастушью свирель поющую в пемзовых скалах
руку мне пригвоздила к фальшборту
стрела пущенная внезапно
от пределов юности что померкла.

В Микенах я поднял огромные глыбы и казну Атридов
и возлег с ними в гостинице "Прекрасная Елена Спартанская"
они пропали лишь на заре когда пропела Кассандра
петел свисал с ее почернелого горла.
На Спецес на Поросе на Миконосе
меня истязали баркаролы.

Что им нужно всем тем кто говорит
будто они в Афинах или в Пирее?
Один прибывает с Саламина и спрашивает соседа,
не "с площади Согласия" ли он идет
"Не, я с площади Конституции" отвечает тот и рад-радехонек
"Встретил Янниса, и он угостил мороженым".
Греция меж тем пускается в путь
мы ничего не знаем не знаем что всех нас списали на берег
не знаем как горько в порту когда все корабли отчалят
презираем тех кто чувствует горечь.

Странный народ – говорят, что они в Аттике, а сами нигде
покупают свадебные сласти
ищут средства от облысения снимаются
человек – я видел сегодня – садится на фоне голубков и цветочков
и хочет чтобы старый фотограф убрал ему морщины

© Ирина Ковалева. Перевод, 2005

что оставили на его лице
все птицы небесные.

Греция меж тем снимается с места пускается в путь
и если мы "видим, как мертвецами цветет Эгейское море"[1], –
это те, кто хотел добраться до корабля вплавь
те, кто устал дожидаться кораблей, неспособных отчалить
"ЭЛСИ", "САМОФРАКИЮ", "АМВРАКИЙЦА".
Корабли дают гудок теперь когда в Пирее вечереет
они гудят и гудят но ни одна лебедка не дрогнет
ни одна мокрая цепь не блеснет в последнем свете заката
капитан недвижен как статуя среди белого и золотого.

Куда бы я ни пустился, Греция ранит меня
складки гор острова голые скалы...
Отчалившее судно называется "АГ ОНИЯ 937".

Пароход "Авлида"[2], в ожидании отправления.
Лето 1936 года

1. Эсхил. Агамемнон, 659.
2. Авлидой называлось место, где, согласно мифу, ахейский флот медлил в ожидании попутного ветра, чтобы отплыть в Трою. (*Прим. перев.*)

Ирина Ковалева

"Куда бы я ни пустился, Греция ранит меня...": странствие Сефериса

Давно замечено, что есть поэты "с биографией" и "без биографии": одни участвуют в революциях, сидят в тюрьмах, восходят на эшафот... Другие служат всю жизнь в какой-нибудь скучнейшей конторе – хорошо еще, если в издательстве (как Элиот), а то и в Управлении мелиорации (как Кавафис). Георгос Сеферис, первый греческий лауреат Нобелевской премии по литературе, избирая в юности карьеру дипломата (дипломата – не разведчика), рассчитывал, вероятно, на тихую бумажную работу вроде выдачи виз в консульстве. Биографию ему "сделал" XX век.

Время и место рождения поэта можно понять символически: Георгос Стилиану Сефериадис (таково настоящее имя Сефериса) родился в тот самый день, благодаря которому високосный год становится високосным, на пороге нового столетия – 29 февраля 1900 года, в Смирне – древнейшем греческом городе Малой Азии: Смирна числится среди тех "семи городов", которые претендовали называться родиной Гомера. При жизни Сефериса эта территория принадлежала Турции, принадлежит и теперь, Смирну называют на турецкий лад – Измир. Некий символ можно усмотреть в самой фамилии поэта, производной от арабского корня *sefer* – "странствие"[1] (отсюда же "сафари"). Так имя Одиссея древние греки связывали с глаголом *odyssomai* – "гневаться" – и объясняли злоключения героя тем, что ему "на роду написано" было вызывать гнев богов. Сеферису на роду написано было странствовать. Должно быть, он это ощущал, ибо в нобелевской речи сравнил себя с Одиссеем, сказав, что чувствует, наконец, что он "'никто': в том смысле, в каком употребил это слово Одиссей, отвечая циклопу Полифему – я Никто, Οὔτις, – растворяющийся в таинственном потоке греческой традиции"[2]. Наверное, неслучайно, рассказывая о жизни Сефериса, приходится так много говорить о современной греческой (да и не только греческой) истории – он от нее неотделим.

Отец Сефериса, Стелиос Сефериадис, был преуспевающим адвокатом, знатоком международного права – и литератором-дилетантом. Дилетантом в старинном, не ругательном смысле слова: профессионалом высокого класса он был в другой области, но, например, в городском те-

© Ирина Ковалева, 2005

1. В греческом языке есть еще одно слово, произведенное от этого корня: *seferi* – "войско в походе". Сеферис помнил об этом, давая своему литературному alter ego имя Стратис – оно происходит от слова *stratos*: то же, что *seferi*, только корень – не арабский, а древнегреческий.

2. Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – перев. автора.

атре Смирны трагедию Софокла "Царь Эдип" в 1910 году поставили в переводе на новогреческий язык, сделанном Стелиосом Сефериадисом. Именно подражая отцу, сочинял свои первые стихи тринадцатилетний Георгос. Страсть к литературе унаследовали и младшие дети Сефериадисов, в особенности Иоанна[1], долгие годы ближайший друг и корреспондент старшего брата, автор широко известных в Греции воспоминаний "Мой брат Георгос Сеферис". Семья была по тогдашним меркам обеспеченной; дед Сефериса со стороны матери, торговавший виноградом (это не его, конечно, имел в виду Элиот: "мистер Евгенидис, купец из Смирны", – но портрет получился удивительно точный), выстроил дом в окрестностях древних Клазомен, и Георгос мальчиком проводил там летние каникулы.

В 1914 году началась Первая мировая война. Семья Сефериадисов перебирается в Афины, и Георгос заканчивает гимназию уже там. Никто еще не знает, что родной дом ему не суждено будет увидеть более никогда и что Великое Странствие Сефериса уже началось. В 1918 году следует еще один переезд – на сей раз в сердце Европы: в Париж. Георгос изучает право – греческому юноше из "хорошей семьи" в те годы полагалось поступать на юридический факультет, – читает запоем французских поэтов, мерзнет в дешевой меблирашке, влюбляется, пишет стихи... В Париже его застает известие о поражении греков в войне с Турцией – о так называемой "малоазийской катастрофе" 1922 года.

События 1922 года играют примерно ту же роль в современной истории Греции, что события 1917-го – в истории России. Политический авантюризм, военные неудачи, предательство и кровь невинных; резня в Смирне[2]; полтора миллиона беженцев – греческое население Малой Азии было выселено из принадлежавших Турции районов. Судьба беженцев, по крайней мере поначалу, была нелегкой – им пришлось покидать родные места, как это обыкновенно происходит при депортациях, "в чем были". В единственном романе, написанном Сеферисом – "Шесть ночей на Акрополе", – главный герой, Стратис, имеющий много черт, роднящих его с автором, записывает в дневнике: "Сегодня услышал от одного беженца такое: спасаясь от преследований, они высадились на неком греческом острове. Лавки, дома, двери, окна враз затворились. Он сам, с женою, в толпе таких же, как они. Младенец шесть дней не ел – плачет-заливается. Жена просила воды. В каком-то доме ей наконец ответили: 'Деньги давай'. Отец продолжает: 'Что мне было делать, кир Стратис? Плюнул я в рот своему дитю, чтоб унять жажду'".

Сеферис не любил – и, вероятно, справедливо, – когда всю проблематику его поэзии сводили к трагическому опыту малоазийской катастрофы, но вряд ли возможно отрицать, что этот опыт наложил неизгладимый отпечаток и на его личность, и на его творчество. Пока же, получив в 1924 году диплом и посетив Англию, Сеферис возвращается в Афины и в 1926-м поступает на службу в Министерство иностранных дел в должности атташе. Начинается многолетняя дипломатическая ка-

1. Впоследствии жена Константиноса Цацоса, президента Греческой республики.
2. Совсем недавно об этом написал грек, имеющий уже американские корни, но по странной случайности носящий фамилию элиотовского "купца из Смирны" – Джеффри Евгенидис. В романе "Средний пол" (2002; рус. перев. – СПб.: Амфора, 2003) он описывает то, что случилось когда-то с его прадедами, – но, как сказал однажды Сеферис, "Память, где ее ни коснешься, болит..."

рьера, отнимающая много сил, временами приводящая поэта в отчаяние, — и все-таки он никогда не решится оставить ее (пока того не потребует возраст): для него было немыслимо сделать *службой* что-либо связанное с литературой. Вряд ли мог бы работать в газете человек, записавший в дневнике: "Я пишу, как другие вскрывают вены".

Опыт молодости Сефериса — это опыт одиночества. Одиночества человеческого, личного: в Париже и Лондоне он жил один (в Париже — несколько лет, в Лондоне — несколько месяцев), в разлуке с семьей, отношения с любимой женщиной не выстроились и закончились разрывом; по-настоящему близких друзей на чужбине не было; на родину — в Смирну — возврата не было. Но и в современной ему греческой литературе, прежде всего в поэзии, Сеферис — во всяком случае, в начале пути — чувствовал себя одиночкой. Его старшими современниками были Костис Паламас, Ангелос Сикельянос и Костас Варналис[1]. В эти же годы в египетской Александрии создает свои шедевры К. П. Кавафис, но время его славы еще впереди, и Сеферис поначалу, по его собственному признанию, воспринял Кавафиса лишь как "холодного парнасца" и не заинтересовался его творчеством. Куда ближе — и по возрасту, и по трагическому мировосприятию — был Сеферису К. Кариотакис[2]. Он совершил тот шаг, к которому Сеферис, насколько можно судить по воспоминаниям его сестры, в парижские годы подошел довольно близко: в 1928 году Кариотакис покончил с собой. Есть основания предполагать, что именно поступок Кариотакиса навсегда "закрыл" для Сефериса тему самоубийства. В первые десятилетия XX века наиболее близкой по духу Сеферису была французская поэзия, прежде всего Лафорг[3] и Валери. Недаром впервые Сеферис появился в печати как переводчик Валери — сделанный им перевод "Вечера с господином Тестом" увидел свет в 1928 году. В конце 1931 года в Лондоне Сеферис познакомился с поэзией Элиота, которая глубоко взволновала его, — и навсегда остался ее страстным почитателем.

Свой первый поэтический сборник — "Поворот" — Сеферис опубликовал довольно поздно: в 1931 году. Ему тогда был 31 год. Греческие названия бывает трудно переводить, потому что греческие слова иногда живут в других языках в своей исконной форме, но с сильно сдвинутым значением. Вот и слово "строфа" значит прежде всего "поворот": хор в древней трагедии не только пел, но и пританцовывал, и там, где, дойдя до края орхестры, хор делал *поворот*, кончалась одна ритмически организованная часть его партии — *строфа* — и начиналась другая. Со временем "строфа" стала поэтическим термином, забывшим о своем театральном происхождении, — но не в греческом языке! Сеферис, как полагает большинство критиков, имел в виду прежде всего терминологическое значение слова[4], но практически сразу дебютный сборник Сефериса был воспринят как рубеж, знак изменения, начало нового пути. "Вот по-

1. Костис Паламас (1859–1943), Ангелос Сикельянос (1884–1951), Костас Варналис (1884–1974) — выдающиеся греческие поэты.
2. Костас Кариотакис (1896–1928) — греческий поэт.
3. Жюль Лафорг (1860–1887) — французский поэт-символист.
4. Возможно, это название — дань уважения Жану Мореасу (1856–1910) — греку по национальности и французскому поэту, чья судьба очень волновала молодого Сефериса. Лекция о Мореасе, прочитанная перед греческими студентами, обучающимися в Париже, — его первое публичное литературное выступление (1921). Мореасу принадлежит книга стихов "Stances", что на русский переводится как "Стансы", а на греческий — как "Strofai".

ворот, который внезапно совершает наша молодая поэзия", – заметил опытный и зоркий Костис Паламас. Вероятно, Сефериc ощущал двусмысленность названия – и сознательно его использовал. Как бы то ни было, эта книга сразу поставила Сефериса в первый ряд молодых поэтов его поколения и во многом определила дальнейшее развитие греческой поэзии. "Поворот" действительно отмечает начало новой поэтики. Сеферис отказывается от романтизма и избыточного лиризма поэтов старшего поколения, он старательно избегает местоимения "я", предпочитая выражения во втором лице или нарочито-объективные описания – в третьем; утверждает в греческой поэзии новые принципы: сдержанность и простоту языка при сложности поэтической мысли. В "Повороте" уже намечены основные темы Сефериса: история и злободневная современность, Греция и Европа, одиночество и любовь, смерть и память. Он отдает дань традиции народного греческого стиха – пятнадцатисложника, которым написан шедевр новогреческой литературы – "Эротокритос" В. Корнароса[1] (к стыду нашему, до сих пор совершенно у нас неизвестного), и из того же "Эротокритоса" берет эпиграф к первой части "Поворота". К другой же части, как раз написанной пятнадцатисложником, эпиграфом служит древний Пиндар. Сеферис отчасти указывает читателю на свои ориентиры – таковым служит, например, эпиграф из Эдгара По. Влияние Валери и Лафорга читатель должен был обнаружить сам. И, конечно, здесь присутствует Гомер – постоянный и, может быть, самый важный собеседник Сефериса. В стихотворении "Спутники Одиссея в аду" Сеферис делает то, что редко делал его великий земляк, – он дает слово не герою, страдальцу, но победителю Одиссею, – а его спутникам: тем, что пошли за ним на войну и, возвращаясь домой через много лет, гибли один за другим – иногда по своей вине, иногда по его; домой не вернулся никто, кроме Одиссея. У Гомера о странствии повествует сам Одиссей, и в его рассказ лишь изредка вплетаются голоса спутников. У Сефериса говорят все товарищи Одиссея, уже погибшие; они вспоминают тот роковой день, когда послушались Еврилоха и тем обрекли себя на проклятие и неминуемую смерть. В дальнейшем Сеферис не раз будет обращаться и к теме Одиссея, и к теме его спутников, и отдельно к Эльпенору, – но, главное, в его поэзии будет звучать столь многозначительное "мы". Сеферис, разумеется, не единственный из греческих и тем более европейских поэтов XX века, кто использовал гомеровские мотивы: но если, например, для Кавафиса (в его хрестоматийной ныне "Итаке") долгое странствие Одиссея – это "путь приключений, путь чудес и знаний", то для Сефериса это прежде всего путь утрат и нарастающего одиночества:

Он говорит мне, какая боль – чувствовать, что паруса твоего корабля надувает память, а сердце делается рулем, –

А ты один, один – темный среди ночи и неуправляемый, как солома, что ветер несет над гумном.

Какая горечь – видеть, как твои товарищи тонут среди стихий, исчезают один за другим,

1. Винченцо (Викентиос) Корнарос (1553–1613/14?) – великий греческий поэт эпохи так называемого Критского Возрождения.

и как странно ты напрягаешь силы, говоря с мертвыми, когда уже не довольно обращаться к оставшимся у тебя живым.

Поверх чужого стиха

Тема национальной традиции как сокровенного истока жизни продолжается и во втором сборнике, "Водоем", опубликованном в 1932 году тиражом 50 экземпляров. Еще через три года, в 1935 году, выходит "Роман-миф"[1].

"Роман-миф" – еще одно труднопереводимое заглавие: слово *mythistorima* в современном греческом языке обозначает жанр романа, но Сеферис активизирует оба древних корня, входящих в его состав: "миф" и "история". Объясняя свой замысел, Сеферис скажет позднее, что хотел написать "Одиссею" – "но 'Одиссею' наоборот". В 24 стихотворениях (или главах), составляющих эту книгу (вслед за традиционным делением гомеровских поэм на 24 песни – по числу букв греческого алфавита), поэт дает слово множеству персонажей древней мифологии – и Оресту, и Андромеде, и аргонавтам – и вспоминает своих великих предшественников: здесь и аллюзии на Гомера, и цитаты из Эсхила... Повествование в "Романе-мифе" ведется то от лица "я", то от лица "мы" – но кто эти "мы"? Одиссей ли это, дойдя до конца своего пути, поминает спутников, проплывших с ним мимо Харибды и Скиллы, но потом погибавших и погибавших "по одному, опустивши глаза"[2].

"Роман-миф" писался в течение 1933–1934 годов. Сеферис служил в то время вице-консулом в Лондоне. В феврале 1934 года он вернулся в Афины и своими глазами увидел, как сгущаются тучи и над Европой, и над Грецией. История предвоенной Европы читателю известна; но о предвоенной Греции следует сказать несколько слов, и начать придется с самого начала – с возникновения греческого государства. Греция как независимое государство очень молода (моложе, например, Московского университета). При ее освобождении от турецкого господства потребовалось не только доблестно сражаться (а значит, иметь средства на вооружение), но и получить признание со стороны великих держав – каковыми на момент подписания протоколов Лондонской конференции 1830 года, объявившей Грецию независимым государством, были Великобритания, Франция и Россия. В дальнейшем к этому списку прибавилась Германия, еще позднее – балканские страны. В течение XIX и первой половины XX века дипломатия приносила Греции порой более ощутимую пользу (выражающуюся в присоединении новых территорий), чем военные победы, а порой от нее зависело само существование страны. (Не это ли, в числе прочего, повлияло на решение Сефериса избрать дипломатическую карьеру?) В то же время внутри Греции с первых дней ее независимого бытия шла ожесточенная борьба за власть между теми, кто за независимость воевал (то есть армией), и теми, кто давал на войну деньги (то есть богатыми судовладельцами с островов и богатыми землевладельцами в материковой Греции); между теми, кто хотел покровительства Великобритании, и теми, кто склонялся к покровительству Германии; теми, кто видел Грецию республикой, и теми, кто признавал только монархию. Одним словом, история независимой Греции до са-

1. В настоящей публикации "Мифосказ" (перевод М. Л. Гаспарова).
2. "Роман-миф" цитируется в переводе М. Л. Гаспарова.

мых недавних десятилетий – это череда политических кризисов, время от времени сменявшихся диктатурами. Одна из таких диктатур была установлена 4 августа 1936 года. Пришедший к власти генерал И. Метаксас, убежденный сторонник монархии, остался к тому времени единственным крупным политиком и добился от короля Георгиоса II предоставления ему чрезвычайных полномочий. Сеферис позднее напишет о нем так: "Метаксас, на мой взгляд, был и как личность, и как политик самым значительным среди уцелевших. Властный, эгоцентричный, нетерпимый – все это так: но он был умнее и сильнее всех". Радея о своей популярности, Метаксас позаботился о строительстве жилья для сотен тысяч беженцев из Малой Азии (чрезвычайно болезненный для Сефериса вопрос!), об ограничении рабочего дня до 8 часов, о некоторых других, как сказали бы теперь, "социальных мерах". Но он также усиленно насаждал – что было непривычно и особенно тяжело для свободолюбивых греков – собственную идеологию и жестоко подавлял инакомыслие. Большие и маленькие тираны XX века в чем-то похожи друг на друга: "забота о молодежи", "единственно верное учение" – и ссылки и тюрьмы для несогласных, как и жесточайшая цензура...

Сеферис продолжал свою дипломатическую работу, более того, в 1938 году он стал пресс-атташе МИДа. (Он всегда подчеркивал, что во время диктатуры Метаксаса имел дело только с иностранной прессой, но не был связан с цензурой внутри Греции.) Ему было очень тяжело. В 1941 году, уже во время войны, он написал так называемую "Рукопись сентября 41-го" (опубликованную значительно позднее), в которой попытался оценить политическую ситуацию в Греции межвоенной поры – и свою роль в ней. Писал он для себя, "желая разобраться со своей совестью". Вот что он говорит: "Политика в узком смысле слова никогда меня не занимала, никогда не была целью моей жизни... Вплоть до сегодняшнего дня я честно, в меру своих сил, исполнял служебный долг и старался – опять-таки по мере сил – не пользоваться особой благосклонностью людей, которые нами правили, и не извлекать из своего положения никакой выгоды. После всех моих трудов я уехал из Греции в прежнем чине, тогда как многие стяжали все, чего пожелали. Я никому ничего не должен, ни с кем не связан, ни на что не жалуюсь".

Но именно в эти тяжелые годы окончательно раскрылся его талант. Он пишет стихи, которые позднее составят сборники "Тетрадь упражнений" и "Судовой журнал-I". (Эти книги выйдут из печати крошечными тиражами в 1940 году. Ветер войны уже шумел над Европой, и, может быть, предчувствуя *странствие* военных лет, Сеферис и даст одной из них название – "Судовой журнал".) В 1936 году он пишет одно из самых знаменитых своих стихотворений, первая строка которого в Греции стала пословицей – "Куда бы я ни пустился, Греция ранит меня...". Как будто создав свое "идеальное" стихотворение, он дает ему многозначительное название – "Подражание Г. С.", то есть себе самому, Георгосу Сеферису.

Все же 30-е годы – не худшие для Сефериса. Начало их отмечено бурным романом с яркой, экстравагантной Лукией Фотопулу (Лу) – ее черты отразятся в образе главной героини романа "Шесть ночей на Акрополе" Саломеи. В начале 1936 года он знакомится с Марией Занну, которая через несколько лет станет его женой, а пока их отношения развиваются довольно драматически. Марика, как ее называли близкие, замужем, у нее две маленькие дочери, и семья Сефериса не одобряет ро-

ман с замужней женщиной, который может повредить карьере молодого дипломата. Видимо, именно семья (особенно отец) содействовала тому, что Сеферис получил назначение в Корицу (Корчу) в Албании, которое поэт воспринял как ссылку. С ноября 1936 по июль 1937 года он написал Маро (так Сеферис предпочитал называть любимую, и под этим именем она прожила более 60 лет) 88 писем! Но помимо писем к Маро, в своем албанском уединении Сеферис пишет стихи и эссе, задумывает книгу о Кавафисе, правда, тогда он еще не был готов принять творчество великого александрийца. Именно здесь, в Корице, он закончит уже упомянутое "Подражание Г. С.", в котором строки о Пелионе – не только аллюзия на миф о кентавре Нессе, чьей ядовитой кровью смазала хитон Геракла его ревнивая жена Деянира, но и воспоминание о летних днях, проведенных с Маро:

> На Пелионе в каштановой роще одеянье Кентавра
> змеилось меж листьев нацелясь обвить мое тело
> пока я поднимался по склону и море шло следом
> поднимаясь подобно столбику ртути
> пока мы не вышли к источникам вод.

В 30-е годы его талант достигает расцвета. Сеферис начинает ощущать, что в литературе он не одинок, что у него есть в Греции единомышленники и соперники, друзья и враги – те, кого вскоре назовут "поколением 30-х". Первая половина 30-х – время бурного расцвета греческой прозы, в поэзии громко заявляет о себе сюрреализм, роль своего рода "законодателя литературных мод" играет журнал "Новая литература" ("Та Нэа Граммата"), издаваемый одним другом Сефериса – критиком А. Карандонисом[1] и финансируемый другим – Г. Кацимбалисом[2], которого позже описал Генри Миллер в романе "Колосс Маруссийский"... С установлением метаксасовской цензуры вести литературную полемику стало трудно: значительная часть "инакомыслящих" писателей должна была или отправляться в эмиграцию, или молчать. Но кое-что все же можно было печатать, да и вообще на фоне погружающейся во мрак Европы Греция казалась раем – по крайней мере, ее очень любил долгое время проведший на острове Керкира (или Корфу) Лоренс (Ларри) Даррелл, и ею совершенно пленился приехавший в 1939 году по его приглашению Генри Миллер. Ларри был знаком с Кацимбалисом и Сеферисом и познакомил их обоих с Миллером; Даррелл греческий язык знал довольно прилично, Миллер не знал совсем, что не помешало компании весело проводить время летом 1939 года[3] – о чем Миллер и написал потом в вышеназванном романе... А потом пришла война.

Осенью 1940 года обстановка резко обострилась. Военный совет Италии утвердил план нападения на Грецию. Начались стычки на греко-албанской границе (Албания была оккупирована Италией в апреле 1939 года). 28 октября в три часа ночи итальянский посланник прибыл в резиденцию Метаксаса, чтобы передать ультиматум своего правительства, фактически означавший намерение Италии оккупировать Гре-

1. Андреас Карандонис (1910–1982) – влиятельный греческий критик.
2. Георгос Кацимбалис (1899–1978) – литератор, издатель.
3. См. Литературный гид "Лоренс Даррелл, или Путь эксцентрика" // ИЛ, 2000, № 11.

цию. Метаксас, облаченный в ночной халат и не успевший переодеться к приезду важного визитера, выслушал ультиматум и сказал свое знаменитое "Охи" – "Нет": Греция вступила во Вторую мировую войну. Утром Метаксас сделал официальное заявление, обосновывающее отказ Греции подчиниться итальянскому ультиматуму. Текст этого заявления был написан Сефериса (вместе с его непосредственным шефом Николудисом)... Началась история героического греческого Сопротивления – с кровопролитных боев на албанском фронте, где, между прочим, воевал второй будущий греческий нобелевский лауреат – О. Элитис. В 1941 году в военные действия против Греции включилась Германия, и уже к середине апреля значительная часть Греции была оккупирована немецкими войсками, упорно продвигавшимися к Афинам. Королевская семья и правительство эвакуировались. Вместе с ними эвакуируется и Сеферис – как из-за занимаемой должности, так и из-за того, что, как ему было известно, СС отдала приказ немедленно расстрелять его. Сеферис обвенчался с Маро – иначе, не будучи официально женой Сефериса, она не могла бы последовать за ним (Сеферис с горькой иронией вспоминал потом это торопливое бракосочетание: "Нашим шафером был Гитлер"), – и 22 апреля они отправились сначала на Крит, а затем, следуя по маршруту правительства в изгнании, в Египет, в Александрию покойного к тому времени Кавафиса, потом – в Южную Африку, затем снова на Ближний Восток, в Каир. Когда танки Роммеля штурмовали Египет, греческое правительство в изгнании (и Сеферис вместе с ним) эвакуируется в Иерусалим, потом, после побед британских войск при Эль-Аламейне, вернется в Египет, ближе к концу войны, в 1944 году окажется в Италии... Начинается военное странствие Сефериса, и он снова чувствует себя и Одиссеем, и Эльпенором, и всеми безымянными спутниками Одиссея сразу. Слово, с гомеровских времен обозначающее спутников Одиссея, обретает новый смысл – соратник, товарищ:

> Как могли мы упасть, товарищ, в эту смрадную яму страха?
> Разве такая судьба у тебя,
> и мне разве это писано на роду?
> Кто это смеет командовать и убивать за нашей спиной?
> Не спрашивай. На току
> кружатся и кружатся три красные лошади с завязанными глазами,
> топчут и топчут они человечьи кости[1], –

пишет он в октябре 1941 года в стихотворении "Лик судьбы".

В 1944 году в Александрии Сеферис выпускает – тиражом 75 экземпляров – "Судовой журнал-II". Эта книга необычна для поэта: он, всегда предпочитавший высказываться косвенно, намеком, здесь горько и прямо пишет о том, с чем ему пришлось столкнуться в военные годы: о ничтожестве политиков, о безумии войны, о страданиях и смерти близких... Некоторые стихи в этой книге написаны от лица литературного alter ego Сефериса, Стратиса Морехода (он же главный герой романа "Шесть ночей на Акрополе"). И этот Мореход, попав в прямом смысле слова "к антиподам" – в Южную Африку, на другой конец земли, – по-

1. Перевод Л. Лихачевой.

вторяет слова гомеровского Одиссея, спускавшегося в царство мертвых, чтобы узнать путь домой:

> Трудно и тяжело, мне не хватает живых, потому что
> живые не говорят и еще потому
> что я должен у мертвых спросить
> смогу ли я двигаться дальше[1].

Путь домой предстоял Сеферису неблизкий. Пока что в Претории он пишет — на французском языке, что было знаком уважения к союзникам, — эссе "Pour les voyageurs du 'Sea-Adventure'" и посылает его в Египет, для публикации во франкоязычном журнале "La Semaine Egyptienne". Он пишет, обращаясь к союзникам, и выговаривает свою боль: "Иноземцы презирают Грецию, ибо знают ее лишь отчасти". "Отчасти" — кавафисовское словцо.

Во время войны Сеферис по-новому оценил поэзию Кавафиса. Можно сказать, что это был один из главных личных итогов пребывания Сефериса в Египте. Александрия была наглядным, живым символом столь дорогого для Сефериса исторического единства греческой традиции. Здесь, в пышном городе, заложенном величайшим завоевателем античной эпохи, цвела "александрийская" ученая поэзия, наследником которой Сеферис признал Кавафиса. Образ Кавафиса соединился для Сефериса с мифическим Протеем — оба они слились в личной мифологии младшего поэта в "Морского Старца", хотя Кавафис на самом деле мало писал о море. Здесь, в Александрии, Сеферис впервые по-настоящему полюбил поэзию Кавафиса и вернулся к мысли о книге о нем, начатой когда-то в Албании и брошенной. Да и многие стихи "Судового журнала-II" прямо отсылают к Кавафису.

Переломные годы войны — 1942—1944 — Сеферис провел в Египте, на посту начальника отдела печати и информации МИДа Греческого правительства в изгнании. Здесь судьба вновь столкнула его с довоенным знакомцем — Ларри Даррелом, который также находился в Египте на дипломатической службе, и они даже затеяли вместе издавать журнал "Personal Landscape". В этом журнале помимо Даррелла сотрудничали некоторые другие английские поэты, оказавшиеся в Египте; эти литературные связи в какой-то степени подготовили бурный успех в Англии вышедшего в 1948 году сборника стихов Сефериса "'The King of Asine' and Other Poems"[2]: одним из переводчиков был Ларри Даррелл. Но, конечно, Сеферис занимался не только литературными проектами: он продолжал находиться на службе, где вдоволь насмотрелся на ничтожество профессиональных политиков, не способных решить ни одной по-настоящему серьезной проблемы, но занятых подсиживанием друг друга. В эти годы поэзия Сефериса обретает несвойственный ей прежде тон политической сатиры.

Кризисы в правительстве в изгнании следовали один за другим, а между тем дело спасения Греции совершалось на Балканских горах, под Сталинградом, в отрядах французского Сопротивления — там, где люди с оружием в руках вступали в борьбу с врагом. В самой Греции в 1943 го-

1. Перевод Л. Якушевой.
2. "'Царь Асини' и другие стихотворения" (*англ.*).

ду значительные горные территории были освобождены силами национально-освободительного движения. В августе 1943 года делегация представителей различных политических сил освобождаемой Греции прибыла в Каир, чтобы провести переговоры с правительством в изгнании и создать правительство "национального единства". Сеферис по долгу службы был одним из тех, кто участвовал в приеме этой делегации. Договориться, однако, не удалось. Британских покровителей правительства в изгнании занимал вопрос о разделе послевоенных сфер влияния в мире, о том, как не допустить на Балканы Советский Союз; каждую из политических сил Греции волновало, какую роль именно она будет играть после окончательного освобождения страны. Поэтому в октябре 1943 года в Греции, в условиях еще продолжавшейся оккупации, шла настоящая гражданская война...

3 октября 1944 года германские оккупационные войска начали отход из Греции. 12 октября были освобождены Афины. 18 октября правительство, возглавляемое Г. Папандреу, высадилось в Греции (Сеферис прибыл чуть позже, 23 октября). Перед этим некоторое время они провели в Италии, ожидая освобождения Греции. Это была "Последняя стоянка" на пути домой. 5 октября Сеферис пишет стихотворение с таким названием, подводя в нем итоги своей военной одиссеи тоном Екклесиаста:

Слаб человек, как трава, и алчен, как трава,
и ненасытен, как трава, нервы его корни и ползут все дальше
и дальше.
Когда же приходит время жатвы,
он хочет, чтобы коса прошлась по другому полю.
Когда приходит время жатвы,
одни надеются заклясть злого духа криком,
другие цепляются за свое добро, третьи болтают.
Но заклятья и деньги и болтовня —
чем они помогут, когда живых нет рядом?
Не так ли и человек?
Разве не он может поделиться жизнью?
Время сеять, время собирать жатву.

В декабре гражданская война выплеснулась на афинские улицы. Дом на Плаке (район Афин у подножия Акрополя), где жили Сеферис с Маро и семья Иоанны, оказался прямо на линии огня, одна из комнат была приспособлена под мини-госпиталь. На Рождество 1944 года в Афины прибыли У. Черчилль и А. Иден, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию. 30 декабря архиепископ Афин и всея Греции Дамаскин был провозглашен вице-королем. Сеферис возглавил так называемый "политический кабинет", по сути — стал личным секретарем архиепископа, поскольку связывал с ним надежды на возрождение истерзанной войнами страны. Надежды, как это им свойственно, не сбылись. Ничего существенного в этом направлении Дамаскину сделать не удалось, разве что впервые за 10 лет в марте 1946 года в Греции были проведены парламентские выборы, а вслед за ними — референдум о восстановлении монархии. Большинство греков высказалось за возвращение короля. Вице-король сложил свои полномочия, и в сентябре 1946

года Ґеоргиос II с триумфом вернулся из Англии в Афины. Сеферис, убежденный антимонархист, воспользовался всеми своими не истраченными за военные годы отпусками и уехал с Маро на Порос – маленький остров у побережья Пелопоннеса, с которым были связаны дорогие воспоминания: здесь они бывали с Маро в самом начале своего романа, сюда приезжали с Миллером и Кацимбалисом в 1939 году. Сеферис проводит два месяца на вилле "Галини" ("Тишина"), напряженно работая сразу над двумя большими вещами, прозаической и поэтической: над лекцией о Кавафисе и Элиоте и над поэмой "Кихли" ("Дрозд" – так называлось небольшое судно, затопленное близ Пороса в начале войны). Лекция была прочитана 17 декабря в Британском институте в Афинах, потом напечатана, имела большой успех и, как уже было сказано, немало способствовала популяризации творчества Кавафиса в Греции. Поэма оказалась трудной даже для ближайших друзей, и Сеферис – вероятно, единственный раз в жизни – снизошел до объяснений. Он написал развернутое письмо Кацимбалису – "Сценарий для 'Кихли'", где истолковывал свой замысел. Поэма "Кихли", как когда-то "Роман-миф", следует гомеровскому сюжету: чтобы вернуться домой, Одиссей должен сначала спуститься в царство мертвых и узнать у них свою судьбу. В 1946 году Сеферис еще не догадывался, до какой степени пророческим окажется для него этот древний миф!

В начале 1948 года дипломатическая служба приводит его в новую столицу Турции Анкару. Анкара находится довольно далеко от родной Смирны Сефериса, но все-таки это одно и то же государство. (Здесь, в заснеженной Анкаре, он напишет эссе, посвященное 60-летию Элиота.) В самом начале 1950 года Сеферис получил неожиданное известие о внезапной смерти младшего брата Ангелоса (тот уехал в Америку после войны, жизнь у него там не задалась, ФБР допрашивало его как "коммуниста", которым он на самом деле не был; слова "самоубийство" никто не произнес, но оно витало в воздухе). Это известие глубоко потрясло Сефериса, и он почувствовал настоятельную потребность добраться до родных мест, прикоснуться к утраченному прошлому. Маро была в Греции – ее старшая дочь выходила замуж. Сеферис воспользовался ее отсутствием – свою боль он не хотел делить ни с кем. Предлогом послужило посещение раскопок античного поселения в Лавранде, которые вел давний знакомый Сефериса шведский археолог Аксель Перссон, раскопавший гомеровское Асини[1]. Поэт поехал вместе с шведским послом на джипе – шоссе в тех местах еще не было. От Лавранды доехали до Бодрума (древнего Галикарнаса). Трудно представить, что этот ныне знаменитый туристический центр полвека назад был тихим городком, где (и это глубоко тронуло Сефериса) говорили по-гречески: в 1922 году не только греки были изгнаны из Малой Азии, но и турки – из материковой Греции. Критерием изгнания стала религия; так в Турции оказались грекоязычные мусульмане, в частности, с Крита, говорившие на диалекте, близком к языку столь любимого Сеферисом "Эротокритоса"... 1 июля прибыли в Смирну, которая теперь называлась Измир. Некоторые улицы стали неузнаваемы, кое-какие здания сохранились... На месте отцовского дома он не увидел *ничего*. Из Смирны добрались до Ска́лы – счаст-

1. Этому поселению и его царю, единожды упомянутому Гомером, посвящено одно из самых знаменитых стихотворений Сефериса – "Царь Асини".

ливого дома детства. Пристань, которая в детские годы Сефериса была полна рыбачьих лодок, пустовала. Дом, завещанный ему бабушкой, был разрушен, а большой бабушкин дом перестроен, и в нем теперь жили чужие люди. В Скале Сеферис провел около двух часов. В Смирну он потом еще приезжал, но в Скалу – больше никогда. "Сошествие в Аид" совершается один раз.

В 1951 году Сеферис получил назначение в Лондон – первым советником посольства. После большого успеха переводов его стихов, вышедших в Англии в 1948 году, в литературных кругах его принимали с почетом. Теперь он знакомится с Элиотом, общается со Стивеном Спендером, Э. М. Форстером, Луисом МакНисом, У. Х. Оденом и Диланом Томасом. Но... что-то гнетет его. Он хочет бросить службу и делится этими мыслями с Элиотом. Реакция Элиота была не совсем такой, как он ожидал: "Нужно иметь другую работу помимо поэзии, – сказал мэтр. – Нельзя посвятить себя исключительно поэзии: ведь значительная часть поэтического творчества совершается бессознательно, и нужно много времени быть занятым чем-то другим". В то же время Сеферис подает прошение в Министерство иностранных дел о продвижении по службе. Это прошение было удовлетворено: Сефериса назначили послом Греции в Ливане, Сирии, Иордании и Ираке, с резиденцией в Бейруте, но было поставлено условие немедленно приступить к исполнению обязанностей. Спешно собравшись, Сеферис и Маро покинули Лондон и, посетив по пути Венецию, прибыли в Афины, откуда отплыли в Бейрут.

Возможно, одна из причин этих метаний (помимо экономических, а были и такие: отец Сефериса скончался в 1951 году, но сын, не простивший отцу второго брака, отказался от своей доли наследства) заключалась в том, что после "Кихли" Сеферис не написал ни одного стихотворения. Потрясения, вызванные смертью брата (и, наверное, смертью отца, хоть при жизни они не очень ладили), как и встречей с уничтоженной родиной, были слишком сильны, чтобы выразиться в стихах. Муза молчала семь лет – до тех пор, пока Сеферис не оказался "там, где чудо еще существует": на Кипре.

Кипр, за свою тысячелетнюю историю сменивший десятки хозяев, был в то время британским владением, но многие на острове мечтали о воссоединении с Грецией – так называемом "эносисе". В самой Греции отношение к этой идее было неоднозначным. Сефериса давно звали на Кипр и тамошние, и английские друзья (в том числе Ларри Даррелл, поселившийся в это время на острове), но он сознавал, что, будучи послом Греции на Ближнем Востоке, должен быть очень осторожен. Впервые он приехал на Кипр в ноябре 1953 года как частное лицо. И неожиданно обрел мир, казалось, утраченный навсегда, – мир своего детства. Сегодня, в эпоху туристического бума, трудно представить (как в случае модных турецких курортов), что Айя-Напа была крошечной рыбацкой деревушкой, а Пафос – тихим городом, но Сеферис застал на Кипре зачарованный рай, где уцелела патриархальная, едва не гомеровская, жизнь рыбаков и крестьян (давно утраченная в материковой Греции), где греческий язык звучал почти так, как в Смирне его детства, и даже, точно как в детстве, мирно жили бок о бок греки и турки... Сеферис, странствовавший с 14 лет, почувствовал, что вернулся домой. Более того: в этот свой первый приезд на Кипр он много общался с местными греками, поэтами, художниками, выступал в греческих школах – и впервые его прини-

мали как большого национального поэта. Тогда к нему вернулись стихи. И не только стихи: в Бейруте он снова берется за роман "Шесть ночей на Акрополе", брошенный 20 лет назад, работает по 16 часов в сутки в каком-то экстазе и в августе 1954 года завершает его. В дневнике он отмечает, что такого вдохновения – и такой поразительной работоспособности – у него не было с молодых лет, с тех пор, как он писал "Эротикос Логос". Едва завершив один роман, он начинает другой, посвященный Кипру, – "Варнава Калостефанос" (правда, этот роман остался незаконченным)... Неудивительно, что Сеферис буквально влюбился в Кипр и принял самое горячее участие – и как дипломат, и как человек – в судьбе острова.

В июле 1954 года будущее Кипра обсуждалось в британском парламенте. В речах членов парламента прозвучали слова о том, что у киприотов нет никакой общей с греками истории и что "мы научим их не быть греками". Отношения между Великобританией и Грецией осложнились, а Сеферис перестал общаться почти со всеми своими английскими друзьями и поссорился с Даррелом, который в это время занял на Кипре официальный пост. Вскоре противостояние киприотов и британской администрации перешло в новую фазу: Национальная организация кипрских борцов (ЭОКА) начала вооруженные выступления, на которые Британия ответила, с одной стороны, карательными операциями, с другой – привлечением Турции к "кипрскому вопросу". В конце августа 1955 года в Лондоне заседала трехсторонняя конференция по Кипру с участием Великобритании, Греции и Турции. Незадолго до ее официального открытия Сеферис закончил книгу стихов, вдохновленных Кипром. Названием ей послужила строка Еврипида: "...Кипр, где мне суждено обитать..."[1].

За Кипр Сеферис боролся и как дипломат зимой 1957 года на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, посвященных "кипрской проблеме" (во время этой поездки в Америку он познакомился с французским поэтом и тоже дипломатом Сен-Жон Персом, впоследствии (в 1960 году) лауреатом Нобелевской премии), и на разнообразных англо-греко-турецких переговорах уже в ранге посла Греции в Лондоне, куда он был назначен в мае 1957 года. В июне он вручил свои верительные грамоты королеве Елизавете II. На этом высоком дипломатическом посту Сеферис осмеливался даже противоречить собственному министру иностранных дел, когда речь заходила о Кипре. После обсуждения "кипрской проблемы" в ООН Великобритания, желая избежать "эносиса", предпочла предоставить Кипру суверенитет. Навлекая неудовольствие своего начальства, Сеферис жестко критиковал те положения создававшейся конституции Кипра, которые способны были, как он предвидел, привести к военному вмешательству Турции (и привели на самом деле в 1974 году, только Сеферис до этого не дожил). Но увы, он был только послом, а не министром иностранных дел, и 19 февраля 1959 года было подписано цюрихско-лондонское соглашение по Кипру, а 16 августа 1960 года Кипр стал независимым государством – на тех условиях, кото-

1. Эти слова у Еврипида произносит герой Тевкр. Один из немногих благополучно вернувшихся домой с Троянской войны ахейцев, сводный брат великого Аякса, он был обвинен отцом в том, что допустил гибель брата, и отправился в изгнание. Аполлон повелел Тевкру отплыть на Кипр и основать там город, дав ему имя прежней родины – острова Саламин.

рые были одобрены Великобританией, Грецией и Турцией. Посол Сефериадис счел, что его миссия в Англии, связанная для него прежде всего с Кипром, завершена, и подал прошение о переводе его в Афины. Сеферис всерьез задумался об окончании дипломатической карьеры.

Поэт Сеферис к 60-му году XX века (и своей жизни) больше преуспел, чем дипломат Сефериадис, разочарованный решением проблемы Кипра. В июне 1960 года Сеферису была присуждена почетная степень доктора Кембриджа. Осенью того же года вышел новый перевод его стихов на английский, сделанный Рексом Уорнером, а в антологию под названием "Шесть поэтов современной Греции", изданную Эдмундом Кили и Филипом Шеррардом, стихи Сефериса вошли в их новых переводах. На прием по случаю выхода этой книги (слово "презентация" тогда еще не было модным) пришел Элиот и сказал Сеферису: "Теперь вы мастер". В следующем, 1961 году Сеферис стал первым иностранцем, получившим престижную британскую премию "Фойл" – за книгу стихов, переведенных Уорнером. Но главное было впереди. В 1960 году в Лондоне Сеферис познакомился с композитором Микисом Теодоракисом, и тот положил на музыку несколько его стихотворений. Поэт поначалу был не очень доволен: музыкальная фразировка не вполне, как ему казалось, совпадала с интонациями стихов. Вскоре Сеферис, наконец, простился с Лондоном и переехал в Афины (где до отставки в 1962 году считался находящимся "в распоряжении МИДа", но, по сути, был свободен). Однажды Теодоракис повел его на Плаку, где в тавернах песни на его стихи пели простые люди. Сеферис был счастлив, как дитя. У одной из этих песен, "Отречения", особая судьба. В Греции ее знают абсолютно все, она популярна не менее, чем национальный гимн, даже туристы, приезжающие ненадолго, выучивают слова, может быть и не подозревая, что это стихи Сефериса...

Выйдя в отставку, Сеферис впервые в жизни почувствовал себя свободным. У него теперь был собственный дом рядом с древним стадионом, выстроенный под присмотром Маро за те годы, что он служил в Лондоне. Он мог путешествовать – и они с Маро едут в Дельфы, на Делос, на Аморгос... Он мог, наконец, полностью посвятить себя литературе и много и плодотворно работает – пишет эссе (одна из работ этого времени – написанные по заказу итальянского издателя "Прогулки с Гомеровыми гимнами"), готовит к изданию новую книгу эссе, переводит "Убийство в соборе" Элиота, "Песнь песней" и Откровение Иоанна Богослова. Но главное – он снова пишет стихи. В своей последней книге – "Три сокровенных поэмы" – он подводит итоги своего пути, и итоги эти кажутся ему горькими:

Белый лист бумаги суровое зеркало
возвращает лишь то, чем ты был.
<...>
Ты странствовал, видел множество лун и много солнц
прикасался к живым и мертвым
испытал боль юноши
муки роженицы
огорченье ребенка
но все, что ты испытал – бесполезная груда
если ты не доверишься этой вот пустоте.

Это своего рода сеферисовская "Итака", еще более горькая и лишенная иллюзий, чем кавафисовская: "И если ты найдешь ее убогой, / обманутым себя не почитай"[1]. Сеферис вполне сознавал, что Греция, из которой он уехал в 1948 году, сильно отличалась от Греции 1962-го, в которую он вернулся. Неизменным оставалось одно — и тогда, и теперь он чувствовал себя, в общем, чужаком. Когда в 1963 году Сеферису была присуждена Нобелевская премия по литературе, радовались друзья — и в Греции, и в Англии, и в Америке... В Греции, помимо понятной гордости за первую "Нобелевку", полученную страной, многие брюзжали: для левых Сеферис был слишком правым, и они были недовольны, что премию не присудили Пабло Неруде или Сартру, выдвигавшимся в тот же год; для правых, наоборот, Сеферис был слишком европеец, или слишком либерал, или вообще "слишком с Востока". Нашлись и такие, кто говорил (иные писали в газетах!), что "Сеферис продал Кипр англичанам, чтобы получить Нобелевскую премию". Незадолго до объявления о получении премии Сеферис попал в больницу с обострением язвы желудка, и на церемонии, где все пили шампанское, виновник торжества глотал молоко...

После премии, разумеется, посыпались присуждения почетных степеней разных университетов (Салоникского и Оксфордского в 1964 году, Принстонского в 1965-м) и даже академий (Американская академия искусств и наук избрала его почетным членом в 1966 году; характерно, что Афинская академия в подобной чести ему отказала), приглашения выступить там и сям... Состояние здоровья заставляет отвергнуть мысль о кругосветном путешествии, о котором мечтали они с Маро. Но в 1967 году в игру вступает новая сила: 21 апреля в Греции происходит очередной государственный переворот и к власти приходит хунта, получившая в мировой прессе кличку "черных полковников". Тысячи людей левых убеждений оказались в тюрьмах, в концлагерях на печально известном острове Макронисос, в изгнании... Снова была введена жесточайшая цензура. Сеферис отказался представлять свои тексты в цензуру и, тем самым, печататься в Греции. Единственное исключение он сделал для книги стихов своего покойного брата Ангелоса, издав их в 1967 году со своим предисловием. На следующий год Институт фундаментальных исследований в Принстоне избирает его своим действительным членом. Сеферис принимает это приглашение и проводит несколько месяцев в Америке, но отказывается занять профессорскую кафедру в Гарварде, объясняя это тем, что не может пользоваться свободой слова, когда его собратья — греческие писатели — лишены ее, а многие лишены и гражданской свободы и томятся в тюрьмах. Сефериса нисколько не привлекает судьба эмигранта, и 29 декабря он возвращается в Грецию, где красноречиво хранит публичное молчание — но с друзьями делится мучительными сомнениями: как жить поэту, лишенному возможности печататься? Как писать? Друзья (и особенно сестра Иоанна) настаивают на том, что молчания недостаточно. И вот, совершив весной 1969 года для укрепления духа очередную поездку в Дельфы, Сеферис записывает на пленку выступление, осуждающее диктаторский режим, и передает ее на Би-би-си, а текст выступления одновременно рассылает во все газеты. Ю-

1. Перевод С. Ильинской.

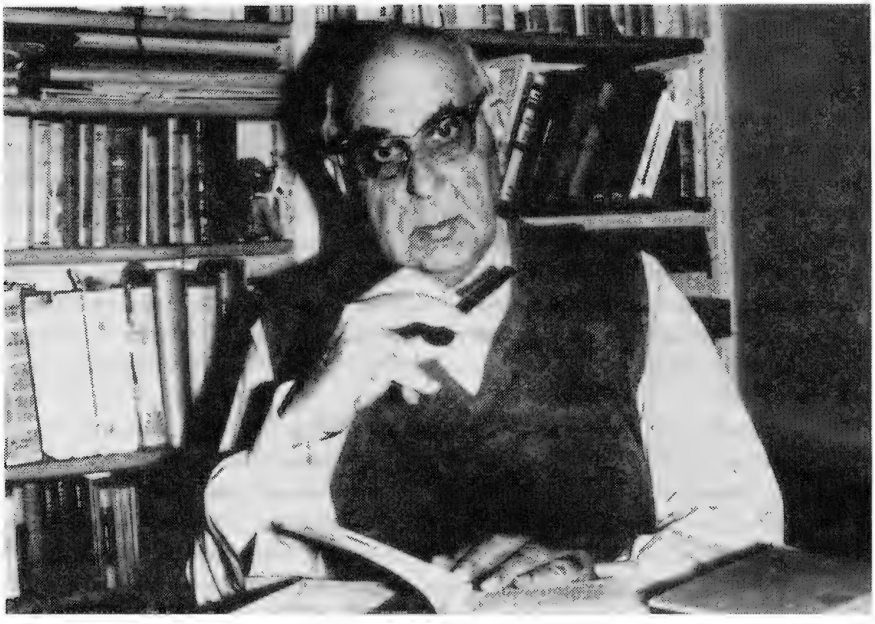
лос Сефериса, требующий немедленного изменения политической ситуации, передали несколько иностранных компаний, вещающих на Грецию, а текст выступления напечатали даже проправительственные газеты, которые были раскуплены все до единой, тиражи пришлось допечатывать. 29 марта 1969 года имя Сефериса было на устах у всей Греции... Как ни странно, последовало некоторое смягчение цензурных запретов, и в 1970 году увидел свет сборник под названием "Восемнадцать текстов" — издали его писатели разных направлений и разных поколений, объединенные антидиктаторскими убеждениями. Сеферис поместил там стихотворение "Кошки св. Николая" — легенду любимого Кипра о кошках, избавивших людей от нашествия змей. "Кошки св. Николая" — последняя прижизненная публикация Сефериса. Но не последнее стихотворение.

Благовещение в Греции празднуют 25 марта. В этот прекрасный весенний день 1971 года, вспоминает поэт Георгис Павлопулос, Сеферис с Маро и небольшой компанией друзей отправились на мыс Сунион, где стоит знаменитый храм Посейдона, и за обедом в прибрежной таверне говорили о близких и не очень близких людях, томившихся в тюрьмах или уже умерших. На обратном пути, с трудом взбираясь на холм, обратили внимание на заросли колючего кустарника и стали вспоминать его название. Павлопулос припомнил народное название и даже песню, в которой оно звучит. "Что-то мне напоминает это слово", — сказал Сеферис и потом всю дорогу домой молчал. Действительно это было чуть измененное древнегреческое название колючего дрока, о котором пишет Платон, рассказывая о загробных наказаниях некоего древнего тирана. Через пять дней Сеферис написал "По шипам колючего дрока..."

Был восхитителен Суний в этот день благовещенья
с новым приходом весны.
<...>
Так что же напомнило мне о том Ардиее? Пожалуй,
словечко одно из Платона, застрявшее в складках памяти,
желтый кустарник — с тех самых далеких времен
название не изменилось.
Вечером я отыскал это место:
"Связали его по рукам и ногам, — говорит Платон, —
наземь его повалили и кожу содрали,
и поволокли по земле, по шипам
колючего дрока, и после
бросили в Тартар его, как тряпку".
Так на том свете платил за свои злодеяния
Ардией из Памфилии, жалкий тиран[1].

Это очень сеферисовское стихотворение. Как важно для поэта, что слово не изменилось со времен Платона — он и в Нобелевской речи с гордостью сказал: "Мы с Гомером говорим на одном и том же языке". И уроки Кавафиса в этом стихотворении видны: отправной точкой служит древний текст, а мифология намекает на современную историю.

1. Перевод С. Ильинской.



Но самое сефериcовское здесь — *единство* греческого пейзажа, все того же Суниона, что стоял и при Платоне, и такого же дрока, что цвел тогда и цветет теперь, — и, увы, тираны были тогда и есть теперь, — но и тогда и теперь они платят и заплатят за совершенное зло...

В августе Сефериса положили в Благовещенскую больницу в Афинах. Несколько операций, одна за другой, — неудачных. Потребовалась трахеотомия, и поэт потерял голос. В эти страшные дни в Афины приехала Жаклин, его первая парижская любовь. Она остановилась у Иоанны, но в больницу прийти так и не решилась. 20 сентября Сефериса не стало.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Афин, провожая поэта в последний путь. И... все они пели. "Отречение" на музыку Теодоракиса.

На взморье белом как левкой
томились мы от жажды
но горек был нам каждый
глоток воды морской

Прекраснейшее из имен
в заветной той лагуне
писали мы на дюне
но осыпался склон

Мы в этот мир с надеждой жить
пришли мечась и мучась
безумцев горьких участь
что мог он предложить[1].

1. Перевод Р. Дубровкина.

Г. Сеферис

Мифосказ

Перевод с новогреческого М. Л. Гаспарова и Е. И. Светличной

Si j'ai du goût, ce n'est guères
Que pour la terre et les pierres.

Arthur Rimbaud[1]

1
<*Поиск*>[2]

Вестник —
напряженно мы ждали его три года
всматриваясь пристально
в сосны, море и звезды.
Став, как лемех плуга или киль корабля,
мы искали вновь найти первосемя
чтобы вновь начаться древнему действу.

Мы вернулись в свои дома, разбитые,
тела немощны, губы в трещинах
ржавчины и соли.
А когда проснулись, пошли на север,
чужаки, в тумане от ярких крыльев
лебедей, которые ранили нас.
Зимними ночами нас безумил восточный ветер.
Летом мы терялись в агонии неизбывного дня

Мы вернулись с этими
барельефами скудного мастерства.

2
<*Колодец*>

Вот еще один колодец в пещере.
Раньше мы легко встягивали идолов и убранство
на радость друзьям, которые еще в нас верили.

© М. Л. Гаспаров, Е. И. Светличная. Перевод, 2005

1. "И если я питаю пристрастие к чему-нибудь, то только к земле и камням". Артюр Рембо. Празднества голода. (*Здесь и далее, кроме специально указанных случаев, – прим. И. Ковалевой.*)
2. Заглавия в угловых скобках даны переводчиками.

Лопнули канаты. Только затеси на колодезном устье
поминают былое наше счастье.
Пальцы на краю колодца, сказал поэт[1]:
Пальцы чувствуют холод камня.
Теплота тела его превозмогает.
И пещера ставит ставку на душу и проигрывает
каждый миг, в тишине, до последней капли.

3
<Мраморная голова>

Помни купальню, где тебя убили[2].

Я проснулся с мраморной головой в руках,
она мучит мне руки, я не знаю, куда ее деть.
Она падала в сон, когда я вставал ото сна
наши жизни стали одно, их уже не разъять.

Я смотрю ей в глаза, ни открытые, ни закрытые,
говорю в ее губы, еще рвущиеся говорить,
держу ее щеки, уже без кожи.
У меня нет сил.

Мои руки исчезают и возвращаются,
изувеченные.

4
Аргонавты

"И душа
если хочет познать себя,
должна посмотреться
в душу"[3], —
чужака и врага мы увидели в зеркале.

1. Цитата из прозаического сочинения Дионисиоса Соломоса "Женщина с Закинфа". (*Прим. автора.*)
2. Эсхил. Хоэфоры, 491. (*Прим. автора.*)
Царь Агамемнон, предводитель греческого воинства под Троей, по возвращении домой был убит в купальне своей женой Клитемнестрой.
3. Платон. Алкивиад I, 133 b. Сеферис отмечает, что слова Платона соединились для него со стихами Бодлера ("Смерть любовников"):

И сердца у нас, их вдыхая пламя,
Станут, как двойной пламенник, возжжен
Пред очами душ, теми зеркалами,
Где их свет вдвойне ясно отражен.

Перев. Н. Гумилева

Хорошие парни были мои товарищи[1] — не жаловались
на усталость, на жажду, на стужу:
они были как деревья и волны
принимающие ветер и дождь
принимающие солнце и ночь
не меняясь в переменах.
Они были славные парни: день за днем
опустив глаза, потели на веслах,
дышали в такт,
и кровь красила их покорную кожу.
Опустив глаза, порой они пели,
когда мы проплывали безлюдный смоковничий остров,
на запад, за мыс, где выли
псы.
Если хочет познать себя, говорили они,
должна посмотреться в душу, говорили они,
и весла дробили золото моря
на закате.
Мы проехали много мысов, много островов,
и море, ведущее в другое море, и тюленей, и чаек.
Там и там горемычные женщины с воплями
плакали над павшими сыновьями,
а другие яро искали
Александра Великого и славу,
канувшую в глубях Азии.
Мы причаливали к берегам, напоенным ночными запахами,
пеньем птиц и водой, оставлявшей на руках
память большого счастья.
Но путям их не было конца.
Души их стали одно с уключинами и веслами,
с суровым лицом на корабельном носу,
с вырезом руля,
с водой, дробившей их облики.
И они кончались по одному,
опустивши глаза. Их весла —
знак могил, где они спят на побережьях.

Их никто не вспоминает. Справедливость.

5
<*Вестники*>

Мы не знали их.
Лишь тайная надежда

1. В оригинале употреблено слово, традиционно обозначающее спутников Одиссея. Тема странствий Одиссея далее развивается в упоминании *безлюдного смоковничего острова* и *мыса, где выли псы*, – то есть Харибды и Скиллы (Одиссея, XII, 75–111; аллюзия указана Сефери-сом).

говорила, будто мы знаем их с детства.
Мы их видели раза два, а потом они отплыли
с грузом угля, с грузом зерна, и навек
потерялись друзья за океаном.
Утро застает нас чертящими на листке
под усталой лампой, с грубым нажимом,
корабли, русалок или раковины.
Вечером мы спускаемся к реке,
потому что по ней путь к морю.
Ночью спим в подвалах, пропахших смолью.

Друзья нас бросили —
может быть, их и не было, может быть,
мы их повстречали во сне,
уносившем нас к дышащим волнам;
может быть, мы ищем их потому, что ищем другую жизнь:
по ту сторону статуй.

6

<*Сад за окном*>

М. Р<авелю>

Сад с фонтанами под дождем —
ты увидишь его только сквозь мутные
стекла в низком окне. В твоей комнате
светит только огонь в камине,
да порою дальняя молния
озарит морщины на лбу твоем, старый друг.

Сад с фонтанами был в твоей руке —
та другая жизнь, ритм которой —
вне разбитых статуй и трагических колонн
и у новых каменоломен
пляски под олеандрами, —
все это отрежется мутным стеклом,
и тебе уж не вздохнуть. Земля и древесный
сок отхлынут из памяти твоей и прихлынут
в то стекло, о которое из наружного мира
бьется дождь.

7

Ю*жный ветер*

Море на западе сходится с горным кряжем.
Южный ветер слева сводит нас с ума.
Он сдирает мясо с костей.

Дом наш — среди сосен и рожковых деревьев.
Большие окна. Большие столы,
чтоб писать тебе письма, и мы их пишем,
месяц за месяцем, и бросаем
в ту разлуку, чтобы ее заполнить.

Утренняя звезда, когда ты клонила взоры,
то часы наши были нежней бальзама
ранам, слаще студеного глотка
горлу, ласковей лебединых взмахов.
Ты держала нашу жизнь на ладони.
После горького хлеба чужбины,
ночью, перед белой стеной
голос твой нам как надежда на пламя —
и опять этот ветер правит
бритву о наши нервы.

Мы пишем тебе каждый одно и то же
и молчим, каждый друг перед другом,
и видим, каждый порознь, все тот же мир,
свет и сумрак над горным кряжем,
и тебя.
Кто нам снимет тоску с сердец?
Вчера ливень, сегодня тучи
пригибают нас к земле. Наши мысли —
как сосновые иглы после вчерашнего
ливня, праздной кучею у порога
тщатся сбиться в башню, но башня рушится.

Среди этих вымерших деревень
на мысу, открытом южному ветру,
перед горным кряжем, скрывшим тебя, —
кто оценит, что мы решились отречься?
кто здесь примет нашу жертву на склоне осени?

8
<*Скитания*>

Но что ищут наши души, скитаясь
на палубах шатких кораблей
с бледными женщинами и кричащими детьми,
и не в силах отвлечься ни летучею рыбою,
ни звездою над остриями мачт?
Изможденные граммофонными дисками,
тупо тянущиеся к мнимым святыням,
бормоча несвязное на чужих языках?

Но что ищут наши души, скитаясь
на прогнивших морских досках[1]
от пристани к пристани?

Ворочая разбитые камни, вдыхая
с каждым днем все труднее свежесть сосен,
плавая в водах моря,
этого моря и того?
Без осязания,
без людей,
на той родине, что уже не наша
и не ваша.

Мы знали, здесь были прекрасные острова –
где-то здесь, где мы ищем путь,
чуть выше или чуть ниже,
совсем рядом.

9
<*Ожидания*>

Пристань – старая. Я не в силах здесь ждать друзей
ни уплывшего на сосновый остров,
ни уплывшего на платановый остров,
ни уплывшего в открытое море.
Я ласкаю ржавые пушки, глажу весла,
чтобы тело ожило и решилось,
но в ответ паруса только пахнут солью
прошлых бурь.

Если б я хотел остаться один, то выбрал бы
одиночество, а не ожидание,
когда душа на горизонте бьется вдребезги, –
не такие линии, краски, тишину.

Звезды ночи вновь ведут меня в ожидание
Одиссеем мертвых средь асфоделей[2].
Средь асфоделей мы хотели найти, причалив,
ту лощину, где ранило Адониса[3].

1. Морские доски – корабли; цитата из оды А. Кальвоса "Филопатрис" ("Любящий родину"):
И плывут, полнясь любовью
И мусическим ладом,
Морские древа.
Перев. И. Ковалевой

2. Намек на XI песнь "Одиссеи", повествующую о схождении Одиссея в царство мертвых. *Асфодели* – луковичные растения, которые, согласно греческим мифам, растут в Аиде.

3. Адонис – малоазийский мифический герой, возлюбленный Афродиты, смертельно раненный кабаном; по усердной мольбе Афродиты боги позволили Адонису возвращаться из царства мертвых и часть года проводить с Афродитой. В культе Адониса, заимствованном греками у финикийцев и сирийцев, ясно прослеживаются черты мифологии "умирающего и воскресающего бога", интересовавшей Сефериса в связи с "Бесплодной землей" Т. С. Элиота. Для Сефериса также было существенно, что по одной из версий мифа Адонис был сыном *Смирны* – персонификации родного города поэта.

10
<*Безысходность*>

Эта местность замкнута. Всюду горы,
днем и ночью крытые низким небом.
Ни реки, ни колодца, ни источника,
только водоемы, и те пустые,
мы в них слышим эхо и мы им молимся.
Стылый звук, как наше одиночество,
наша любовь, наши тела.
Странно, как мы выстроили когда-то
и дома, и хижины, и овчарни.
Свадьбы, свежие венки и персты
стали тайной, неразрешимой душе.
Как родились, как выросли наши дети?

Эта местность замкнута. Как замóк,
встали черные Симплегады[1]. У берега,
выходя подышать по воскресеньям, мы видим,
как солнце освещает закатом
ломаные доски от недоплывших плаваний
и тела, которые больше не умеют любить.

11
<*Лунная кровь*>

Твоя кровь порою стыла, как луна
в той неисчерпаемой ночи, твоя кровь
простирала свои белые крылья на
черные скалы, очертания деревьев и дома
с тусклым светом из нашего детства.

12
Бутылка в море[2]

Три скалы, опаленные сосны, часовня,
а над ними
как срисованный, снова тот же вид:

1. Симплегады — согласно мифу, скалы, беспрерывно сшибавшиеся между собою и преграждавшие путь в Черное море. Когда корабль "Арго" смог проплыть между Симплегадами, они застыли в неподвижности. Сеферис указывает, что здесь он имеет в виду начало трагедии Еврипида "Медея":

О, для чего крылатую ладью
Лазурные, сшибаяся, утесы
В Колхиду пропускали...

Перев. И. Анненского

2. Заглавие представляет собой перевод названия одноименного стихотворения Альфреда де Виньи.

три скалы воротцами, ржавый цвет,
опаленные сосны, черные с желтым,
и квадратный домик, беленый известью,
и над ними вновь и вновь много раз
тот же вид, ступеньками, ввысь
к горизонту и закатному небу.

Мы причалили сюда починить разбитые весла,
испить пресной воды и отоспаться.
Море горькое, глубокое и неведомое,
простирало необъятную тишину.
Здесь меж камешков мы нашли монету
и разыграли ее в кости.
Выиграл самый младший и погиб[1].

Мы пустились дальше с разбитыми веслами.

13
Гидра[2]

Дельфины, знамена, залпы —
это море, когда-то тебе столь горькое,
поднимало многоцветные молниекрылые корабли,
ввысь, и вниз, и в берег, синее, белокрылое,
когда-то тебе столь горькое,
а теперь под солнцем сияющее во все цвета.

Солнце, белые паруса, и взлетающие
весла били под бубен укрощенную волну.

Просиять бы твоим очам,
осязать бы твоим перстам,
как когда-то, ожить бы твоим губам
перед этим чудом:
ты искал его —
что искал ты сквозь пепел, дождь, туман и ветер
даже в час, когда тускнели огни,
город утопал, и с каменных плит
Назареянин раскрывал тебе сердце[3] —
что искал ты? почему не приходишь? что искал ты?

1. Имеется в виду Эльпенор (ср. Одиссея, X, 552). Об Эльпеноре подробнее см. "Сценарий для 'Кихли'".
2. Имеется в виду остров Гидра, сыгравший важную роль в освободительной борьбе Греции против турецкого владычества: жители Гидры, богатые судовладельцы, вложили немалые средства в эту борьбу.
3. Как отмечает Г. П. Саввидис, видный исследователь творчества Сефериса, речь идет о Лондоне. В эссе, посвященном поэту Д. Антониу, Сеферис пишет: "На мокрых плитах тротуара цветными мелками был нарисован Христос: одно блекло-вишневое пятно на лбу, другое — на груди, отмечая сердце..."

14

Три красных голубя на свету
чертят судьбу нашу на свету
красками и жестами тех людей,
которых мы любили.

15
Quid πλατανῶν opacissimus?[1]

Сон окутал тебя листвою, как дерево,
ты дышала, как дерево, тихим светом,
в родниковой ясной влаге виднелось твое лицо,
сомкнутые веки, ресницы в струйках.
Мои пальцы в мягкой траве нашли твои пальцы,
на мгновенье поймали пульс,
и почуялась где-то рядом боль твоего сердца.

Под платан, к воде, в гущу лавров
сон тебя перенес и тебя рассеял
с всех сторон, чтоб нельзя было обнять тебя всю сразу,
вместе с твоим молчаньем,
чтобы видеть тень твою, то длинней, то короче,
меж иных теней того мира,
что и высвобождал тебя, и удерживал.

Жизнь, которую нам дали прожить, мы прожили.
Пожалей тех, кто ждет, затерянно, терпеливо
в черных лаврах, под тяжелыми платанами,
говорит один в колодцах и водоемах,
задыхаясь в кольцах собственного голоса.
Пожалей товарища, делившего с нами пот и голод,
он канул в солнце, как ворон по ту сторону мрамора,
без надежды, что будет нам награда.

Дай нам мир по ту сторону сна.

16

по имени Орест[2].

Вкруг по колее, колее, колее:
сколько петель, сколько кровавых колец, сколько черных
людских рядов, и все они смотрят,
и смотрели, когда, сияя на колеснице,
я вскинул руку, и они взревели восторгом.

1. "Что... густая зелень платанов?" — Плиний Младший. Письма, I, 3. (*Прим. автора.*)
2. Софокл. Электра, 694. (*Прим. автора.*)

Конская пена брызжет в меня — когда кони вздыбятся?
Скрипит ось, раскаляется ось — когда она вспыхнет?
Когда лопнут ремни, когда подковы
вырвутся в простор мягкой травы, где весною
ты средь маков сорвала маргаритку?
Взгляд твой был прекрасен, но ты не знала, куда смотреть,
и не знал, куда смотреть, я, без родины,
я, сражающийся здесь вновь и вновь — сколько кругов?
Вот колени мои уже слабеют над осью,
над колесами, над злой колеёй.
Так легко слабеть коленям по божьей воле,
никому не уйти, ни к чему вся наша сила, никто не
минет моря, которое тебя ласкало, к которому
ты стремишься в час борьбы сквозь конский хрип,
с тростником у берега, певшим осенью на лидийский лад[1],
моря ищешь ты, но не сыщешь, сколько бы
ни кружил кругов пред черными Эвменидами[2],
утомленными, но не знающими пощады.

17
Астианакт[3]

Ты уезжаешь, возьми же с собою мальчика —
он увидел свет под этим платаном
в день, когда ревели трубы и сверкали доспехи
и вспотевшие кони наклонялись коснуться
мокрыми ноздрями в полной колоде
зеленой поверхности воды.

Оливы с морщинами наших предков,
скалы с мыслями наших предков,
кровь нашего брата, горячая на земле,
были радостью и несли привольный строй
душам, которые умели им молиться.

Ты уезжаешь, и день расплаты
настает, и уже никто не знает,
кого он убьет и как сам погибнет,
возьми же с собою мальчика, который
увидел свет под этим платаном
и научи его понимать деревья.

1. В древнегреческой музыке лидийский лад считался печальным и жалобным. Как отмечает Г. П. Саввидис, "лидийским ладом" написана третья часть Квартета Бетховена (ор. 132), особенно любимая Сеферисом.
2. Эвмениды – богини кровной мести, преследовавшие Ореста, который убил свою мать Клитемнестру, мстя за отца – убитого Клитемнестрой Агамемнона.
3. Астианакт – младенец-сын Гектора и Андромахи. После взятия Трои греками был сброшен с городской стены и погиб.

18
<*Погружение в камень*>

Мне жаль, что я дал широкой реке утечь сквозь пальцы,
сам не испив ни капли.
Теперь я погружаюсь в камень.
Маленькая сосна на красной земле —
больше нет у меня друзей.
Все, что я любил, погибло с домами —
с домами, новыми прошлым летом,
а теперь порушенными осенним ветром.

19
<*Предсмертие*>

И если ветер, он не несет прохлады,
и тень под кипарисами все уже и уже,
и все дороги вокруг нас — в гору.
Нам в тягость
друзья, не умеющие умирать.

20
<*Андромеда*[1]>

Снова в груди моей открывается рана,
когда звезды нависают, став родными моему телу,
когда молчание стелется под ноги человека.

Эти камни с годами тянут меня ко дну — глубоко ли?
Это море — кто его вычерпает и осушит?[2]
Утром я вижу руки, дающие знак коршуну и ястребу.
Я прикована к скале, и она болит моей болью.
Я вижу деревья, дышащие черным покоем мертвых,
и все те же улыбки неприближающихся статуй.

1. В оригинале название отсутствует, но во французском переводе Р. Левеска (1945) и в английском переводе Р. Уорнера (1960) стихотворение называется "Андромеда". Основываясь на том, что указанные переводы получили одобрение Сефериса, Г. П. Саввидис принимает заглавие "Андромеда" и для греческого текста. Андромеда — эфиопская царевна, прикованная к скале на съедение морскому чудовищу, но освобожденная Персеем. Мать Андромеды — Кассиопея, хвалившаяся своей красотой и тем прогневавшая морских нимф; жертвоприношение Андромеды должно было их умилостивить. Именем Кассиопеи названо созвездие; возможно, этим объясняется стих о *звездах, ставших родными моему телу.*
2. Эсхил. Агамемнон, 958.

У храма Аполлона Эпикурия в Фигалее (Пелопоннес, 1963)

21
<Живые и мертвые>

Мы отправились в наше паломничество,
мы смотрели на разбитые статуи,
мы забылись и сказали, что жизнь не так легко потерять,
что у смерти свои неисповедимые пути
и своя справедливость;

что когда мы умираем стоя,
побратимы среди камней,
повязанные и жесткостью и немощью, –
те давние мертвые сходят с круга и оживают
и улыбаются в странном спокойствии.

22
<Опыт>

Оттого, что перед глазами прошло так много, так много,
что глаза ничего не увидели, а только по ту сторону и по эту –

память, как белое полотнище ночью в овечьем загоне,
где странные призраки, еще более странные, чем мы,
движутся и теряются в мертвых листьях перечного дерева,

оттого что мы так верно узнали наши судьбы,
кружась меж разбитыми камнями, три или шесть тысяч лет,
обшаривая развалины — может быть, наши же дома, —
стараясь припомнить даты и деяния, —
сможем ли мы?

Оттого что были мы скованы и разбросаны,
и боролись с препятствиями, будто бы мнимыми,
потерянные и вышедшие на путь, кишащий слепыми
полчищами,
и тонули в болотах и в Марафонском озере, —
сможем ли мы умереть, как все?

23
<*Исход*>

Еще немного
и мы увидим, как зацветает миндаль,
мраморы сияют на солнце,
море волнуется

еще немного
подняться немного выше.

24
<*Конец*>

Здесь конец трудам моря, трудам любви.
Те, кто будет жить здесь, где мы кончились,
если в памяти их почернеет и перехлынет кровь, —
пусть не позабудут нас, слабые асфодельные души,
пусть заколют жертвы лицом в наш мрак[1]:

мы, ничего не имевшие, научим их душевному миру.

Декабрь 1933 – Декабрь 1934

1. Одиссея, X, 528. (*Прим. автора.*)
Жертвы подземным богам и мертвым (в т. ч. в культах героев) приносили, нагнув голову жертвенного животного к земле; жертву Олимпийским (небесным) богам — подняв голову животного к небу и перерезая горло.

В. Аристов
Посол и посланник

"Южноафриканский дневник" Сефериса, предчувствие "Кихли"

Воскресенье, 6 июля 1941 года, на борту "Нью-Амстердам " вблизи Дурбана[1].

Я поднялся на палубу, когда было уже темно. Моросил дождь... мне чудилось, что я прохожу пустынным бульваром в Париже. Все эти дни, вглядываясь в небо с его драгоценными звездами, я испытывал ужасную ностальгию по северному полушарию. Там, за кормой, за кильватером корабля, осталось все, что я любил в Греции, в Европе. Я перешел порог мира, о котором ни древние, ни более поздние наши предки не имели никакого представления. <...> Кто знает, поможет ли это мне написать мою книгу?[2]

Так начинается дневник, который вел Сеферис в Южной Африке, где исполнял обязанности первого секретаря посольства Греции — государства, после гитлеровской оккупации фактически существовать переставшего. Этот относительно краткий период оказался очень важен для поэта — здесь, в Южной Африке, он вернулся к стихам. Его дневники и письма, фиксирующие один из самых трагических периодов XX века, рисуют метафорическую и вместе с тем завораживающе точную картину мира, в которой отразились судьбы многих изгнанников. Кроме того, они позволяют проследить зарождение основных тем и образов поэмы "Кихли", одного из главных произведений поэта.

Должно быть, Сеферис, мысли которого были с Грецией, воспринимал свое плавание в Африку как путешествие "к антиподам" — буквально в потусторонний мир. Однако в своем вынужденном странствии он видел и сокровенное задание: изгнание и долгое возвращение на родину было трудным путем, смысл которого ему предстояло постичь.

Вот запись от 7 июля (в поезде "Дурбан–Йоханнесбург"):

Маро в веселом настроении, и я тоже, впервые с апреля. Птицы — после десяти дней без птиц, когда в поле зрения не было ни одной, если не считать летучих рыб. <...> Приветливая страна. <...> Красная почва напоминает нам Грецию. <...> Странные деревья, для которых я не подберу названия. У некоторых листья ярко-розового цвета, который озадачивает меня. Живые огни по всей сельской местности. Странная вещь — нет затемнения... Все огни, под полной луной, сияют.

Но уже на следующий день, 8 июля (Йоханнесбург), он пишет:

© В. Аристов, 2005

1. Дурбан (Порт-Наталь) — портовый город в Южно-Африканской Республике (в 1941 году — Южно-Африканском Союзе).

2. Здесь и далее дневник Г. Сефериса цитируется в переводах автора по изданию: George Seferis. South African Diaries. Poems and Letters / Edited and Introduced by Roy Macnab. — The Carrefour Press: Cape Town, 1990.

Холодно. Человек подобен цикорию. Его можно приготовить, или полить водой, или вырвать с корнем, или обжечь морозом. За короткое время мы прошли через все эти стадии. После жары Красного моря мы дрожим от холода сегодня утром. Поля покрыты инеем. Мы на плато, которое выше Парнаса, и здесь середина зимы. <...> Наша комната на девятом этаже. В окна видны желтые холмы, образовавшиеся из отработанной породы, <...> ведь мы в стране золота и алмазов.

В нескольких фразах обозначены границы мира: "горнего", который "выше Парнаса", и подземного, буквально вывернутого на поверхность. Это указание на время и место, которые исследует поэт: Одиссею для возвращения на родину нужно вначале попасть в Аид, чтобы испросить о своей судьбе душу слепого прорицателя Тиресия. Возможно, ни один из "писателей-мифотворцев" XX века не подошел так близко к "ситуации возвращения Одиссея", как Сеферис в Африке во время Второй мировой войны. Он словно и следовал путем этого мифа, и пытался преодолеть его:

Воскресенье, 5 октября, Претория

Пикник местных жителей — в англо-греческом стиле — в саду йоханнесбургского архимандрита. Когда мы приехали, несколько черных... поворачивали на вертеле свинью и трех или четырех ягнят. Эти ягнята и свинья были главными фигурами драмы. Остальные — пирующие, сидевшие под деревьями за длинным Г-образным столом, — являли собой хор. Они расчленяли животных, они пожирали их, и только кости оставались на бумажных тарелках. Кости побуждали к речам, а речи приглашали аккордеон и афинское танго. И был еще запах горелого мяса.

Поэт невольно соотносит черный африканский мир с миром потусторонним.

Об этом он пишет и в письме к Тимосу Маланосу[1] в Александрию:

Я только что обратил внимание, что отметил карандашом на твоем письме слово "агапантус"[2]; это цветок со стеблем как у асфодели, с лепестками фиолетового цвета, с кисточкой на конце. Умершие греки идут на поля асфоделей, черные — на поля агапантусов. Тебе не кажется, что я должен сделать это темой стихотворения в моем ботанически-зоологическом цикле?

На эту же тему Сеферис позже делает запись в дневнике:

Причины, по которым пишешь, иногда необъяснимы. <...> Сегодня — открытка (от Тимоса Маланоса). "Мы ждем стихотворения об агапантусах", — пишет он. Я отвечаю: "Я не настроен на стихи (честно!)". Я уже наклеил марку на свое письмо, как вдруг сел и написал стихотворение. И отослал в тот же вечер.

1. Тимос Маланос — греческий литературный критик, автор первого исследования творчества Кавафиса.
2. Агапантус, или агапант (Agapanthus — дословно с *греч.* цветок любви) — род многолетних травянистых растений семейства лилейных.

Так появилось одно из лучших стихотворений "Судового журнала II" – "Стратис Талассинос среди агапантусов". Вот характерные строки (в Аиде Одиссей разговаривал с душами умерших):

Но мне должны ответить мертвые;
эти цветы им говорить не дают,
они бессловесны, словно морская глубь или вода в бокале[1].

В соответствии с известными культурологическими представлениями переход через некоторый порог, границу, может означать не только проникновение в иное место, но и в другое время. Так, пребывание Сефериса в Южной Африке продолжалось примерно девять месяцев, но невозможно сказать, как ощущал оторванный от привычного мира поэт мифологическую протяженность времени. Вот что он записывает в дневнике:

Суббота, 18 октября, Претория
Вчера в Йоханнесбурге мне удалось достать экземпляр газеты "Таймс" (Лондон) – последнюю из пришедших – от 20 августа. Как только я открыл ее, вошел иной воздух, воздух Европы. Мы на чувствительной дистанции в два месяца. <...>

15 октября
Газеты. Невозможно даже приблизительно представить, что происходит в окружающем мире, на русском фронте, например. Новости, которые они сообщают, похожи на две конфликтующие жидкости, масло и уксус вместе. Южная Африка далека от войны, далека от наших интересов. Мы замкнуты в чуждом нам мире. Возможно, это самое важное для нас сейчас.

В одном из писем он пишет об этом же ощущении замкнутости:

Как бы то ни было, у меня нет выбора, и так как судьба занесла сюда, <...> с этой судьбой я буду пытаться сделать, что смогу. В понедельник мы уедем, чтобы постоянно жить в Претории. <...> "Претория? – спросил американец. – У нас есть нечто похожее в Америке и с таким же населением, это наше самое большое кладбище".

Тем не менее именно здесь, в Претории, как он отмечает 14 сентября в дневнике, к нему вернулся дар поэтической речи:

Позавчера я написал мои первые стихи после "Царя Асини"[2]. Я даже не смог подсчитать, сколько времени прошло с тех пор. Лишь только я написал слово "Претория", у меня появилось ощущение, что я очнулся от летаргии.

Мифотворчество в первой половине века принесло так много впечатляющих результатов и оставило так много руин – ведь тоталитарные системы воспроизвели самые мрачные стороны мифа: беспощад-

1. Перевод Л. Якушевой.
2. То есть с января 1940 г.

ный детерминизм, машинную точность рока, пренебрежение отдельным в угоду всеобщему. И во время войны и потом, "после Освенцима", надо было учиться писать по-новому, по-иному обозначить границы мифа — вплоть до определения мифа "персонального". Сеферис указывает в письме к Лоренсу Даррелу:

Я пытаюсь писать то, что умею: от лимериков до метафизических стихов. Думаю, что писать лимерики — хорошее упражнение для одинокого человека, можно предположить, что этот жанр развился в Англии потому, что все вы, островитяне, одиноки. Интересно, что тут есть нечто вроде индивидуальной мифологии.

Южно-Африканский Союз странным образом отражал безумную ситуацию того времени: страна объявила войну Германии, но хватало и сочувствующих фашистам. Премьер-министр Смэтс признался, что цветное население готово к отражению нападения со стороны Японии, но белые никогда его не вооружат. Вот что пишет Сеферис о человеческой разобщенности в стране:

Есть такие, кто <...> с радостью ожидает прихода японцев в качестве освободителей. Они и на минуту даже не задумываются, что здесь их (белых) всего два миллиона <...> и что японцы (или немцы) могли бы в 24 часа затопить их своим сверхизобильным населением.

Нельзя не упомянуть и самую сложную местную проблему — расизм, в то время, правда, еще и не достигший своей высшей точки (апартеид появился после войны), — по поводу которой у Сефериса не было иллюзий:

...люди, иммигранты, иностранцы, как ты и я, только они жили гораздо дольше в этой стране и лучше делают свое дело, <...> есть и черные, истинное местное население. Большинством из тех, кого мы видели, манипулируют белые; презираемые черные носят общеевропейский костюм. Но если ты и впрямь к ним внимателен, ты отметишь ритм в движениях, в голосах; и жадную любовь к орнаменту. Они не были отверженными прежде. У них был великолепный воздух.

В этих словах нет отвлеченного сочувствия европейца к африканцам ("черным", как называли их до ныне возникшей политической корректности), а есть интерес и любопытство к людям, а также одиссеева жадность к новым впечатлениям как стремление за видимый предел. Об этом свидетельствует и письмо Сефериса Генри Миллеру:

Кейптаун — это первое место, которое мне здесь понравилось. Море и всевозможные морские ветры. И еще цветы. Фантастическая флора, звероподобная и сверхбогатая.

<...> Надо идти далеко, к морю, чтобы начать осторожный разговор с людьми, найти старые голландские фермерские усадьбы первых поселенцев, коснуться <...> старых деревянных кроватей, вопрошать воздух в комнатах о знаке, оставленном старыми мореходами, знаке, что они достигли мыса Доброй Надежды. <...> У меня нет, однако, желания обманываться колониальным

фоном. <...> И даже стоя на краю полуострова, где заканчивается мыс Доброй Надежды, следя за чайками, парящими над волнами высоко над маяком, <...> я думал о печали тех путешественников, достигших высоких широт, кто впервые увидел этот песчаный берег, <...> где нет ничего человеческого <...> и надо карабкаться на брюхо земли, чтобы найти бытие, мысль, сердце. Греческая мания — желать все измерить в человеческих понятиях.

<...> Мыс Доброй Надежды. Я нашел ржавый багор на берегу и взял с собой.

Сеферис испытывает чувство отчуждения и заброшенности в замкнутый и чужой мир. О том же Кейптауне он пишет еще так:

Мне нравится это место. <...> Здесь меня сопровождает впечатление, что я все еще на поезде, который привез нас из Претории. В нем был кондиционер, окна и двери были плотно закрыты, и к нам поступал холодный искусственный воздух. Иногда чувствуешь ужасающую неестественность путешествия без контакта с внешним миром, как рыба в аквариуме или спаржа в закупоренной жестянке. <...> Я никогда не чувствовал до такой степени, что живу и думаю в капсуле ракеты, <...> что сейчас, завтра или на следующий год мы все, попутчики, станем пылью не знаю на какой отдаленной звезде.

Неукорененность физического бытия, непрерывное перемещение в пространстве, странничество с документами дипломата — по сути, обреченность на некое условное изгнание:

Постоянные приемы, обеды и тосты. Изнеможение. <...> Я совершенно чужд этому миру.

Феномен поэта-дипломата, знакомый нам, например, по жизненной судьбе Тютчева, в XX веке обрел новые черты: крупнейшие поэты Сен-Жон Перс, Клодель, Неруда прошли через подобное же испытание. В дневнике Сеферис записывает:

В "Юнион-отель", спускаясь по лестнице.

Мальчик лет десяти держит длинную удочку с веревкой вместо лески. Он часами сидит и удит рыбу на втором этаже (он был там, когда я поднимался) — внизу никого нет, нет и детей, кто изображал бы для него рыбу в этой игре. В одну из последних ночей я пробудился вдруг с ощущением, что я золотая рыбка в чаше, полной жидкого электричества. Все вокруг освещали молнии. Гром был почти не слышен, но сверкание молний — как волны в открытом море.

Сеферис — космополит, ищущий свою родину. Он словно для того и удаляется от нее, чтобы сильней ее полюбить и лучше узнать. Он занимает отстраненную позицию — исследует свою жизненную ситуацию как актер и режиссер или как врач, который ставит эксперимент на самом себе и твердой рукой записывает результаты. Среди его "ролей" и "обличий" — Стратис Талассинос ("Стратис Мореход"), Маттиа Паскаль (герой известного романа Пиранделло "Покойный Маттиа Паскаль", "исчезнувший" из обычной жизни после того, как его сочли погибшим), о котором написаны стихотворения "Письмо Маттиа Паскаля", "Маттиа Паскаль среди роз". Можно лишь условно назвать эти и другие эпи-

зодически возникающие сеферисовские обличья масками. Поэт не столько скрывает свое лицо, сколько пытается выявить черты других людей — может быть, очень индивидуальные, но и роднящие их со всеми. При этом свое движение в пространстве и во времени Сеферис ощущает как театральное действо, которое словно бы совершается на сцене античного театра, где разворачиваются события современности. Он пишет в стихотворении "Актеры" (из "Судового журнала-II"):

Строим подмостки, стелем настилы,
где б нетерпение нас ни носило...
<...>
вот наше сердце! Как губка морская,
по площадям и дорогам таскаясь,
поры питает, от жажды горя,
кровью разбойника, желчью царя[1].

Конечно, автор говорит тут о самом себе, о том сложном неоднородном явлении, которое представляет собой современный поэт. Неслучаен и его "самоэпиграф" к "Судовому журналу-II":

Временами мне кажется, что все мои образы не более чем татуировки, которые наносят себе на кожу моряки или заключенные.

Послевоенная поэма "Кихли" аккумулировала мотивы предыдущих поэтических книг Сефериса, но главное, она вобрала в себя и его южноафриканский опыт. Все поэтические образы прежних его произведений и южноафриканских стихов, как стрелки компасов, дрожащих под ветром, указывают в одном важнейшем направлении — в направлении этой поэмы. "Кихли" — так называлось транспортное судно, затонувшее вблизи острова Порос во время войны. В своем "Южноафриканском дневнике" Сеферис пишет, что нашел среди бумаг фотографию, сделанную в Греции: большой якорь на острове Порос, и эта находка, возможно, оказала решающее влияние на образную систему поэмы. (Отметим, что в книге "Маруссийский колосс" Генри Миллера — Сеферис получил ее в Южной Африке — упоминается легенда, согласно которой Порос возник из затонувшего корабля.)

Нельзя также не отметить самый существенный образ поэмы — стихию света, символизировавшую возвращение домой из лишенного света мира войны, из "потустороннего" мира Южной Африки (далее приводится отрывок из письма Сефериса Генри Миллеру):

Когда я вспоминаю прошлое, я думаю, что счастливейшим днем моей жизни за последние годы был день, когда на борту военного транспорта я почувствовал, что мы на пороге Греции (октябрь 1944 года), — ты знаешь, когда путешествие перестает быть горизонтальным и становится чем-то вроде девственного восхождения. Я думаю, что это был первый момент в моей жизни, когда меня коснулся свет. Я не могу выразить это чувство даже сейчас. Я знаю лишь, что оно было. Я знаю, что всей моей жизни было бы недостаточ-

1. Перевод Л. Якушевой.

но, чтобы выразить это чувство, вот и все. Я могу только стараться приблизиться к нему. В любом случае, мы вернулись в Грецию, и хотя слово "смерть" было у всех на устах, я не могу не благодарить Бога за каждую минуту, что мне было дозволено оставаться на ногах под открытым небом. Состояние совершенного отчаяния и абсолютной готовности к счастью.

Для заключительной части поэмы — а она так и называется "Свет" — очень важна тема "пророческого" ослепления. Потеря зрения внешнего, но прозрение света внутреннего, света истинного — мучительный и счастливый путь, когда "глаза твои будут пусты из-за света дневного". Это путь, который поэт и человек должен пройти, держась, словно за руку поводыря, за руку вещего слепца. Поэтому в мире поэмы есть и Тиресий ("мистический слепец"), сказавший свое слово нынешнему Одиссею, и Эдип, ослепивший себя, но познавший многое ("слепец гражданственный", предвидящий братоубийственную войну в родных Фивах, что читается как прямое пророчество о войне гражданской, которая началась в Греции после окончания Второй мировой), и Сократ, который для своих сограждан был "этическим слепцом", и Гомер ("слепец поэтический").

Кстати, в "Южноафриканском дневнике" Сефериса есть многозначительная аналогия:

Читая биографию Джойса, я подумал о странном совпадении. По мере написания "Улисса" он терял зрение. За несколько месяцев до окончания труда его глаза были в таком состоянии, что он катался по полу от боли. Слепой Гомер, ослепший Джойс.

Метафизические прозрения соединились в поэме Сефериса с самыми сильными и непосредственными жизненными переживаниями. Так, для Миллера, который восторженно писал о Греции, ее летний свет был откровением, но для Сефериса то был свет родной изначально, и, несмотря на всю тяжесть пережитого, ему предстояло по возвращении обрести его вновь, войти в него, как в новую купель.

Вот последняя запись (1942 года), которой завершаются южноафриканские "Одиссеевы записи" Сефериса, в ней он подводит итоги своего пути познания и открытий:

Суббота, 5 апреля

Прошлой ночью в Хартуме, перед сном, можно было видеть низко над горизонтом с одной стороны — Южный Крест, а с другой — Большую Медведицу. Мы остановились на пороге нашего собственного мира. Этим полднем мы будем в Каире.

Г. Сеферис
“Кихли”[1]

Перевод Владимира Аристова

Эфемерное порождение злого
демона и несчастной судьбы, почему
ты заставляешь меня говорить о
том, о чем тебе лучше было бы не
знать?

Силен — Мидасу[2]

I

Дом возле моря

Те дома что были моими у меня отняли. Годы
прошедшие были немилосердны; войны, разрушения,
изгнанье;
иногда охотник подбивает перелетную птицу
иногда нет; охота
была хороша в мое время, многие дробью подбиты;
остальные кружат или сходят с ума в убежищах.

Не говори мне ни о соловье ни о жаворонке
ни о маленькой трясогузке
что рисует цифры хвостом на свету;
не много известно мне о домах[3]
знаю только, что все они — одна порода.
В самом начале они, как младенцы,
играющие в садах с бахромою солнца,
они украшают цветные ставни и двери
сияющие во весь день;
но когда архитектор закончит работу, они изменяются
хмурятся или улыбаются или даже сердятся
на тех кто остался на тех кто ушел
на тех кто вернулся бы если б смог
или на тех кто исчез сейчас когда
мир становится безграничной гостиницей.

© Владимир Аристов. Перевод, 2005
Переводчик выражает искреннюю благодарность И. Ковалевой за помощь в переводе.
1. “Ки́хли” (“Дрозд”) — название маленького корабля, затонувшего во время войны вблизи острова Порос. *(Здесь и далее, кроме специально указанных случаев, – прим. перев.)*
2. Плутарх. Слово утешения к Аполлонию, 115 d. *(Прим. автора.)*. Фригийский царь Мидас потребовал от пойманного им Силена, чтобы тот открыл ему природу вещей и поведал будущее — в дальнейшем Мидас обрел способность (дар Диониса за освобождение Силена) все превращать в золото прикосновением, вторая легенда связана с ослиными ушами царя, которыми наделил его Аполлон.
3. Аллюзия на строки Т. С. Элиота из “Драй Сэлведжес” (“Четыре квартета”): “Не много известно мне о богах, но я думаю, что река – суровый коричневый бог...”

Не много известно мне о домах,
я вспоминаю их радость, их грусть
иногда, когда я останавливаюсь;
или еще
иногда, около моря, в комнатах оголенных
с единственной железной кроватью где нет ничего моего
глядя на вечернего паука я представляю
что кто-то готов войти, что его наряжают
в белые и черные одеянья с украшеньями разноцветными
вокруг перешептываются почтенные тетушки
волосы седые и темное кружево,
что он готов войти и попрощаться со мной;
иль это женщина — быстроглазая, высокоподпоясанная
возвратившаяся от южных гаваней
Смирны Родоса Сиракуз Александрии,
из городов замкнутых, как раскаленные ставни,
с ароматом золотистых плодов и трав,
она поднимается по ступеням не замечая
тех кто уснул под лестницей.

Знаешь, дома немного упрямятся, когда ты обнажаешь их.

II

Чувственный Эльпенор

Я увидел его вчера, он стоял возле двери
под моим окном; было примерно
семь часов; какая-то женщина была вместе с ним.
Он выглядел как Эльпенор перед тем, как тот пал
и разбился, однако он не был пьян.
Он говорил торопливо, а она
смотрела рассеянно в сторону на граммофон;
она обрывала его иногда чтобы вставить фразу
взглядывая нетерпеливо
туда где жарилась рыба; как кошка.
Он прошептал с погасшим окурком меж губ:

— Послушай еще об этом. В лунном свете
статуи склоняются иногда словно тростник
в окружении живых плодов — статуи;
и пламя становится олеандром дающим прохладу
пламя что человека сжигает, я так полагаю.

— Это свет... ночные тени...

— Может быть ночь раскрытая, синий гранат,
темное лоно, и ты наполнилась звездами[1]
рассекая время.

Но и статуи
склоняются иногда, разделяя желание надвое,
как персик; и пламя
становится поцелуем на теле, рыданьем
и затем свежим листком уносимым ветром;
они склоняются становясь легче чем вес человека.
Не забывай об этом.
— Статуи остаются в музее.
— Нет, они гонятся за тобой, неужели не видишь?
Обломками своих рук и ног
всем обликом чуждым что ты распознать не можешь
и который все-таки знаешь.
Это так словно
в конце твоей юности, ты любишь
женщину, которая остается прекрасной и ты боишься,
когда ты обнимаешь ее обнаженную в полдень,
памяти, что пробуждается в твоих объятьях;
ты боишься, что поцелуй предаст тебя
в других постелях теперь уже прошлых
которые тем не менее могли бы
стать обиталищем призраков и воскресить
отражения в зеркале, тела когда-то живые;
чувственность их.
Это так, словно
вернувшись домой с чужбины ты открываешь случайно
старый сундук, закрытый уж много лет
и находишь лохмотья одежд, которые ты надевал
в часы счастливые, на праздники в огнях
разноцветных, в зеркалах отражавшихся, а сейчас они гаснут
и все что осталось лишь запах отсутствия
юного образа.
На самом деле, не они истлели,
ты сам разрушен;
они охотятся за тобой в своей странной нетронутости
дома, в конторе, на приемах
у богачей, в неизбывном ужасе сна;
они говорят о событиях которых по-твоему лучше бы не было,
или пусть уж они совершатся после тебя,
и это так трудно, потому что...

— Статуи остаются в музее.
Доброй ночи.
— ...потому что статуи уже не обломки,
мы — эти статуи. Статуи склоняются легко... доброй ночи.

1. Сеферис указывает на связь этого фрагмента с его же хайку:
Нагая женщина
гранат расколотый был
полон звезд
Перев. И. Ковалевой

Тут они расстались. Он пошел
вверх по дороге на север
а она двинулась к залитому огнями пляжу
где заглушались волны шумом идущим из радио:

Радио

"Паруса́ что воздух наполнил
ничего иного ум в этом дне не запомнил.
Ароматом сосны и тишины
боли твоих ран утолены
что моряк уплывая нанес
мухоловка трясогузка рыбка-коковиос.
Женщина чье безмолвно прикосновенье,
слушай ветр погребенья".

"Бочка золотая разлита
солнце в тряпицу свито
на горле женщины средних лет
чей безостановочный кашель, как бред;
она тоскует о лете ушедших встреч
о золоте своего лона и плеч.
Женщина у которой свет отошел от лица,
слушай же песнь слепца".

"Стекла закрой, чтоб свет не проник;
будет флейтой тебе вчерашний тростник,
не отвечай на бешеный стук;
они кричат, но это бессмысленный звук.
Возьми цикламен, иглы сосны сухие,
лилии на песке и анемоны морские;
женщина, чей помутился ум,
слышишь, это воды погребенья шум..."

"Афины. Общество внимает с тревогой
новостям, времени остается немного
близится кризис. Господин премьер
требует принятия мер..."
"...возьми цикламен... иглы сосны сухие...
лилии на песке... иглы сосны сухие...
женщина..."
"...сверхсильно... все разметало.
О война..."
ДУШЕМЕНЯЛА.

III

Крушение "Кихли"

"Дерево что остужало мой лоб
в то время как полдень сжигал мои вены
хочет цвести в чужих руках. Возьми, я даю тебе его
взгляни, это дерево лимона..."
Я слышал голос
когда смотрел в глубь моря стремясь разглядеть
корабль, потопленный уж годы тому назад;
он назывался "Кихли"; маленькая гибель суденышка; мачты,
сломанные, колыхались странно в глубине, словно щупальца
или память о снах, отмечая остов
неясную пасть гигантского мертвого кита
размытую водой. Великое спокойствие распространялось
вокруг.

И другие голоса тихо-тихо один за одним
появились; шепоты слабых и страждущих
возникшие на обратной стороне солнца, темной его стороне;
можно было понять, что просили они хоть о капле крови[1];
голоса знакомые, но не смог бы я отличить один от другого.
И затем старческий голос меня достиг
я слышал его падая медленно в сердце дня
стихшее, словно недвижное:
"И если вы принуждаете меня выпить яд, я благодарю вас;
ваш закон будет моим законом; разве могу я
скитаться из одной чужеземной страны в другую,
перекати-поле,
я предпочту смерть.
А кому предстоит лучшее
знает лишь Бог[2]".

Страны солнца а вы увидеть не можете солнца.
Страны людей а вы увидеть не можете человека.

Свет

Чем больше проходит лет
тем больше судей, что осуждают тебя;

1. Согласно "Одиссее", тени умерших в Аиде могут обрести память и заговорить, только если попробуют жертвенной крови.
2. Почти дословно цитируются слова Сократа из "Апологии Сократа" Платона: "Но вот уже время идти отсюда, вам — чтобы жить, мне — чтобы умереть, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога" (перев. С. М. Соловьева).

чем больше проходит лет тем меньше голосов остается с
которыми ты собеседуешь,
ты видишь солнце другими глазами
ты знаешь, что те, кто остались, обманывали тебя,
безумие плоти, танец прекрасный
который заканчивается наготой.
Это так, словно ты поворачиваешь ночью на пустую дорогу,
и видишь внезапно сиянье звериных глаз
глаз пропавших уже; так ты чувствуешь свои глаза;
на солнце ты смотришь, затем ты потерялся во тьме;
хитон дорический
который качался как горы когда твои пальцы касались его,
мраморная фигура на свету, но ее голова во тьме.
И те кто сменил палестру на луки
стреляли в упрямого марафонца
и он видел как стадион уплывает в крови
пустеет мир как луна
засыхают сады победы;
ты видишь их в солнце, позади солнца.
И мальчики, которые ныряли с бушпритов
движутся как веретена, до сих пор продолжающие прясть
с нагими телами погруженными в черный свет
с монетою между зубов, все еще плывут,
пока солнце сшивало золотыми иголками
паруса, древесину сырую и краски морей;
до сих пор они опускаются вниз наклонно,
туда к гальке на морское дно
белые лекифы[1].

Ангельский и черный свет,
смех волн на морских дорогах[2],
слезный смех,
старый проситель[3] видит тебя
когда идет, пересекая незримые площади
отраженные в крови
породившей Этеокла и Полиника.
Ангельский и черный день;
солоноватый вкус женщины, дающей узнику яд
из волны возникшая юная ветвь в сверкающих каплях[4].
Пой, маленькая Антигона, пой, пой...

1. Лекифы – разновидность древнегреческих сосудов для туалетного масла: с узким горлышком, широким раструбом и вертикальной ручкой; белые лекифы (с росписью по белому грунту), на которых часто изображались обнаженные мужские фигуры, обычно использовались как надгробные памятники.
2. Ср. Эсхил. Прометей Прикованный, 89. (*Прим. автора.*)
3. Имеется в виду Эдип, отец Этеокла и Полиника, рожденных в кровосмесительном браке Эдипа с его матерью Иокастой. Сыновья Эдипа погибают в братоубийственной войне за фиванский престол (здесь их образы символизируют гражданскую войну в Греции 1944–1946 гг.). Сеферис указывает на связь этих стихов с трагедией Софокла "Эдип в Колоне" (стихи 1679–1682).
4. По замечанию Сефериса, здесь содержится отсылка к образу героини поэмы В. Корнароса "Эротокритос", юной Аретусы, также сравниваемой с прекрасной молодой ветвью (57–58). (*Прим. И. Ковалевой.*)

я не говорю тебе о прошедшем, я говорю о любви;
укрась свои волосы тернами солнца
темная дева;
сердце Скорпиона[1] зашло,
тиран из человека бежал,
и все дочери моря, Нереиды, Грайи[2]
спешат к сиянию восстающей богини[3];
и кто никогда не любил — полюбит[4],
в свету;
и ты себя обнаружишь
в доме огромном со множеством окон открытых
бегущим из комнаты в комнату, не зная куда посмотреть вначале
потому что сосны исчезнут, и отраженные горы, и щебетание птиц
море станет сухим до дна, стекло разбитое, от севера до юга
твои глаза будут пусты из-за света дневного
как вдруг внезапно и все сразу смолкают цикады.

Порос, "Галини", 31 октября 1946 г.

Якорь на о. Порос. Фото Г. Сефериса (1940)

1. Звезда Антарес — самая яркая в созвездии Скорпиона. (*Прим. автора.*)
2. Сеферис указывает, что имел здесь в виду Грайи "Теогонии" Гесиода (270–273) — прекрасных морских дев, седых от рождения, одну в шафранной, другую в "изящной" одежде, а не безобразных старух с одним зубом и одним глазом на всех, как они описаны в позднейшей мифологической традиции. (*Прим. И. Ковалевой.*)
3. Афродита Анадиомена ("встающая из пены морской").
4. Припев средневекового латинского "Бдения Венеры" (Pervigilium Veneris).

Г. Сеферис
Сценарий для "Кихли"[1]

Перевод Ирины Ковалевой

На исходе 1949 года Георгос Кацимбалис попросил меня написать ему письмо, которое могло бы помочь доброжелательному читателю понять "Кихли". В самом деле, тогда эта поэма казалась весьма малопонятной. С удовольствием, какое доставляет письмо другу, я сел и сочинил *сценарий* – это был мой новогодний подарок. Я сказал ему: "Вот так примерно можно было бы снять фильм по 'Кихли'". Другими словами, я сыграл роль – иного выхода у меня не было – обычного читателя, более или менее подготовленного: мое собственное истолкование не могло бы быть более весомым. Кое-кто понял мой замысел; иные поторопились (возможно, не без задней мысли) приписать мне намерения, для меня непредставимые: они решили, что я попытался дать своим стихам "авторское истолкование" или, проще говоря, дополнить стихи прозой.

Дорогой Георгос,

поскольку Андреас[2] затруднился обнаружить "кормчую нить второй части" "Кихли" – а возможно, и иных частей поэмы, я решил теперь внимательно присмотреться к X и XI песням "Одиссеи": к фрагменту, начинающемуся 133-м стихом X песни и завершающемуся речью матери Одиссея (XI, 224), то есть к эпизоду с Киркой и "Вопрошанию мертвых" – первой части "Схождения в Аид".

На Поросе осенью 1946 года у меня не было с собой "Одиссеи". Тогда по утрам, прежде чем приняться за работу, я перечитывал для разминки по нескольку стихов из последней песни "Илиады". Тем не менее раз уж нам нужна путеводная нить Ариадны (не важно, стоит ли дело того), я полагаю, что названный мною фрагмент "Одиссеи" дает нам таковую, и притом не худшую, хотя и post factum: когда я писал "Кихли", *я не держал в уме те подробности, на которые укажу сейчас.* Но кто знает: быть может, эти ассоциации жили во мне неосознанно, когда я принялся складывать кусочки опыта, пережитого мною с октября 1944 года – и отчасти записанного, то есть со времени возвращения в Грецию с Ближнего Востока через Италию. "Опыт", относящийся к "Кихли", начинается там, где кончается стихотворение "Последняя стоянка" ("Судовой журнал-II").

С другой стороны, я должен сказать, что обращение к Гомеру отнюдь не произвольно. Имя Элыпенора недвусмысленно отсылает читателя к эпизоду "У Кирки", а стихи

© Ирина Ковалева. Перевод, 2005
1. Публикуется в сокращении.
2. Имеется в виду критик А. Карандонис. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

И другие голоса...
появились; шепоты слабых и страждущих
возникшие на обратной стороне солнца, темной его стороне;
можно было понять, что просили они хоть о капле крови[1] –

к эпизоду "Вопрошания мертвых" (XI, 48–50):

Сам же я меч обнажил изощренный и с ним перед ямой
Сел, чтоб мешать приближаться безжизненным теням усопших
К крови...[2]

Но об этом мы поговорим в свое время.

Итак, *представим себе*, что тот, кто говорит в "Кихли" от первого лица, – это в некотором смысле Одиссей. Так мы получим еще одно преимущество – право думать, что люди, которым выпало жить во времена нестабильности, скитаний и войн, хотя и отличаются друг от друга (в том числе в худшую сторону) разной степенью величия и достоинства (сейчас я не касаюсь этого), тем не менее движутся среди одних и тех же чудовищ и страстей. Значит, мы вправе сохранить символы и имена, донесенные традицией мифа, если только будем помнить, что типические характеры изменились под влиянием времени и преобразившихся условий нашего мира; ведь эти условия – не что иное, как условия жизни каждого, кто стремится их выразить. <...>

Как мы помним, Одиссей прибывает на остров Кирки после того, как побывал у Циклопа и на неустойчивом, подвижном, плавучем острове ветров Эолии. Этот плавучий остров давно не давал мне покоя:

Остров Эолов, к тебе ветра меня воротили, –
Твой господин мне их дал, в тыквенной увязавши бутыли[3].
Спутники разорвали серебряное плетенье,
мой разорвали сон и моря оцепененье,
и отпустили нагого меня у подножия бури,
одного, изможденного телом и с горькою скорбью,
что зачернила мой ум, как стеклянную старую вазу... –

так, сколько могу припомнить, я писал, сочиняя "Эротикос Логос"[4] – у меня нет под рукой моего архива. <...>

Итак, Одиссей прибывает на остров Кирки после циклопов, после плавучего острова Эола, после лестригонов, побивших острогой – точно рыбу – спутников Одиссея там, где "равниною гладкою лоно морское сияет" (X, 94):

Далее поплыли мы, в сокрушенье великом о милых
Мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслися от смерти, –

1. Здесь и далее поэма "Кихли" цитируется в переводе В. Аристова.
2. Здесь и далее "Одиссея" цитируется в переводе В. А. Жуковского.
3. Сеферис использует здесь (не знаю, насколько сознательно) слово, обозначающее "бутыль из высушенной тыквы", созвучное слову, обозначающему "бурдюк", "мех для вина": у Гомера Эол дает Одиссею именно мех ("askos") с ветрами. Далее используется слово "бурдюк", чтобы указать на связь стихов Сефериса с гомеровским мифом.
4. Последняя часть сборника "Поворот".

говорит нам Одиссей (X, 133–134). Но оставим пока в стороне соответствия, которые связывают, быть может, приключения нашего Одиссея – Одиссея "Кихли" – с предшествующими ("Судовой журнал-II"). Я все-таки должен дописать это письмо, пока не кончился год.

Дом Кирки – это первый *дом*, который видит Одиссей после стольких испытаний, стольких убийств и стольких безрассудств (вроде развязанного бурдюка с ветрами), дорого ему стоивших; это первая встретившаяся ему роскошь: горячая вода в купальне, забота и внимание, обильная трапеза, высокая кровать и тело прекрасной женщины. Этот дом расслабляет; уцелевшие спутники здесь превращаются в свиней. Одиссей радуется неге; но в какой мере и как – неизвестно, ибо на уме у него иное: его собственный дом. Если ты не против, мы назовем этот *его собственный* дом *светом.*

Здесь и начинается "Кихли".

Пейзаж Пороса, когда я проводил там свой первый за восемь лет отпуск, вызвал у меня разноречивые чувства. Одно из них я назвал "Ганнибал у ворот"[1]. Но и прежде Порос был самым "сладострастным" (я осознанно употребляю это слово) из известных мне уголков Греции: лимонные рощи, каналы и этот хорошо видный противоположный берег Пелопоннеса с его удушливой роскошью. Он часто действовал мне на нервы. Дошло до того, что я стал называть его спальней великой блудницы, – видишь, сколь "анти-эльпеноровским" я могу быть иногда. В таких обстоятельствах начинаешь мечтать о голой, залитой солнцем скале в открытом море, словно о спасательном круге. С другой стороны, вилла "Тишина" – дом в викторианском стиле, красный, как помпейские фрески, – впервые за многие годы дала мне ощущение не временного бивуака, но прочного дома, которого, как я уже приучился думать, более не существует. Там была музыкальная шкатулка, игравшая пять-шесть мелодий той эпохи, когда наши деды были зрелыми мужами. Стоило открыть ее – и она пела, монотонно и настойчиво, о временах, которые, если верить статистике кризисов, были самыми счастливыми для Европы.

Итак, Одиссей после стольких катастроф – а также предчувствуя иные, предстоящие – размышляет о странной вещи, которую люди называют *дом.* Он приходит к ощущению, что дом видится ему живым человеком – или призраком человека: у Одиссея и прежде было такое чувство, когда ему случалось входить в чужие богатые дома.

...дом
весь в деревянных решетчатых ставнях и недоверчив когда
приглядишься к темным углам
"давно уже я привык укладываться рано" он шепчет
.....
Дом
разбужен шагами матери по ступенькам лестниц
рукою что стелет покрывала оправляет тюлевый полог
губами задувающими пламя свечи[2] –

1. Восклицание, означающее близкую опасность: в 211 г. до н. э. карфагенский полководец Ганнибал двинул войска на Рим, чтобы вынудить римлян прекратить осаду Капуи.
2. Строки из стихотворения Сефериса "Piazza San Nicolò" (1937), в котором отразились воспоминания о его родном доме в Смирне.

воспоминания детства. Такие воспоминания приходят к нему и здесь, во дворце Кирки. Он погружается в грезы. И здесь шепчутся старые дамы, когда им является призрак юноши. Его обряжают как жениха и как мертвеца:

точно он готов войти и попрощаться со мной.

Это, если угодно, призрак мертвого Эльпенора, "товарища прежнего призрак", говорившего с Одиссеем в тот миг, когда появилась тень его матери (XI, 83–84). <...>

Далее Эльпенора заслоняет фигура женщины:

иль это женщина – быстроглазая, высокоподпоясанная.

Гомер называет ее "прекраснокудрявой", "чародейкой". Когда я писал, мне не вспомнились эти эпитеты. В моем замысле Кирка – не богиня и не колдунья: она обобщенный символ наслаждения, инстинкт и мука чувственности. В поэме я не называю ее по имени. Но я использовал эпитеты языка, близкого к Гомеру, – языка Гесиода: "быстроглазая", "высокоподпоясанная"[1], которыми, на мой взгляд, не следует пренебрегать и сегодня. Я скажу (и для меня этого довольно), что атмосфера, окружающая эту полуденную женщину: благоухания плодов, трав и жарких городов Средиземноморья, – абсолютно недвусмысленна. <...>

Мне казалось, что более ничего не нужно, чтобы перейти к диалогу между чувственным Эльпенором и Киркой, который мы слышим во второй части. Но сперва проявляется реакция Одиссея: он понимает, что наслаждение, окружающее его, есть лишь оборотная сторона гибели. Кирка

поднимается по ступеням, не замечая
тех кто уснул под лестницей –

как уснули бы пьяные: она не замечает Одиссеевых мертвых. Удобство этого дома начинает тяготить его. Первая часть завершается упоминанием обнаженных, огорченных, упрямых домов. Все это дано легкими штрихами, в двух измерениях. Глубина намечается лишь несколькими точками, в легких тонах.

Поскольку чувственный Эльпенор говорит незадолго до того, "как он упал и разбился", мы и во второй части находимся в логове Кирки. Как повествует "Одиссея", Эльпенор разобьется на заре следующего дня, перед отплытием к царству Аида (X, 551–560). Очень вероятно, что Эльпенор не умел управлять своими плотскими порывами (ведь причина его гибели – "погублен... силой вина несказанной", XI, 61) и в первые дни побывал в свиной шкуре, – я говорю так не затем, чтобы унизить его, но чтобы придерживаться языка мифа, – то есть познал, как и другие спутники Одиссея, лоно Кирки. Когда появился Одиссей и Кирка ря-

1. Здесь память подвела Сефериса: это слово из гомеровского словаря (Il. IX, 594; Od. III, 154) Гнедич переводит "красноопоясанная", Жуковский – "глубокоопоясанная", Аристов – "высокоподпоясанная".

дом с ним позабыла всех прочих, позволив им, таким образом, снова обрести человеческий облик, Эльпенор не смог позабыть наслаждение сладострастия. Он тоскует о возвращении в хлев. И с этой тоской обращается к Кирке. Кирка, как всякая равнодушная женщина, и думать не хочет об этом любовнике. Ее инстинкты влекут ее в другую сторону: к Одиссею. Ей некогда, она спешит отделаться от Эльпенора, чтобы пойти вниз, к морю, где в крошечной кофейне отыщет того мужчину, которого хочет и который уйдет прочь следующим же утром. Эльпенор, чувственный и робкий, совершенно неопытный, полная противоположность "лживому бродяге", пытается намеками и иносказаниями говорить с ней о телесной любви. <...>

Здесь я остановлюсь, чтобы сделать несколько частных замечаний.

I. О характере Эльпенора

Мой замысел был бы, полагаю, более ясен, если бы читатель держал в памяти те случаи, где в моих более ранних вещах Эльпенор появляется либо как индивидуальный, либо как групповой персонаж. <...> В "Мифосказе" аргонавты, покорные и молчаливые, – это, без сомнения, тот же самый характер: это видно из стихов –

> Их весла –
> Знак могил, где они спят на побережьях[1] –

отсылающих к словам мертвого Эльпенора в "Одиссее" (XI, 77–78):

> В землю на холме моем то весло водрузите, которым
> Некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил.
>
> <...>

Справедливо, что никто их не помнит: они не герои, они Эльпеноры.

Ты спросишь, может быть, почему я пишу о них с симпатией: да потому, что люди, относящиеся к этой категории, – нечто среднее между героями (в гомеровском, а не, Боже упаси, карлейлевском смысле слова) и Терситами, это самые симпатичные люди. Даже гомеровский Одиссей, увидев первым среди теней умерших Эльпенора, жалеет его и плачет (XI, 55). Я не говорю, что они достойны любви или восхищения; я говорю – *симпатичные*, чувствительные, обыкновенные – и погибшие напрасно... <...>

Эльпенор (как подметил с присущей ему наблюдательностью Димитрис Николареизис[2]) появляется у меня не однажды. Судя по доходившим до меня откликам, этот слабый, обыкновенный человек более других растрогал моего читателя – быть может, потому, что символизирует тех, кого в обыденной речи мы называем "бедняга". Тем не менее не следует забывать, что эти беззлобные люди именно в силу своей простоты

1 Перевод М. Гаспарова.
2. Греческий критик, автор статьи о гомеровских реминисценциях у Сефериса.

часто становятся превосходными проводниками зла, истоки которого — в ином месте.

Кроме того, у меня сложилось впечатление, что кое-кто думает, будто Эльпенор — это я. <...> Раз уж мы сегодня взялись разбирать все по косточкам, скажу: Эльпенор — это я в такой же мере, в какой Бувар и Пекюше — Флобер. Часть меня есть и в этом персонаже, как часть всякого человека есть в его творениях. Или, лучше сказать, — припомнив слова Китса, над которыми очень стоит поразмыслить, — Эльпенор столь же принадлежит мне, сколь хамелеону — его окраска. Иногда я сострадаю ему, но куда чаще ожесточенно спорю с тем состоянием расслабленности, которое он воплощает и которое, как мы ощущаем, окружает нас подобно стоячей воде.

<...>

Вернемся теперь к *сценарию*, который мы сочиняем. Именно так можно было бы снять фильм по "Кихли".

Эльпенор, находясь в состоянии "заторможенности", как сказал бы психиатр, пытается уловить фантасмагорически ускользающие статуи. Если бы он, к примеру, говорил, как Кавафис: "В лунном свете, сладострастные тела...", — была бы надежда, что его когда-нибудь поймут. Так у меня появляется повод вновь использовать образ статуи в третьей части ("хитон дорический" и так далее), но, к сожалению, и у Кирки появляется повод послать к дьяволу Эльпенора — как посылают меня мои читатели, которые находят меня чересчур герметичным.

— Что за чушь, — отвечает ему она. — Статуи остаются в музее.

Когда Кирка отвечает так в первый раз, Эльпенор чувствует себя униженным, пытается спорить и окончательно портит дело. Его следующие слова — это уже не призыв к любви, а забота червя, живущего в сердцевине плода наслаждения. <...>

Здесь Кирка, вероятно, начинает кое-что понимать, но поскольку осознает ничтожество, что есть в ней самой, раздражается еще больше. Она больше не может выносить Эльпенора: он нестерпимо зануден. Она сухо, поспешно обрывает его и поворачивается к нему спиной.

Не знаю, стоило ли так подробно анализировать этот диалог. Было бы куда проще заметить, что во времена иные, более простые и более счастливые, чем наши, поэт — например, Ронсар — сказал бы своей подруге то, что хочет выразить Эльпенор, примерно так:

Для чего ж ты сберегла
Нежность юного чела,
Жар нетронутого тела?
Чтоб женой Плутона стать,
Чтоб Харону их отдать
У Стигийского предела?
.....

Все, чем ныне ты горда,
Все истлеет без следа —
Щеки, лоб, глаза и губы,
Только желтый череп твой

Глянет страшной наготой
И в гробу оскалит зубы[1].

На этом Эльпенор и Кирка расстаются. На другое утро (ухватимся снова за путеводную нить Гомера) Одиссей отправится в царство мертвых, где первой ему встретится душа Эльпенора, который, проснувшись, упал с крыши и разбился. Что произошло в "Кихли", я не знаю: может быть, ничего не видевшего вокруг себя от тоски Эльпенора сбил желтый автобус, направляющийся в Эдем[2]. Во всяком случае, в последний раз мы слышим его голос — чувственный и горький, теперь куда более благородный и достойный (смерть все упрощает и устраняет суетливость) — в начале третьей части поэмы, которая открывается "Вопрошанием мертвых", эти стихи связывают предшествующее с последующим.

Между тем слышится песня радио — не столь бессвязная, как может показаться. В легком и шутливом тоне она воплощает те же идеи бега времени, тирании памяти и гибели, о которых говорил Эльпенор. Слова ее могли бы быть такими:

Прошла прошла прошла
молодость прошла
как птица пролетела...

Наступает осень земли и осень человеческой жизни:

она тоскует о лете ушедших встреч
о золоте своего лона и плеч.

Это также песня изгнанника:

Паруса что воздух наполнил
ничего иного ум в этом дне не запомнил.
Ароматом сосны и тишины
боли твоих ран утолены
что моряк уплывая нанес...

Легко вообразить, что Кирка, которая все время поет ("пела прекрасно певица" — X, 254), поет за ткацким станком после отъезда Одиссея эту самую песню, чтобы заглушить тоску:

мухоловка трясогузка рыбка-коковиос...

Как первая часть завершается упоминанием тех, кто уснул под лестницей, и обнаженных домов, так и эта — безличным отголоском ужаса и мгновенной катастрофы — в выпуске новостей, который врывается в последнюю строфу и перебивает ее.

Последнее слово, внезапно обрывающее вторую часть — точно кто-то выключает радио, — ДУШЕМЕНЯЛА. В нашей постановке его мог бы

1. Перевод В. Левика.
2. Имеется в виду район Афин.

произносить поэт или хор. Это слово, разумеется, отсылает к потрясающему образу Эсхила: война, забирающая юношей, чтобы вернуть прах, — "Арес-меняла" (я думаю, что имею право считать эти вещи нашим общим достоянием; если это не так, тем хуже для нас). Но слово это изменено. Думаю, что в такой форме я нигде его не видел; в словаре древнегреческого языка я его не нашел. Может быть, я его сочинил: Душеменяла, меняла душ[1], — это не только тот, кто забирает души, чтобы вернуть мертвые тела, но и тот, кто *меняет души*:

Дождливая осень в этой дыре
заставляет гноиться наши раны
хочешь назови это иначе мстительная судьба
или просто дурная привычка к обману и лжи
или даже корысть — нажиться на чужой крови.
Легко войне истереть человека...

Последняя стоянка

Боюсь, что мое короткое письмо Левеску[2] ввело в заблуждение Андреаса: в двух первых частях "Кихли" нет никакого "противостояния света и мрачной реальности жизни". Там есть разные стороны реальной жизни, может быть, самые важные для сочинителя; там есть молчаливое движение к царству мертвых: память, тоска по дому, эротизм, гибель, катастрофа; вещество жизни. В начале дома́ играют на солнце, как дети, как хвостик трясогузки; затем освещаются многочисленные закрытые пространства, замкнутые люди. Открытые окна и мощный водопад света мы обнаружим в последних стихах поэмы. Тем не менее соответствия и антитезы этим закрытым освещенным пространствам отсылают к третьей части. <...>

По совету Кирки Одиссей отправляется вопрошать тени умерших, как найти дорогу домой. Старинные тексты хранят подчас драгоценное знание: Кирка, то есть телесные чувства, наслаждение, посылает нас в иной мир, к мертвым, чтобы те указали нам путь возвращения. И в самом деле то, что мы называем "эротизмом", играет важную роль, как явствует из многочисленных примеров, в пробуждении тоски по возвращению и жажды окончательного искупления, которое одни именуют обретением потерянного рая, а другие — единением с богом. Теперь, перелистав еще раз древнюю поэму, я почувствовал тайную радость оттого, что логика моего сочинения привела и меня от чувственного Эльпенора к царству мертвых; я всегда испытываю радость, если то, что, по моему убеждению, есть образец высокого искусства, напоминает мне, что я не оригинален. Оригинальность — это забава юности, которую до́лжно однажды перерасти.

В самом начале я назвал дом, *собственный* дом Одиссея, куда он хочет возвратиться *светом*. Может быть, несколько строк, которые я собираюсь прибавить, покажут, что я был не настолько своеволен, как мне тогда казалось. Не умею объяснить более пространно — я не философ. Я

1. "Душеменяла" — неологизм, сочиненный Сефери́сом; он использует его также применительно ко времени ("время — меняла душ") в эссе "К. П. Кавафис, Т. С. Элиот: параллельные".
2. Р. Левеск — переводчик стихов Сефериса на французский язык.

имею дело не с отвлеченными идеями: я слушаю, что говорят мне вещи, смотрю, как они сплетаются с моей душой и с моим телом, — и даю им голос. Андреас удачно припомнил то место у Паламаса, где тот цитирует Гёте. В Александрии, в 41-м году, вскоре после того, как на Крит обрушились беды, я нашел и отметил в книге, принадлежавшей моему другу, удивительные слова, сказанные Гёте Эккерману: "Вы можете не сомневаться, что, едва человеческий дух перестает быть занят внешним миром, он отступает или разрушается... Наше время — время упадка; вещи отворачиваются от нас; они становятся все более и более субъективными..." Я бы очень хотел, если бы имел право, настоятельно рекомендовать молодым поэтам, блуждающим в облаках и жалующимся на недостаток воздуха, задуматься над этими словами.

Как бы то ни было, когда Кирка посоветовала Одиссею отправиться в царство мертвых, к Тиресию, он сказал ей:

— Кто же укажет мне путь? Никто никогда не достигал Аида на черном корабле...

А она в ответ:

— Не заботься о провожатом, дуновение ветра поведет тебя... (X, 501—512)

Предположим, что "черный корабль" — это "Кихли":

...мачты,
сломанные, колыхались странно в глубине, словно щупальца
или память о снах, отмечая остов
неясную пасть гигантского мертвого кита
размытую водой...

Мачты, как мне кажется, похожи на стрелки, которые рисуют на дорожных указателях: они указывают путь в "область снов". Здесь совершается вопрошание мертвых. Первым слышится голос Эльпенора:

Дерево что остужало мой лоб
в то время как полдень сжигал мои вены
хочет цвести в чужих руках. Возьми, я даю тебе его
взгляни, это дерево лимона...

Затем вступают другие голоса — матери, друзей; знакомые голоса. Одиссей прогоняет их: он должен сперва услышать старца Тиресия:

И затем старческий голос меня достиг...

Скоро предстал предо мной и Тиресия фивского образ (XI, 90).

— Ты жаждешь возвращения домой, Одиссей, — возвращения, что слаще меда; но будет оно трудным — бог пожелал так.

Тиресий говорит ему о свете; о солнце; о быках Солнца: если вы окажете им почет, то возвратитесь домой, а если только коснетесь их, то

изведаете все горести. Я тоже думаю, что все дело в том, чтобы оказать почет быкам Солнца — почтить свет каждого дня, данного богом. Спутники Одиссея, неразумные, — не почтили их, съели — и погибли. Теперь они пребудут "невинными и сытыми"[1] во веки веков, без возврата —

День возврата у них он похитил (I, 9) —

рассеянные по миру, бессмысленно погибшие: они более не могут увидеть ни солнца, ни человека:

Страны солнца а вы увидеть не можете солнца,
Страны людей а вы увидеть не можете человека.

Как видишь, я мог бы добраться до этих стихов, точно следуя сюжету "Одиссеи". Но я предпочел выбрать иной, более соответствующий моему собственному голосу, тон. В "Кихли" истолкователь возвратного пути — не Тиресий, а персонаж, представляющийся мне более человечным. Это голос праведника. Я даю это понять абсолютно недвусмысленно, поскольку привожу практически дословно несколько фраз из "Апологии Сократа".

Теперь я думаю, что замысел вопрошания мертвых и вопрошания мудреца был у меня давно: сравни в "Мифосказе" —

пусть не позабудут нас, слабые асфодельные души,
пусть заколют жертвы лицом в наш мрак:

мы, ничего не имевшие, научим их душевному миру[2].

Таким образом, Сократ должен лишь повторить слова своей защитительной речи, произнесенные перед судьями. Он говорит о возвращении, имея в виду самое смерть — смерть человека, предпочитающего стать жертвой беззакония, но не преступить закон.

Конечно, любое объяснение стихов — безумное, по-моему, занятие. Это ясно всякому, кто хоть сколько-нибудь представляет себе, как работает художник. Можно многое пережить, многое узнать, быть тренированным, как акробат. Но когда художник берется за дело, компас, который им управляет, — это инстинкт, знающий, когда и как выводить на свет и прятать в закоулки сознания вещи, лучше сказать — *интонации*, нужные или ненужные, или нужные ровно настолько, чтобы сделать *нечто*: стихотворение. Он уже не думает о материале — он его осязает, взвешивает, щупает его пульс. Если этот инстинкт незрел и еще не способен указывать путь, самое пламенное чувство может оказаться столь же разрушительным и бесполезным, как ледяная рассудочность, — и выйдут не стихи, а заикающийся лепет. С точки зрения мастерства, я назвал бы поэзию "гармонической речью" — с ударением на слове *гармонической*, в смысле связи, ассоциации, соответствия, уравновешивания одной мысли — другою, одного звука — другим, соответствия одного и

1. Отсылка к стихотворению Сефериса "Спутники Одиссея в аду".
2. Перевод М. Гаспарова.

другого образа, одной и другой эмоции. Когда-то я говорил о *поэтическом слухе*: я имел в виду слух, способный различать такие вещи.

Мне кажется, что поэтический слух, как я его понимаю, в сегодняшней Греции, говоря вообще, находится на более низком уровне, чем, например, на Ионических островах времен Соломоса или чем в среднем в нынешней Европе.

Может быть, это так потому, что мы об этом не заботимся, может быть, в силу нашей языковой анархии, а может, потому, что развитие поэзии было чересчур стремительным и мы за ней просто не поспевали. Но, как правило, мы в Греции слышим *меньше*, чем можно ожидать от опытного читателя стихов. Этим же объясняются те довольно грубые ошибки, которые то и дело находишь в критических статьях, посвященных поэзии. Как бы то ни было, чтобы *слышать* стихи, нужен слух; все остальное — рождественская болтовня, вроде той, какою я сейчас занят.

Я думал об этом, пытаясь понять теперь, почему в "Кихли" произошла замена Тиресия на Сократа. Мой первый ответ: потому, что мне иначе виделась расстановка акцентов, необходимая, чтобы завершить то целое, которое я задумал. Тиресий даже не пришел мне на ум. Далее — автобиографическая причина: "Апология Сократа" — один из текстов, более всего на меня повлиявших, быть может, потому, что мое поколение выросло и прожило значительную часть жизни при беззаконии. В-третьих, потому, что мне органически присуще чувство тождества человечности — и греческой природы.

Я должен сказать, что это чувство — а его, думаю, разделяют со мной многие — подчас весьма болезненно. Оно противоположно тому состоянию небытия, отрицания "я", которое испытываешь перед лицом великолепия иных чуждых пейзажей. Но мне и в голову не пришло бы назвать "великолепными" типично греческие пейзажи, о которых я говорю. Это особый мир: линии, возникающие и тающие, тела и ли́ца, трагическое молчание *лицá*. Это трудно выразить, и я уже вижу тех, кто готов зашикать: "Грабитель могилы Яннопулоса!"[1] Что поделать, я верю, что греческий свет обладает способностью вочеловечения. Иногда я думаю об Эсхиле — не о том Титане или Циклопе, каким его подчас хотят представить, но о человеке, который чувствует и выражает чувства почти так же, как мы, который воспринимает стихии природы и реагирует на них так же, как мы. Я думаю о том механизме справедливости, который он изображает, — об этой расплате за Наглость и Обман, которая, кажется, представляет собою не только этический, но и физический закон. За сто лет до Эсхила милетянин Анаксимандр думал, что *вещи* расплачиваются гибелью за то беззаконие, которое совершают, нарушая порядок времени. А позже — Гераклит: "Солнце не преступит положенных мер, а не то его разыщут Эринии, союзницы Правды"[2].

Эринии будут преследовать солнце — так же, как они преследовали Ореста: подумай о тех узах, что соединяют человека с природными стихиями, об этой трагедии, одновременно природной и человеческой, об этой близости природы и человека. Что, если это свет вдруг становил-

1. Периклис Яннопулос (1869–1910) — греческий поэт, отличавшийся крайним национализмом.
2. Перевод А. Лебедева.

ся Орестом? Это так легко, только подумай, — что, если свет дня и кровь человека были одним и тем же? До *какого предела* можно это ощутить? Говорят: "Это антропоморфизм" — и идут себе дальше. Но мне этот феномен не кажется таким уж простым. Если способность к вочеловечению, о которой я говорил, породила "Одиссею", до какого предела мы можем *видеть* "Одиссею"?

Эта тема завела бы нас очень далеко — я остановлюсь здесь: мы добрались до Света. А свет не объясняют, его видят. Все прочее для нашей постановки пусть сделает читатель — надо же что-нибудь сделать и ему! — только пусть он припомнит последние слова Антиклеи[1], обращенные к сыну:

> Вовсе тогда, улетевши, как сон, их душа исчезает.
> Ты же на радостный свет поспеши возвратиться, но помни,
> Что я сказала... (XI, 222—224)

Вот что примерно напомнило мне затопленное суденышко, на котором в лучшие времена ходили в тренировочные рейсы новобранцы Пороса. <...>

А теперь — поскольку мы совершенно о ней забыли — доставь мне удовольствие: прочитай вместо колядок поэму, которая называется "Кихли".

С Новым годом.

СЕФЕРИС

Анкара, 27 декабря 1949 года

Со скульптурой русалки, послужившей прототипом рисунка-логотипа всех прижизненных изданий Сефериса

1. Антиклея — мать Одиссея, которую тот встречает в царстве мертвых; когда Одиссей уезжал из дому, Антиклея была жива, весть о ее смерти не дошла до него в странствиях; он был потрясен, увидев тень матери в Аиде.

Г. Сеферис
Письмо другу-иностранцу[1]

Перевод Ирины Ковалевой

Дорогой друг,

мне очень жаль, что я вынужден много говорить о себе, говоря об Элиоте. Жаль, но что поделаешь: я здесь без книг и без бумаг; будьте снисходительны к страннику.

Поэзия Элиота вошла в мою жизнь в 1932 году и остается в ней по сей день. Я очень многим ему обязан — не в последнюю очередь тем, что он указал мне пути постижения английской литературы и английского языка: бесценный дар для такого, как я, самоучки в этих предметах.

Я помню то время — теперь мне кажется, что это было очень давно, — когда я открывал для себя, едва ли не на ощупь, Лондон — огромный морской порт; когда учился музыке английского языка, куда более изменчивой в сравнении со звуками нашей речи, — и поражался, ощущая терпкий вкус смерти в тумане, напряженное биение страха в жилах великого города. Я думал: в наших краях смерть — это внезапный выстрел, а здесь — медленно действующий яд. Меня терзала тоска, порожденная моей обостренной чувствительностью и той сдержанной и на поверку холодной вежливостью, которая меня тогда окружала; я еще не обзавелся в Англии друзьями и знал только уличную толпу да музеи. Прерафаэлиты в галерее Тейт наводили на меня скуку, и я не раз чуть не бегом бежал из дому, чтобы снова взглянуть на скульптуры Парфенона — особенно, не знаю почему, на статую, которую называют Илиссом, — или в Национальную галерею, к маленькому портрету работы Доменикоса Теотокопулоса[1]: у меня была ни на чем не основанная, но навязчивая идея, что моделью ему послужил один критский лодочник. Накануне Рождества 1931 года я перебирал рождественские открытки в книжном магазине на Оксфорд-стрит. Тогда среди раскрашенных гравюр я впервые взял в руки стихи Элиота. Это была "Марина", из "Песен Ариэля":

> Что за моря, что за отмели, что за серые скалы и острова
> Что за вода лижет нос корабля
> И запах сосен...

С тех самых пор вплоть до 41-го года, когда однажды вечером в Кейптауне я прочел "Драй Сэлведжес", и до сего дня, когда я пишу тебе на этом высоком нагорье, окруженном голою степью, тот одинокий, медленно плывущий корабль запечатлен в моем сознании как одна из самых ярких примет поэзии Элиота. Пусть это не удивляет тебя: дело в

© Ирина Ковалева, Перевод, 2005

1. Это эссе было написано Сефери сом для сборника, посвященного 60-летию Элиота: T. S. Eliot. A Symposium, compiled by Richard March and Tambimuttu. PL 1948. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Настоящее имя Эль Греко.

том, что для многих из нас корабельные форштевни занимают то же место в детском иконостасе, что у других детей — рожица футбольного мяча или семейные фотографии. Разумеется, я воротился домой с "Мариной" и томиком стихов, одетым в фиолетовый переплет, — тем самым, что кончается "Полыми людьми", если память мне не изменяет. Эпиграф из Петрония "Сивилла, чего ты хочешь?" побудил меня прочесть "Бесплодную землю". Не думаю, что я много понял из этой поэмы: чтение ее предполагает обширные познания в английской литературе, которых тогда у меня не было. Но драматическая манера поэта возбудила во мне глубокий интерес. После дадаистского штурма и экспериментов сюрреализма, которые я наблюдал во Франции, после всех этих устрашающих копаний в себе и взрывов "эго", наэлектризовавших эпоху до состояния тропической атмосферы в начале сезона дождей, воскрешение драматической традиции, которое я увидел у Элиота, вело меня к более плодородным землям. Вероятно, покажется удивительным, что я говорю об этом применительно к такой поэме, как "Бесплодная земля", внушавшей скорее чувство жажды среди иссохших кактусов, — чувство, которое мы так хорошо знали в наши счастливые годы. Но разница в том, что, если во Франции это алчущее отчаяние выражалось в поисках столь же отчаянной поэтической техники, в Англии Элиот выразил его через человеческие характеры.

...Стетсон!
Стой, ты был на моем корабле при Милах!
Мертвый, зарытый в твоем саду год назад, —
Пророс ли он? Процветет ли он в этом году —
Или, может, нежданный мороз поразил его ложе?
И да будет Пес подальше оттуда, он друг человека
И может когтями вырыть его из земли!
Ты, hypocrite lecteur! — mon semblable, — mon frère![1]

Я давно не слышал ничего подобного, и слова "Иеронимо снова безумен" волновали меня задолго до того, как я прочел хоть один стих Томаса Кида[2]. Говоря проще: помимо средиземноморского лика "Марины", поэзия Элиота открывала мне нечто куда более важное, нечто, что не могло не тронуть грека: стихию трагедии.

Был у меня еще один старинный знакомец, из-за которого я чувствовал, что Элиот мне особенно близок. То был француз, которого я очень полюбил, когда приехал учиться в Париж, едва закончилась Первая мировая война: Жюль Лафорг. Когда я оглядываюсь назад теперь, после всего, что мы пережили, те годы кажутся мне чем-то вроде фильмов Чарли Чаплина. "Большая Берта" — детская игрушка в сравнении с блицкригом и всевозможными "фау"! Тогда еще можно было веселиться. Кто это сказал (Аполлинер или кто-то другой), когда немецкая тяжелая артиллерия впервые обстреляла Париж: "Ну-ну, Эйфелевой башне наступили на мо-

1. Лицемерный читатель! — мой двойник, — мой брат! (*франц.*) Здесь и далее стихи Элиота цитируются в переводе А. Сергеева.
2. Томас Кид (1558–1594) — английский драматург, автор трагедии "Испанская трагедия, или Иеронимо обезумел вновь".

золь"? Тогда только начали увлекаться джазом. Я покупал орешки у уличного торговца, когда увидел, как в конце проспекта разорвался снаряд. Я приехал в Париж в июле, он был тогда абсолютно пуст, — а в ноябре, во время празднования перемирия, он был битком набит народом, яблоку негде было упасть. Моя комната была самым выстуженным жильем, в каком мне когда-либо доводилось обитать. Бродячий скрипач приходил каждый день и надрывал душу своей песенкой. По ночам на мосту Сен-Мишель старуха, продавщица фиалок, канючила: "Pour vos amours, 'sieurs dames"[1]. Я читал Гомера и самые сумасбродные авангардистские журналы. Я был до крайности одинок и погружен в грезы. Тогда я и узнал Лафорга. Первой причиной, сблизившей меня с ним, была, видимо, моя ледяная студенческая келья. Хотел бы я иметь сейчас под руками его книгу, чтобы перечитать письмо, которое он написал сестре из подобного же обиталища — с улицы Сомерар, если не ошибаюсь. Этот юноша, умерший в 28 лет, был для меня братом, старшим десятью годами. Мне нравился его стиль. Я поражался, почему во Франции он не был известен и любим. Он был не в моде, Рембо и Лотреамон затмили его. И, однако, как он сам говорил, "c'était un' belle âme, comme on n'en fait plus aujourd'hui"[2]. Я знал наизусть почти все его стихи. Сейчас, когда я пишу тебе, глядя из окна на безликий заснеженный горизонт, сотни его пейзажей встают между этим снегом и бумагой, которую я мараю.

Мне всегда казалось поистине странным и примечательным, что серьезные английские литераторы при первом знакомстве с трудом и недоумением воспринимали "Пруфрока". Француз вроде Алена Фурнье не удивился бы нисколько. В крайнем случае заметил бы, что юноша, которого когда-то представил ему Лафорг, постарел лет на десять, а то и на двадцать, и потихоньку начал лысеть.

Я и сегодня благодарен безвестной продавщице книжного магазина за то, что она предложила мне именно те стихи, о которых я говорил, а не "Пепельную среду". Если бы мое знакомство с Элиотом началось с этой поэмы, боюсь, для меня навсегда была бы потеряна первая искра сочувствия — Божий дар, столь важный в подобных случаях. Что поделаешь, у нас — народа, давшего миру великих Отцов Церкви, — теперь нет мистиков. Мы очень преданы религиозному чувству и религиозным идеям, но нам свойственно даже самые абстрактные из них наделять своего рода "домашностью", чем-то таким, что христианин Запада счел бы идолопоклонством. К тому же мы очень консервативны — в этимологическом значении этого слова. Ни одна из наших традиций, будь то христианская или дохристианская, на самом деле не умерла. Часто, отправляясь в церковь в Страстную Пятницу, я не могу сказать точно, какого Бога погребают — Адониса или Христа. В климате или крови тут дело, не знаю. В глубине души я полагаю, что в оттенке света. Есть что-то в свете нашей страны, что делает нас такими, как мы есть. Мы в Греции как-то породственному близки с мирозданием. Это трудно выразить словами. Идея здесь с удивительной легкостью становится вещью. Можно сказать, что в паутине солнечных лучей она одевается плотью почти в фи-

1. "Для ваших возлюбленных, дамы и господа" (*франц.*).
2. "Это была прекрасная душа, каких сегодня уже не делают" (*франц.*).

зиологическом смысле. С другой стороны, иной раз нельзя точно понять, что за гора высится перед тобой, — камень это или жест. Слово, не ставшее плотью, есть нечто превосходящее наши возможности, и ужас в наших краях приобретает вид механической точности. Может быть, этим объясняются некоторые черты греческого характера, непонятные иностранцам, — и, возможно, тут есть некая связь со структурой древней трагедии. Но я отвлекся от нашей темы, извини. Я пытался хоть как-то объяснить, почему, несмотря на то, что многие мои английские друзья, с которыми я многократно обсуждал "Пепельную среду", безмерно восхищаются этой поэмой и считают ее лучшим созданием Элиота, я воспринимаю такие стихи, как

Брела между лиловым и лиловым
Брела между
Оттенками зеленого...

скорее как раскраску гербового поля, чем как аутентичный образ. Я чувствую себя почти виноватым за то, что меня совсем не трогают стихи:

Если утраченное слово утрачено
Если истраченное слово истрачено
Если неуслышанное, несказанное...

"Квартеты" — куда более трудные стихи, если слово *трудный* вообще имеет смысл применительно к поэзии, но они устроены совершенно иначе. Поэтому я порой думаю, что к "Пепельной среде", вероятно, применимо то, что пишет сам Элиот о "Гамлете" Шекспира: трудно найти "объективный коррелят".

Но вероятнее всего, дело во мне самом. Ведь поэзия — не одно и то же для всех и каждого; по крайней мере, она не приносит всем один и тот же плод, а если и приносит — то разными средствами. Возьми, например, "Бесплодную землю". Я полагаю, что так или иначе, позитивно или негативно, опосредованно или непосредственно, "эмоция Бесплодной земли" — назовем ее так для краткости — пропитывает всю эстетику современной поэзии. Тот, о ком можно сказать, что он выразил эту эмоцию на греческом языке, — это старик, я чуть не сказал "Геронтион"[1], воплощающий колоссальную по глубине и объему аутентичную традицию. Но у него нет никаких реформаторских поползновений. Напротив: он явным образом испытывает отвращение к любым реформаторам. Он словно бы говорит нам: люди таковы, каковы есть, пусть идут, куда им положено, исправлять их — не мое дело. Это мифолог с потрясающим "чувством истории" (я имею в виду — в элиотовском смысле). Читая его, трудно сказать, не собирается ли сегодняшний юноша из александрийской скобяной лавки пойти вечером в притон, где развлекались подданные Птолемея Лафира, и не намерен ли любимец Антиоха Епифана[2] поговорить с царем о вторжении Роммеля. Он — я говорю о Кавафисе — жил на огромном кладбище, среди гробниц и эпитафий, и там со скор-

1. Игра слов: по-гречески название стихов Элиота значит "старикашка".
2. Имеются в виду персонажи стихотворений Кавафиса "Дни 1909, 1910 и 1911 годов", "Слово к Антиоху Епифану" и др.

бью, с кроткой скорбью он бесконечно молил о воскрешении некоего юного тела — некоего Адониса, — отчуждаемого и унижаемого с течением лет все более и более продажной любовью. Можно сказать, что душа поэта, втайне от него самого, в отчаянии поит бальзамом мертвеца, не способного воскреснуть. Этот Старик не имеет понятия ни об огне Чистилища — к тому же в православии нет Чистилища, — ни об адском пламени. Он любит свои грехи и скорбит о том, что старческая немощь не позволяет ему грешить и дальше. Его единственное тщеславие — оставаться "греческим", "отличие, почетнее которого человечество не имеет", как он говорил. Рассказывают, что на последнем листке бумаги, который он держал в руках, — голоса у него уже не было[1], — он отметил точку, а вокруг нее нарисовал окружность: чтобы подчеркнуть эту точку. Он завершил свою жизнь, как и свои тщательно отделанные стихи, знаком препинания. Этот Грамматик иногда производит впечатление "мистика-безбожника", — если только выражение госпожи Эмилии Тест[2] имеет какой-нибудь смысл.

Я привел в пример Кавафиса, потому что он может показать тебе — разумеется, весьма приблизительно и во многом упрощенно, — как соотносятся греческая поэзия и поэзия Элиота. Однако если можно сказать, что Кавафис написал (в своей манере и при условии внесения всех необходимых изменений) некую "Бесплодную землю", то есть обозначил то место, откуда нам так хочется выбраться, — он никогда не мог бы написать "Квартеты". Но как говорит мой друг Рекс Уорнер, Греция, эта маленькая страна, на самом деле состоит из множества Греций. Кавафис — только одна из них. Поэт, который мог бы (родись он на 150 лет позже) ближе всего подойти к "Квартетам", — это Дионисиос Соломос. Он тоже, подобно Элиоту, исключительно чуткий исследователь Данте, одаренный изумительным "слуховым воображением". "Il miglior fabbro del parlar materno"[3] для нас всех — не столько, думаю, с точки зрения того, что ему удалось, сколько — того, что он пытался сделать. Есть какое-то потрясающее коварство судьбы в том, что новогреческая поэзия начинается с поэта, которого куда естественней вообразить современником Малларме, чем современником Байрона. Богатое наследство, которое он нам оставил, — это фрагменты незавершенных произведений и ужасные зияния. Это наследство, очерчивающее наши границы. Как бы то ни было, сегодняшний читатель со странным чувством видит в предисловии, которое написал ближайший друг поэта, сохранивший после его смерти все, что смог собрать, такие слова: "[Его искусство] — не что иное, как обреченная на провал беспредельно искренняя попытка растворить свою личность в абсолютной истине, воплощающая на деле речение Гераклита: Хотя разум общ, большинство людей живет так, как если бы у них был особенный рассудок"[4], и т. д. Эти слова, напи-

1. У Кавафиса был рак горла; ему сделали трахеотомию, после чего он потерял голос и вынужден был писать то, что хотел сказать.
2. "Письмо госпожи Эмилии Тест" (1924) входит в цикл знаменитых прозаических сочинений Поля Валери, объединенных вымышленным персонажем — господином Тестом, имеющим, однако, черты сходства с автором; современники Валери воспринимали господина Теста и его автора как одно целое.
3. "Получше был ковач родного слова" (Данте. Чистилище, XXVI, 117, перев. М. Лозинского): у Данте так поэт Гвидо Гвиницелли называет провансальского трубадура Арнаута Даниеля; так же Элиот называл Эзру Паунда.
4. Перевод А. Лебедева.

санные в октябре 1859 года, несомненно, напомнят тебе, что говорит Элиот в эссе "Традиция и индивидуальный талант": "Прогресс художника — это постоянное самопожертвование, постоянное уничтожение всего личного", как и изречение Гераклита, послужившее эпиграфом к "Квартетам".

*

Вот что я могу ответить на твой вопрос об отношении Элиота к греческой поэзии; боюсь, мой ответ не вполне удовлетворителен. О другом, о нынешнем, я не считаю себя вправе судить: в наших краях есть критики, утверждающие, что в тех немногих стихах, которые написал я, они различают влияние Элиота, — меня это не слишком удивляет, ибо я верю, что в искусстве нет партеногенеза. Всякий человек сделан из того, что он усвоил. Но именно потому, что усвоение поистине важно, так трудно говорить об этих таинственных процессах. Да, я попытался перевести на греческий язык "Бесплодную землю" и некоторые другие вещи Элиота. Полагаю, я занялся этим по двум причинам. Во-первых, это был единственный способ выразить то восхищение, которое они мне внушили; во-вторых, мне хотелось испытать возможности моего родного языка. Теперь, двенадцать лет спустя, мне кажется, что эта попытка была во многом неудачной и принесла больше пользы мне, чем читателю. Она, по крайней мере, заставила меня распахать значительный участок английской литературы. Я работал как студент по семь часов в день, на протяжении пяти или шести месяцев[1]. Помню, как я умаялся, разбираясь, относится ли слово "горящий", которым завершается "Огненная проповедь", к Августину или к Будде. Я и теперь не уверен, что в конце концов нашел ответ. Тем не менее я вспоминаю об этой работе с теплым чувством. То был последний раз, когда я мог, скажем так, *беззаботно* предаться какой-то работе, связанной с литературой. После началась неразбериха военного времени. Но и среди этого хаоса Элиот остался для меня, как и для многих, полагаю, — я думаю о столь безвременно ушедшем Сидни Кейесе — одним из уцелевших источников света в окутанном мраком мире:

> — Тише, — сказал я душе, — жди без надежды,
> Ибо надеемся мы не на то, что нам следует; жди без любви,
> Ибо любим мы тоже не то, что нам следует; есть еще вера,
> Но вера, любовь и надежда всегда в ожидании.
> Жди без мысли, ведь ты не созрел для мысли:
> И тьма станет светом, а неподвижность ритмом.

Эти строки связаны в моей памяти с ревом первых Hurricanes[2] в греческом небе. Друг-англичанин, одолживший мне книгу с этими стихами, был убит на нашей земле. Эти стихи обнажают, по-моему, силу и слабость тех, кто еще пытается смотреть независимо на положение человека.

Но ты не ждешь, что в этом письме я прокомментирую все творчество Элиота. Да я и не собираюсь этого делать. На мой вкус, и так уже на-

1. Это было в 1935–1936 годах: так вышло, что тогда власти ко мне не благоволили. (*Прим. Сефериса.*)
2. "Харрикейны" — английские истребители.

писано слишком много комментариев, отвлекающих внимание читателя, — удивительно ли, что раздаются суждения вроде следующего, которое я слышал собственными ушами: "Элиот — плохой поэт, потому что он рассуждает о колоде Таро, не разбираясь в этом"? Разумеется, опыты Элиота довольно сложны; но зачем усложнять их еще больше? Так, утверждали, например, что "промотавшийся миллионер" из "Ист Коукер" — это Адам. Иные же настаивали, что это — Зевс Банкир Андре Жида. Пожалуйста, не требуйте от меня перевода: я предпочитаю видеть эти стихи так, как они были написаны. Поэт приходит к нам со своим опытом — а мы движемся к нему, как можем, с тем опытом, которым располагаем. И потому я хотел бы, если мне будет позволено, побудить читателя (я повторяю слова самого Элиота о Шекспире) радоваться поэзии Элиота изо всех сил, используя все способности, которые ему даны, чтобы наслаждаться поэзией, и все чувства, которые живут в его душе, пусть даже совершенно отличные от чувств Элиота. Попытайтесь следовать за неуклонным и упорным восхождением поэта к взысканию жизни — среди всей той падали, что его окружает; попробуйте идти тем путем, который начинается в саду "Figlia che Piange"[1] и завершается розой из "Литтл Гиддинг". Я не стремлюсь упростить то, что не поддается упрощению, но порой я думаю — может быть, потому, что и сам изрядно поплутал, стараясь выяснить значение деталей в поэзии Элиота, — я думаю, что это невозможно сделать, не нанеся серьезного ущерба самой поэзии. Я также думаю, что, когда мы истощим свой запас абстрактных рассуждений, выясняя, к примеру, смысл "выкупа времени", — стоит задаться вопросом, не подойдем ли мы ближе к пониманию этого смысла, если обратимся к опыту, который приобрели в те мгновения, когда нас как громом поражала любовь:

> Есть часы, когда кажется, что нет ни прошлого, ни будущего
> Лишь настоящее — луч света
> Когда ты хочешь сгореть. Когда ты протягиваешь руку
> К пламени.

Я хотел бы попросить читателя: попробуйте *послушать* "Квартеты" Элиота точно так же, как вы слушаете в концерте Canzona di ringraziamento[2], — и понаблюдать, не ощутите ли вы и там, как возвращается к жизни израненное тело. Разумеется, здесь потребовалось бы множество уточнений — но оставим это. Во всяком случае, Элиот более, чем кто-либо иной, действительно воплотил мечту старины Малларме: "Reprendre à la musique le bien de la poésie"[3] (не уверен, что правильно цитирую), — мечту, которая со времен седого символизма породила столько ложных шагов, иллюзий и заблуждений.

Но я хочу добавить еще вот что: не следует забывать, что помимо великих заслуг перед поэзией Элиот имеет авторитет человека, честного перед своим искусством, перед самим собой и перед другими людьми. И это немало, особенно если подумать, что в наши дни нет недостатка в

1. "La figlia Che Piange" — стихотворение Элиота из книги "Пруфрок".
2. 3-я часть "Quartet in A Minor" Людвига ван Бетховена, op. 132.
3. "Забрать у музыки добро поэзии" (*франц.*). Неточная цитата из эссе С. Малларме "Кризис стиха".

поэтах, употребляющих слова "истина" и "свобода" с тем же безразличием, с каким говорят незнакомцу: "Очень рад с вами познакомиться". Мы уже давно вступили в эпоху механизированного идиотизма, механизированной фальши и механизированного саморазрушения. Кое-каких плодов этих современных изобретений вкусили и мы в Греции — и платим за это "слезами и кровью нашей", как говаривали вы в военные годы. Здесь я умолкаю; я сказал бы немало горьких слов, но сейчас не время для них, хотя

> Что выткано в советах принцев —
> Выткано в наших жилах и в наших душах
> Выткано точно основа из живых червей...

Вернемся к нашему разговору. В те стародавние времена, когда я впервые прочел "Марину", мне не давала покоя одна фраза Сан Хуана де ла Крус — короткая фраза, которая, по-моему, проливает больше света на тайны рождения поэзии, чем целые тома ученых диссертаций. Вот она: "Тот, кто стремится постигнуть тонкости искусства, обречен двигаться вперед во мраке, ибо его начальные познания ему не в помощь, и если он не оставит их позади, то уже никогда не сможет от них отрешиться". Эта фраза, по-моему, лучше всего описывает, как двигался вперед Элиот. Не только потому, что Элиот продвигался именно так, взыскуя самых совершенных тайн мастерства, но и потому, что ему очень подходит настрой смиренной и тихой муки, исходящий от этой фразы. Разве не поразительно, что во времена *наглости* столь значительный поэт был поэтом смирения? "Смиренье бесконечно..."

Под конец я скажу тебе еще кое-что. Однажды весенним вечером, бродя по улочкам Челси, я вошел в пустую церковь — названия ее я не помню, — спасаясь от внезапно налетевшей грозы. Сквозь цветные оконные стекла мне было видно, как борется с дождем и ветром растрепанное дерево. Вдруг без всякого предупреждения заиграл орган, сопровождая одинокий женский голос, и через несколько мгновений все стихло. Я огляделся: никого. Только раскрашенный саркофаг лорда Дакра с окаменевшими фигурами на крышке — мужской и женской — и герб с девизом: "Pour bien désirer"[1]. То ли пустая церковь, "жилище одного лишь ветра", то ли умолкшая песня привели мне на ум Элиота: я подумал, что его любят потому, что "il a bien désiré"[2].

Твой
Георгос Сеферис

Анкара, 15 апреля 1948 года

1. Зд.: "За силу желаний" (*франц.*).
2. "Он желал сильно" (*франц.*).

Г. Сеферис

Прогулки с Гомеровыми гимнами[1]

Перевод Ирины Ковалевой

Бессмертные смертны, смертные бессмертны, одни живут за счет смерти других, за счет жизни других умирают.

Гераклит. фр. 62 DK[2]

1.
Да поможет нам святой Амбелий

Аттическое лето пылало, словно сосна, охваченная пламенем. Тогда-то из-за стечения непредвиденных обстоятельств я взялся писать о *Гомеровых гимнах*. Я размышлял о них неделями напролет, не зная, как к ним подступиться. Не то чтобы эти гимны были трудны сами по себе, с точки зрения поэтической, нет: меня приводила в ужас *филология* — величайшее подспорье и величайшая помеха для писателя. В то же время я полагал, что работа ученых была сделана великолепно и кто я такой, чтобы требовать от них большего; одним словом, я колебался.

В начале нашего века Поль Валери, обращаясь к Андре Жиду, обронил: "Кто теперь занимается греками? Я уверен: то, что ныне называется *мертвыми языками*, догниет и рассыплется в прах. Мы уже не в состоянии понять чувства героев Гомера..."[3]

Может, и так. Однако и сам Валери не пренебрегал, как мы знаем, этими "мертвыми языками" в своем лучшем, на мой взгляд, произведении — в "Морском кладбище"[4]. И я мог бы в свою очередь заметить, что тезис Валери "мы уже не в состоянии понять чувства" с равным успехом приложим и к героям "Божественной комедии", и даже (если вспомнить, в какое время мы живем) к героям "Отверженных" Виктора Гюго. И в самом деле, спрашиваю я себя, если додумать этот тезис Валери ("мы уже не в состоянии понять чувства...") до конца, со всей логической строгостью — а такой строгости требует от меня этот упрямый ри-

© Ирина Ковалева. Перевод, 2005

1. Публикуется в сокращении.
2. Перевод с др.-греч. А. Лебедева. Здесь и далее все выделения курсивом принадлежат Г. Сеферису. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)
3. А. Жид. Дневник. 9 февраля 1907 г. (*Прим. автора.*)
4. Например, эпиграф к "Морскому кладбищу" взят из Пиндара.

горист, — не придем ли мы к заключению, что нам вообще не дано понимать чувства других людей?

Вот какое соображение приходило мне на ум и отпугивало от занятий *Гомеровыми гимнами*. Были и другие: например, я рожден и воспитан в традиции греческого православия, в традиции великих отцов Восточной церкви; я не выбирал своей участи, так было мне суждено. И разве человек, обладающий такой предысторией, может иметь что-нибудь общее с языческой теологией? Я припоминал Назианзина — и вместе с ним "христианского" Кавафиса ("Препятствие"[1]). И однако, размышляя о начале "Гимна к Деметре" (мне всегда казалось, что в этом гимне свет и тьма странным образом родственны друг другу), я вспомнил историю, которую в связи с этим рассказывает Джеймс Фрэзер в "Золотой ветви", она заслуживает того, чтобы привести ее здесь. Речь идет о колоссальной статуе Деметры, которая находилась в Элевсине и которую в 1801 году Кларк вывез в Англию. Впоследствии он подарил ее Кембриджскому университету.

Фрэзер цитирует воспоминания английского путешественника Додуэлла: "Во время моего первого путешествия культ этой богини находился в полном расцвете. Среди руин ее храма, в самой середине гумна, стояла ее статуя. Деревенские жители были уверены, что собираемые ими обильные урожаи шли от щедрот этой богини, а с ее вывозом, уверяли они меня, изобилию пришел конец"[2]. И делает вывод: "Итак, через девятнадцать столетий после рождества Христа статуя богини Деметры продолжает стоять на току в Элевсине и "одаривать" верующих в нее зерном, как она делала это на острове Кос во времена Феокрита".

"Верующих в нее..." Едва ли я стал бы утверждать, что "верую в Деметру". И тем не менее в глубине души я знаю: неправда, будто эта история оставляет меня равнодушным. Точно так же я был тронут, услышав на Кипре о пещере неведомого мне святого Амбелия, куда и в наши дни пастухи приносят свои свирели, посохи и коровьи колокольцы, прося его о покровительстве. "Суеверия темного народа", — скажете вы. Пусть тот из просвещенных, кто совершенно уверен, что свободен от любых суеверий, особенно от суеверий высшего порядка, ныне столь распространенных, — пусть он и бросит первый камень. Древние культы в Греции еще не вовсе угасли. Анахронизм? Но я предпочитаю анахронизм очерствению души. Предпочитаю, покуда человек, идя в ногу со временем, не отыщет новые ценности, которые заменят собою суеверия.

Итак, с помощью Деметры с элевсинского гумна и святого Амбелия я обрел то чувство причастности к предмету, которого мне недоставало, чтобы говорить о *Гомеровых гимнах*.

1. Мешаем мы богам творить благодеянья,
за краткий век не накопив ни опыта, ни знанья.
На благо дивные дела во Фтии, в Элевсине
Фетида и Деметра начинают, но
когда запылал огонь и дымом все полно,
всегда в смятении кидается к богине
мать Метанира, подглядев из-за дверей,
и страхом губит все отец Пелей.
Перевод С. Ошерова

2. Здесь и далее "Золотая ветвь" Дж. Фрэзера цитируется в переводе М. Рыклина.

*

Гимны, обыкновенно называемые *Гомеровыми*, носят это название не потому, что их — все или большую часть — сочинил некий поэт, звавшийся Гомером, но потому, что под этим именем их сохранила традиция, а еще потому, что они написаны стихотворным размером гомеровского эпоса: дактилическим гексаметром. Это *эпос*, а не *мелос*, то есть не лирические гимны, какими являются, например, гимны Алкея или Пиндара. Кроме того, и язык наших гимнов — чисто гомеровский, что доказывает, сколь устойчива была эпическая форма, унаследованная от Гомера, и связанная с ним традиция, прошедшая через всю античность.

Самый древний из этих 33 гимнов относится к VII веку до Р. Х., если не к еще более раннему периоду, а самый поздний — исключая "Гимн к Аресу"[1] — приблизительно к середине V века. Чтобы обозначить более точно временные ориентиры, скажем: гимны были написаны в промежутке между эпохой, которую мы полагаем terminus ad quem[2] для гомеровского эпоса, и временем рождения Еврипида[3], оставившего столь знаковый стих:

> Что есть бог, и что — не бог? и между ними что?[4]

<... >

2.
Делосский дневник

Афины, четверг, сентябрь

> Но для души твоей, Феб, отрадою
> первой — Делос!
>
> *Гимн к Аполлону, 146*[5]

И для моей — тоже.

Самые жаркие дни августа я провел, запершись в библиотеке, с Деметрой и Гермесом. Будет. Все эти тома и заемная мудрость вызывают у меня жгучее желание сбежать. Нас вскормило такое множество поколений идолоборцев, что мы приучены видеть в древних богах почти исключительно статуи, сделанные по александрийскому канону. Стоит нам подумать, и эти образы являются как по заказу. Однако "много тирсоносцев, да мало вакхантов", — наставляет Платон (*Федон*, 69c). К богам не приблизишься, сидя взаперти, — ведь они — очеловеченные силы природы. До того времени, когда порядок вещей изменился, человек

1. "Гимн к Аресу" написан не ранее III века до н. э. и считается позднейшим добавлением к собранию Гомеровых гимнов. Некоторые исследователи считают этот гимн орфическим.
2. Приблизительным временем создания *(лат.)*.
3. 485/4 г. до н. э.
4. Елена, 1137–1143. *(Прим. автора.)* Сеферис цитирует стих 1137, но отсылает к чуть более широкому контексту трагедии "Елена".
5. Гомеровы гимны здесь и далее цитируются в переводе Е. Г. Рабинович.

был связан с природой примерно так, как Нимфы, о которых рассказывает "Гимн к Афродите" (264 сл.), были связаны с деревьями: когда те засыхали, Нимфы умирали. Так и мы: умираем, когда позволяем природе иссохнуть внутри нас. Не думаю, что мы открыли что-нибудь лучшее, чем это старое правило. Август, проведенный в ученых изысканиях, не принес мне особой пользы. Аполлона я предпочитаю видеть на Делосе. Завтра мы едем на остров.

Суббота, сентябрь

К девяти утра ветер усилился. Катер, везущий нас на Делос, до отказа набит самым пестрым народом. На корме пассажиры играют с высокими волнами, ударяющими о фальшборт, промокают до нитки и пытаются где-нибудь обсушиться. Из машинного отделения выныривает молодец лет сорока в кепке. Он садится на скамью, закуривает и затевает со старым морским волком разговор о женщинах. На Миконосе любовные приключения до неразборчивости демократичны.

Мы бросили якорь — ветер нас вынудил — в Гурне, в восточной гавани и таким образом прошли пешком почти через весь остров: он прекрасен. Почва там золотистого цвета. В полдень — купание в Священной гавани и осмотр святилища Аполлона. Море смягчает вид этих руин. Днем мы поднялись к театру и там сели на мраморную скамью. Делос — древнее греческое поселение, которое сохранилось в наиболее первозданном виде, и наиболее *эллинистическое* из всех, что мне известны. На первый взгляд, даже Каллимах[1] по сравнению с ним кажется "древним", и уж совсем теряется в бездне истории Гомерид VII века до Р. Х., певший "Гимн к Аполлону":

> И бессмертными, и вечно бесстаростными назвал бы их тот, кому случится увидеть собравшихся ионийцев и их радость. Возрадовалось бы сердце его при виде этих мужей, и красноопоясанных жен, и кораблей их быстрых со всем их богатством великим.
>
> *Аполл., 151 сл.*

Древнейшие ионийские празднества. Именно эта эпоха более всего интересует меня на Делосе — эпоха, когда здесь впервые прозвучал гомеровский эпос. Ее трудно различить под наслоениями позднейших времен. Теперь на острове прежде всего бросаются в глаза памятники эпигонской эпохи, когда стены древних городов рухнули под тяжестью лет и их население, ничем более не сдерживаемое, хлынуло в широкий мир. Эти стены укрывали не только от врагов, как мы могли бы подумать, если бы спешили с выводами, — но и от *страха свободы*[2]. То было время лести — со всеми прочими достоинствами и недостатками. Мне доставляет удовольствие вновь и вновь перечитывать, как, к примеру, Каллимах описывает рождение Аполлона. Латона, гонимая гневом Геры и мучимая родами, скитается по пределам Востока и Запада в поис-

1. Каллимах (ок. 310 — ок. 240 г. до н. э.) — древне-греческий. поэт.
2. У Доддса (в знаменитой книге "Греки и иррациональное". — *И. К.*) VIII глава называется "The Fear of Freedom". *(Прим. автора.)*

ках уголка земли, где могла бы обрести пристанище. Наконец, она прибывает на остров Кос в надежде, что там ей, возможно, это удастся. И тогда Аполлон – еще нерожденный, из ее утробы восклицает: "Нет, мама, не рожай меня здесь. Этому острову назначено Мойрами стать родиной другого бога, из высокого рода Сотеров" (Каллимах. К Делосу, 182–185)[1]. Этот "другой бог" не кто иной, как Птолемей II Филадельф, который родился на острове Кос в 310/9 году до Р. Х.

Иной раз я думаю, что поэт пишет не в одиночку, и было бы ошибкой представлять его совершенно изолированным от прочих. Каллимах – отнюдь не плохой поэт, но каковы его современники? Это их телодвижения я главным образом различаю в удушливом фимиаме приведенных мною строк.

Как бы то ни было, здесь, на Делосе, испытываешь огромное облегчение оттого, что после трех-четырех часов пополудни ты надежно защищен от орд незваных гостей, откуда бы они ни явились. Как в древности на Делосе была под запретом скверна смерти и рождения, так и теперь морю воспрещено порождать туризм на побережье – по крайней мере, после полудня[2]. До следующего утра ты остаешься наедине с этими освященными временем руинами. Следует быть благодарным жизни за то, что изредка она преподносит нам такие дары.

После ужина мы немного прогулялись в свете полной луны по Террасе львов. Мраморные фигуры, сидящие в ряд, разинув пасти, точно желая проглотить совершенно круглую луну, напоминают образ льва, пожирающего солнце, как его представляла в старину фантазия алхимиков.

Воскресенье

Изумительный день:

> Делос вся золотым исполнилась блеском[3].
>
> *Гимн к Аполл., 135*

Позлащенная земля – как тогда, когда на нее впервые ступил Аполлон.

Кинф дрожит под сетью полудня. Это тот магический полдневный час, когда бестактный Тиресий внезапно узрел нагие груди и лоно Афины, омывавшейся в геликонском ключе (Калл., Омов. Палл., 88[4]), – за что и был ослеплен.

> Полуденный час горы сковал тишиной. (Там же, 72)

Как связаны со светом эти боги! Такой вот свет, должно быть, их стихия.

1. В переводе С. Аверинцева – стихи 162–166.
2. С момента учреждения Делосских игр в 425 году до н. э. на Делосе не разрешалось ни рожать, ни умирать, а все захоронения были перенесены на соседний островок Рения. И ныне туристы, не имеющие специального разрешения на то, чтобы оставаться на Делосе после закрытия музея, обязаны покинуть остров с двухчасовым кораблем.
3. "Делос", "остров" – по-гречески слова женского рода.
4. Каллимах. На омовение Паллады, 88.

Ниже, у моря, руины устилают землю, возвышаются лишь несколько колонн. Мне рассказывают, что два фрагмента колоссальной статуи Куроса наксосцев — корпус и таз — находятся здесь, в святилище Артемиды, рука — в Делосском музее, а пальцы левой ноги вместе с постаментом — в Британском музее. Это замечательно ясный пример тому, как много разрозненных частей нужно соединить в уме, чтобы составить какое-то представление об античности. Подобные затруднения возникают даже тогда, когда поверхностному взгляду нечто кажется сохранившимся в целости, — стоит вспомнить о Дельфийском Возничем или о какой-нибудь античной трагедии. И далее: наши свежие, непосредственные чувства, — из чего они складываются? Из нашей жизни, как мы ее живем: что бы мы ни делали, мы не можем устранить соучастие того, что есть сейчас: солнца, светящего в эту минуту, или пения петуха, разбудившего меня сегодня на рассвете. Благодаря таким повседневным вещам изменяются и те, древние, — и только так, можно сказать, обретают свое нынешнее существование.

Море, теперь благосклонное, темно-фиолетовое — густого фиолетового цвета с прожилками белого и голубого вдали. Перед Священной гаванью, поодаль от Рении, сгрудились — по левую руку Нижний Рематьярис, по правую — Верхний[1]. Вдали, на севере, — Тинос с его белыми домами, где царит Пречистая[2], и высокая гора Цикняс. Ее цвет невероятно изменчив. Говорят, облака на вершине Цикняса предвещают сильные северные ветры. Знатоки древности отождествляют эту гору с "Гирейскими вершинами", о которых говорит Архилох, уроженец Пароса.

Ближе к вечеру мы устроились в маленьком храме Диониса, украшенном двумя громадными фаллосами. Эти культовые символы бога напоминают мне *Гимн к Афродите* — когда она, сопровождаемая свитой диких зверей, поднимается на Иду, чтобы сойтись со смертным:

> и обольстила зверей вожделеньем — и все они тотчас,
> всяк с четою своей, сокрылись в берлогах укромных.
>
> *Афр., 73–74*

Годовой цикл некогда обращался в соответствии с ритмом плодородия времен года: весна — лето — осень — зима, с тем вселенским ритмом, что управляет и растениями, и животными, и людьми; в соответствии с ним был организован и культ. Общество было, как его называют, аграрным. Ныне наши общества стали промышленными, и времена года сделались почти неразличимы — они бежали прочь от громадных заводов, возводящих все более высокие стены между человеком и природой. Плодовитость перестала быть отличительным признаком живых существ: ею теперь наделены механизмы. А мы, что прежде были живыми, иссыхаем все больше и больше.

Здесь множество хамелеонов и ящериц, но совсем нет цикад. Когда спускаются сумерки, летучие мыши чертят пентаграммы на мраморе.

1. Крошечные островки близ Делоса.
2. На острове Тинос находится знаменитая чудотворная икона Богородицы.

На рассвете мы поднялись на гранитную вершину Кинфа.

> Зевсу Кинфию и Афине Кинфии
> Аполлонид, сын Феогитона, лаодикиец, –

можно прочитать на мозаике, находящейся высоко на вершине, на одной из террас Кинфия. Лаодикиец был, должно быть, сирийцем. Этого одного довольно, чтобы представить, какое множество разноплеменного народу кишело на Делосе два последних столетия до Рождества Христова. Торговцы и проезжий люд, меняльные лавки, всевозможные товары, заведения – процветание и следующее за ним разорение. Смешение верований, смешение рас, суеверия и волхвования. Зевс смешивается с Ваалом: синкретизм закатной эпохи.

Как бы то ни было, на мраморной стеле начертано правило: всякий верующий, входя в храм, да не имеет при себе ни ключа, ни железного кольца, ни обуви, ни кошеля, ни оружия; да будет он одет в белое; да воздержится накануне от вкушения мяса и от плотского соития. И да будет душа его чиста.

Эта последняя заповедь показывает, что древние боги уже ощущают: их дело завершено – и готовятся уступить место другим.

На обратном пути мы остановились у Кинфской пещеры, которую местные жители зовут *Змеиной,* – некогда мудрецы верили, что именно на этом месте родился Аполлон. Теперь в ее тяжелых пропорциях видят свидетельство тяги александрийцев к сооружению искусственных гротов. Тем не менее огромные плиты, косо положенные одна на другую так, что образуют кровлю, – поразительны.

Меня трогают следы человеческого труда. Вот и вчера – в древнем, лишенном удобств доме, на устье колодца виднелись борозды от веревки, на которой ведром поднимали воду. Глубокие борозды: палец рабочего помещался в них целиком.

Солнце поднялось уже высоко. Внизу, в гавани, прибывающие одно за другим суда выгружают туристов, которые строятся в группы и направляются к Террасе львов, как если бы они собирались перед вратами Ада: si lunga tratta...[1]

И все это – одновременно. Но что действительно придает жизненные силы, так это свет нового солнца, который играет, все время меняя цвет, на горах напротив и на блистающей шкуре моря, а ветер снова усиливается.

И вот я стоял в святилище Благого случая – и случай прошептал мне в ухо пятнадцатисложным стихом фрагмент Архилоха о здешнем море:

> Главк, смотри, глубоко волны море скребут
> и на вершине Гирея тучи прямо стоят –
> близится буря, знай: ужас врасплох нас застал.

1. Имеется в виду начало следующей терцины:
> А вслед за ним столь длинная спешила
> Чреда людей, что верилось с трудом,
> Ужели смерть столь многих истребила.
>
> *Ад, III, 55 сл.; перев. М. Лозинского.*

Эти же стихи Сеферис вспоминает в эссе "К. П. Кавафис, Т. С. Элиот: параллельные" в связи с "Бесплодной землей" Элиота.

После обеда мы уезжаем на Миконос. Вчера, стоя рядом с мозаикой, изображающей, как пространно повествовал гид, Диониса на спине пантеры, искусно обнаженная девушка в неправдоподобно больших серьгах громко зевнула, достала из сумки флакончик ароматизированного масла и со страстью стала смазывать свое загорелое тело.

> Pull down thy vanity,
> Paquin pull down![1] –

подстрекает Эзра Паунд.

Внизу, у Круглого озера, трепещут на ветру ветви одинокой пальмы. Мне нелегко прощаться с Делосом и с *Гимном к Аполлону*, отправившим меня в это путешествие. Я полюбил эту золотую землю, эту скудную зелень и изменчивые краски, сжившиеся с руинами. Я насладился послеполуденным покоем, которым нас потчевал остров.

По правде сказать, я уезжаю, мало что прибавив к тем археологическим познаниям, которые уже имел. Однако как учится поэт? Он всегда учится чему-то другому. Вот это "нечто другое" я, как мне кажется, увожу с собой: дыхание острова – и еще, быть может, покровительство бога. Немало.

Вот и мы побывали на острове, который прожил столько веков, не зная никаких других источников дохода кроме того, что некогда стал землей обетованной для Латоны. Каллимах – мы с ним подружились – составлял мне компанию по вечерам. Он и рыбак Панагис.

Поездки такого рода опасны своей чрезвычайной утомительностью. Но тому, кто полон энергии и жизненных сил, они дарят некое освобождение от власти времени. По сути дела, мы посетили Делос так же, как посетил его Одиссей, направляясь под Трою. Стоит вспомнить, что он говорит о Делосе, и разделяющие нас годы исчезают, сливаются воедино с сегодняшним северным ветром. Человек, потерпевший кораблекрушение, нагой, с засохшими следами морской соли на коже, обращается к прекрасной деве: "Смертного, подобного тебе, не видели глаза мои – ни мужчины, ни женщины. Только однажды, на Делосе, пред алтарем Аполлона, я видел юную пальму – ибо и там побывал я, и тогда множество спутников следовало за мною по пути, на котором ждали меня горькие муки, – я увидел ее, и изумилось мое сердце: никогда подобное древо не восставало из земли" (VI, 160–167).

"Свежая ветвь" "Эротокритоса"[2].

Северный ветер усиливается. При таких сильных ветрах древним было вполне естественно вообразить, будто маленький и почти плоский остров Делос плавуч, что он плывет, точно лист, гонимый ветром.

"Увидишь, матерь, – говорит нерожденный еще Аполлон, – маленький остров, плывущий по морю. Ноги его не касаются дна, но, точно цветок асфодели, он плывет по волнам, куда гонят его Нот и Левант, куда несет его море, – там родишь ты меня: он тебя примет". (Калл. К Дел.,191–195.)

1. Втопчи тщеславие в прах, / черт возьми, втопчи его в прах! *(англ.)*
2. Ср. тот же образ в финале "Кихли" (и прим. 4 к поэме, с. 198 настоящей публикации).

Спускаясь к пристани, чтобы сесть на корабль, мы прощаемся в Артемисионе с огромным телом Куроса наксосцев. Силы природы, хлещущие его на протяжении стольких веков, изгладили все его выпуклости. От него не осталось почти ничего, кроме трогательной ширины спины и груди. Теперь он стал подобен огромному камню, выщербленному волной. Можно сказать, что от него осталась одна душа мрамора. И тем не менее – а может быть, именно потому – он говорит более свободно.

3.
Афродита Энеада

Гесиод изображает рождение Афродиты из крови оскопленного Урана:

> ...белая пена
> Взбилась вокруг от нетленного члена.
>
> *Теогония. 190–191*[1]

А хор в трагедии Эсхила – бесплодную пустыню ее отсутствия:

> и из пустого взгляда очей
> исчезла всякая Афродита...
>
> *Агамемнон. 418*

> C'est Vénus toute entière a sa proie attachée.
>
> И вся Афродита, впившаяся в свою добычу.
>
> Расин. *Федра*

Богиня и в этом стихе – упорная охотничья собака, как и та, в древнем гимне, к ней обращенном (Афр., 68 сл.), что преследует свою жертву, сопровождаемая свитой диких горных зверей.

Богиня связана с Гермесом; как мы видели, она – мать Гермафродита. В лучшие времена его изображали с преобладанием отцовских черт: как юношу с развитой грудью; но с течением времени он делается все более женственным – больше Афродита, меньше Гермес. Многозначительная подробность.

> ...с ложа восстала в рост – и главою до матицы доброй
> вмиг досягнула. Ланиты ее амвросийной красою
> заполыхали...
>
> *Афр., 173–174*

Сравни "Гимн к Деметре":

1. Перевод В. Вересаева.

...а вослед на порог шагнула богиня,
теменем до стропил досягнувши и вход осиявши.

Дем., 188–189

Боги, являясь смертными, излучают свет и имеют сверхъестественный рост — головой касаются потолка.

*

"Гимн к Афродите" повествует также о любви Эос к Тифону (218–238). Боги даровали ему бессмертие, но не дали вечной молодости. И когда он состарился и одряхлел, Эос была принуждена заключить его в некоем "покое", где он беспрерывно болтает глупости. Это повествование напоминает нам о Кумской Сивилле, о которой Петроний рассказывает ("Сатирикон", XLVIII), как она, сгорбленная от старости, отвечала свое знаменитое: "Хочу умереть". Это свидетельствует, быть может, о том, что для древних греков высшим благом было отнюдь не бессмертие, что у них были другие, более человечные представления о благе. Я думаю об Одиссее: как раз недавно мне попалось на глаза замечание Альбера Камю о том, что Одиссей предпочитает возвращение на Итаку бессмертию, которое предлагает ему Калипсо. Возможно, страх смерти и его последствия появляются позднее, в иные эпохи.

Мы также помним, что фразу Петрония о Кумской Сивилле взял эпиграфом к "Бесплодной земле" Т. С. Элиот. И памятуя об этом, я чувствую необходимость провести одно разграничение — что, вероятно, следовало бы сделать с самого начала.

В этой работе, имеющей отправным пунктом *Гомеровы гимны*, меня занимали древние боги греков, главным образом VIII века до Р. Х. Я совершенно не касаюсь здесь богов римлян, и еще менее того — богов Империи, богов, которых почитал Вергилий. Сколь бы ни были они родственны между собою, они, на мой взгляд, сформированы различным строем чувств, порождены разными мировоззрениями. Я хотел бы, чтобы читатель помнил об этом. Конечно, это непросто, поскольку традиционное представление о греческих богах, присущее современному — то есть поствозрожденческому — западному миру, опирается главным образом на латинские источники. И все же не следовало бы смешивать одно с другим.

Конечно, читая в нашем гимне о свите Афродиты, восходящей на Иду:

...следом за нею
бурые волки бежали, хвостами виляя, медведи,
яростнозрящие львы и до ланей хищные барсы —

Афр., 69–70

мы можем подумать о Лукреции (I, 14):

Inde ferae, pecudes persultant...[1]

1. Следом и скот, одичав, по пастбищам носится тучным...
Перев. Ф. Петровского
Начало поэмы Лукреция "О природе вещей" обращено к Венере, которая прославляется как богиня плодородия, управляющая всем миром.

Однако было бы неверно смешивать два различных феномена, как было бы ошибкой путать религиозность Вергилия с богами Гомера. В Греции не было "императорской религии": там могли быть иерофанты, но не существовал Pontifex Maximus[1]. "Энеида" полна благочестия, ее можно даже назвать религиозной книгой: она отражает благочестие и религиозный пыл первой римской империи – принципата Августа. Напротив того, по мнению ученых-филологов – с которым я, впрочем, не согласился бы без серьезных оговорок, – "никогда не существовало менее религиозной поэмы, чем "Илиада". "Илиада", в отличие от большинства национальных эпосов, не опирается на какую-либо *веру*"[2].

Но вернемся к "Гимну к Афродите". Здесь, как нам объясняют специалисты, речь идет о происхождении одной троянской династии. В удивительно живом и свежем фрагменте (Афр., 255 сл.) *Гимн* намекает на дитя Афродиты, но не называет его. Его имя открывает нам "Илиада":

> Мощный Эней; от Анхиза его родила Афродита,
> В рощах на холмах Идейских, богиня, почившая с смертным[3].

Эней, которому предстояло воплотить "Энеиду". "Гомеровский Эней, учит нас один мудрец[4], – отличается от всех прочих героев, как греков, так и троянцев; он изображен как некая религиозная, культовая фигура, ибо ему предназначило провидение властвовать над его землей..."

И действительно, как явствует из "Илиады" (XX, 293–309), благочестивый Эней – один из немногих героев, кому предстояло уцелеть в той войне, и единственный, чье будущее обеспечено богами. Таким образом, уже во времена "Илиады" существовал некий "зачаточный" миф об этом герое и о его странствиях после падения Трои. И когда Вергилий решил использовать этого "человека судьбы" в своем эпосе, в его распоряжении уже был некий миф – бессвязный, если угодно, но, однако, приобретший особое значение во время греческих войн Рима. Туда уходит корнями эта изумительная поэма.

Эти предварительные замечания позволяют мне перейти к следующему. Томас Стернз Элиот, глубоко укорененный в западной традиции – и тем не менее весьма мало связанный с традицией греческой, – пишет: "Когда я еще учился в школе, мне довелось прочесть одновременно "Илиаду" и "Энеиду". До того я считал, что греческий язык намного интереснее изучать, чем латинский. Я и сегодня считаю этот язык чрезвычайно значительным... И, однако, я чувствовал себя вполне комфортно с Вергилием, и в то же время вовсе не ощущал ничего подобного по отношению к Гомеру..."[5]

Разумеется, сразу же вслед за этими словами Элиот замечает, что он отнюдь не хочет сказать, будто считает Вергилия более великим поэтом, чем Гомера. Но меня интересует не сравнение Гомера с Вергилием: такие величины едва ли сравнимы. Мое внимание привлекает пси-

1. Верховный жрец *(лат.)* – титул, унаследованный впоследствии римскими папами.
2. Paul Mazon. Introduction a l'Iliade // Belles Lettres. Париж, 1942, с. 294. (Прим. автора.)
3. II, 820-821. Перевод Н. Гнедича.
4. Farnell. Cults. II, с. 638. *(Прим. автора.)*
5. T. S. Eliot. Virgil and the Christian World // On Poetry and Poets. – Faber: London, 1957. *(Прим. автора.)*

хология поведения — разная степень близости, о которой говорит Элиот. Этот факт для меня является еще одним, дополнительным примером того разграничения, о котором я говорил выше.

Следует добавить, что Элиот находит героев Гомера "безответственными" и т. п., так же как и его богов. Что касается героев, то я сказал бы, пожалуй, что это мнение Элиота относится куда больше к традиции шекспировских "Троила и Крессиды", чем к чему-либо иному. Говоря о более важном, то есть о гомеровских богах: и среди эллинов многие их осуждают. Стоит взглянуть на литературную традицию от Платона до Кавафиса: "Этого мы не похвалим"[1].

Однако мы не должны забывать, что Греция, так много давшая христианству, не оставила Западу в наследство ничего, подобного Четвертой эклоге Вергилия. Содержание этого стихотворения: Дева, новорожденное дитя и многое иное — заставило Августина, как и других Отцов Церкви и всю западную христианскую Церковь, поверить, что в этой эклоге, написанной в 40-е годы до Р. Х., Вергилий пророчествует о рождении Христа.

Вергилий с момента своей смерти оказывал непрерывное и колоссальное влияние на западную культуру, и его значение для западной культурной традиции трудно переоценить. Это влияние в значительной мере было обусловлено пророчеством Четвертой эклоги, о котором я только что сказал. В Средние века Вергилий становится мифическим персонажем, как бы святым, о котором слагается множество легенд и апокрифических преданий.

Так, рассказывают, что апостол Павел, прибыв с Крита в Италию, попросил отвести его на могилу Вергилия и плакал перед ней. Это событие запечатлено в одном латинском гимне — "прозе", как называют гимны, которые пели в Мантуанском епископстве во время службы, посвященной апостолу Павлу. Гимн гласит:

Ad Maronis Mausoleum
Ductus, fudit super eum
Piae rorem lacrymae.
Quem te, inquit, redidissem
Si te vivum invenissem,
Poetarum maxime[2].

Эта традиция продолжается, не прерываясь, по меньшей мере до времени Гюго. При таких предпосылках я вполне понимаю вышеупомянутую реакцию Элиота, принадлежавшего к английским католикам, на Гомера. Что касается Вергилия, то следующее высказывание Элиота объясняет мне все его эссе целиком: "Чувствительность этого латинского поэта ближе к христианской, чем чувствительность любого иного поэта, равно римского или греческого".

1. См., например, стихотворение Кавафиса "Измена" с эпиграфом из Платона, где осуждается миф о том, как Аполлон на свадьбе Пелея и Фетиды предсказывал славу их будущему сыну Ахиллу, которого сам же и убил потом под Троей.
2. Будучи приведен к гробнице Марона / Он пролил над нею росу благочестивых слез / И молвил: "О, какую хвалу я воздал бы тебе, величайший из поэтов / Если бы застал тебя в живых" *(лат.)*.

"Понимаю" — написал я, а не — "оправдываю". Потому что в этом эссе Элиот, как мне кажется, пренебрегает такими частями гомеровского эпоса, как, например, VI или XXIV песни "Илиады"[1], которые, на мой взгляд, столь близки душе человеческой, что не могут быть чужды глубочайшей идее христианства. Кроме того, суждение о Гомере — это тот редкий для Элиота случай, когда он поддается личным пристрастиям и забывает, что нельзя судить поэта, если он не дает нам того, чего вовсе не собирался: нельзя требовать от Гомера, жившего неизвестно за сколько лет до VII века до Р. Х., чтобы он дал нам идеи, вызревшие во времена принципата Августа.

И, тем не менее, желая сравнить западноевропейскую традицию с греческой — говоря "греческая", я имею в виду сейчас не только древнюю, но и всю греческую традицию в целом, — мы прибегаем прежде всего к Вергилию. Я не беру в расчет достоинства и недостатки каждой из них, а говорю только об их различии. Римский поэт помогает мне и тогда, когда я пытаюсь понять следующие строки У. Х. Одена:

> The eyes of the crow and the eye of the camera open
> Onto Homer's world, not ours...
> Вороний глаз и зрачок фотокамеры смотрят
> на мир Гомера, не наш...

По моему ощущению, ни Элиот, ни Оден не принадлежат миру Гомера: они принадлежат миру Вергилия; эти два мира сильно разнились между собой изначально, и с течением времени различие между ними еще больше увеличилось.

*

Пабло Пикассо однажды сказал: "Я не хочу рисовать ангелов, потому что я никогда их не видел". Это изречение повергло меня в глубокую печаль. А разве я когда-нибудь видел древних богов, что сижу и пишу о них? Но потом я подумал о Доменикосе Теотокопулосе: он тоже никогда не видел ангелов, однако с поразительной настойчивостью писал их. Я оказался поставлен перед необходимостью примкнуть к одной из этих точек зрения. После мне пришло в голову, что художественное творчество никогда не отталкивается *исключительно* от того, что мы видим. Здесь мне приходит на помощь мысль У. Б. Йейтса: "Без богатства памяти нельзя понимать поэзию". И это богатство памяти не ограничивается индивидуальной памятью: оно включает память многих поколений, живших прежде. Глубина памяти — без нее, как мне кажется, не может существовать и творчество.

Как-то раз поздней осенью мне показалось, что рядом со мной как вспышка молнии прошел бог — или эта глубочайшая память. И я сказал: "В конечном счете я — это вопрос света". Это был опыт такого рода, какой в нашей жизни действительно чрезвычайно редок, и должен быть редок, и освещает ее всю. Выразить его в словах невозможно. Довольно того, что я сказал.

1. В VI песни "Илиады" говорится о свидании Гектора с Андромахой, в XXIV — о посещении Ахиллеса Приамом, о выкупе тела Гектора и его погребении.

В этой работе я пытался, сколько мог, смотреть на древних богов глазами верующего тех отдаленных времен; однако мои современники то и дело выплывали на поверхность. Я уже говорил в связи с Каллимахом: мы никогда не остаемся наедине с собой, когда пишем. За огнями рампы, ослепляющими и погружающими во мрак зрительный зал, мы различаем неведомую нам толпу, которая нас судит. Мы беседуем с ней в уме своем — и так начинаем анализировать. На этом уровне древние делаются чем-то вроде Куроса наксосцев, которого мы видели на Делосе: разметанные там и сям осколки, которые мы тщетно пытаемся соединить друг с другом. Не так уж и плохо иной раз признать, как в данном случае, нашу очевидную немощь.

И, однако, иногда я вижу, как все эти древнейшие боги покрывают тот мир магической сетью: ее нужно было однажды разорвать, чтобы люди могли продолжить путь, следуя своей судьбе — благой или злой,

Последняя фотография Сефериса (1971)

все равно. Но и магия, как показывает опыт, не легко сдает свои позиции и по-прежнему гнездится в глубине наших душ. И разве может быть иначе? Все мы вышли оттуда — я имею в виду не древность, а те первые годы жизни, что были у каждого человека. Не будем относиться к ним пренебрежительно. С другой стороны, любую религию знает лишь тот, кто принадлежит к ней; для постороннего, что бы ни говорили остальные, она остается несуществующей, чем-то вроде негатива.

Вероятно, следует добавить, что эта традиция древних — я имею в виду мир Гомера, который, когда по прошествии времени рухнули плотины, устремился, подобно водам, иными путями и тропами и напоил Европу параллельно и одновременно с традицией Вергилия, — этот мир

ныне рушится у нас на глазах под ударами нашей технологической эпохи. И это поражает — если вспомнить, сколько испытаний он пережил и после каких гонений всегда выходил победителем.

Здесь я остановлюсь. Боги рождаются бессмертными, но умирают. Мне кажется теперь, что и я нахожусь на корабле, о котором рассказывает Плутарх[1]: во времена императора Тиберия он плыл в водах Паксоса, и когда капитан возгласил громким голосом: "Умер великий Пан", — все путешественники услышали среди тишины ночного моря, как с берега донесся громкий вздох — словно бы не одного человека, а сразу многих.

Пан не упоминается в гомеровском эпосе, но есть посвященный ему гомеровский гимн, и его, как мы можем себе представить, бранит Назианзин.

Декабрь 1965

1. Плутарх. Об упадке оракулов, 419 B сл. *(Прим. автора.)*

Библиография переводов Г. Сефериса на русский язык

Лик судьбы. Стихи. Вступление и перевод Л. Лихачевой // Иностранная литература, 1969, № 9. (Первая публикация поэзии Сефериса на русском языке. – *Прим. составителя.*)

Стихи в переводах Э. Ананиашвили, С. Ильинской, Л. Лихачевой // Западноевропейская поэзия XX века (БВЛ, сер.3, т. 152). – М.: Худож. лит., 1977.

Стихи в переводах Ю. Мориц, Р. Дубровкина, Л. Лихачевой, С. Ильинской, Л. Якушевой // Геракл и мы. Современная греческая поэзия. – М.: Радуга, 1983.

Любовь Якушева. Стихотворения и переводы. – М., 1994.

Три тайные поэмы / Перев. Е. Светличной и М. Гаспарова; вступительная заметка М. Гаспарова и эссе Ива Бонфуа "Под октябрьским солнцем" в перев. Б. Дубина // Иностранная литература, 1996, № 7.

Любовь Якушева. Переводы. – М.: Лира, 1997.

Стихи в переводах Ю. Мориц, Р. Дубровкина, Л. Лихачевой, С. Ильинской, Л. Якушевой // Поэты-лауреаты Нобелевской премии. – М.: Панорама, 1997.

Поверх чужого стиха / Перев. И. Ковалевой // Литературное обозрение, 1997, № 1.

К. П. Кавафис и Т. С. Элиот: параллельные / Перевод, комментарии и послесловие И. Ковалевой // Комментарии, 1998, № 15.

Стихи в переводах Ю. Мориц, Л. Якушевой, Е. Колесова // Строфы века-2. Антология мировой поэзии в русских переводах XX века / Сост. Е. Витковский. – М.: Полифакт. Итоги века, 1998.

Стихи в переводах М. Арутюновой // Антология греческой поэзии. – М.: УРСС, 1999.

Некоторые вехи новой греческой традиции (Нобелевская речь) / Перев. А. Давыдова // Вопросы литературы, 2001, № 2.

Шесть ночей на Акрополе. Роман / Перев. О. Цыбенко. – СПб.: Алетейя, 2002.

М. Гаспаров. Экспериментальные переводы. Три тайные поэмы. – СПб.: Гиперион, 2003.

Стихи в переводе И. Ковалевой // Век перевода. Антология поэтического перевода XXI века. – М.: Водолей Publishers, 2005.

Составила И. Ковалева

Тамара Церетели
"Бесценный урок унижения"

XX век – век массовой эмиграции. Изгнание, как ни странно, превратилось в одну из движущих сил современной культуры. Западная цивилизация нашего времени – во многом творение изгнанников, в том числе и русских. Страна, принявшая наибольшее количество русских эмигрантов, – Америка. Но как наши эмигранты "приняли" саму Америку? И в особенности писатели – насмешливо-отстраненные наблюдатели и диссиденты? Как они воспринимали Америку и себя в Америке? Кем они ощутили себя, приехав в Америку, – русскими, европейцами, марсианами? И в кого превратились, прожив там годы, – в новых американцев, потрепанных эмигрантов или граждан мира? Чем была для них эмиграция – простым географическим перемещением или "мукой невосполнимой утраты"?

Характерно, что русские писатели в Америке осознавали себя эмигрантами – именно так их называли на родине и так они продолжали себя именовать по прошествии многих лет. Слово "иммигранты", каковыми они были с точки зрения Америки, в их среде так и не прижилось. Они чувствовали себя именно уехавшими, изгнанными (а многие из них и были изгнаны в прямом смысле слова), но не "въехавшими" в США. Если бы не было тоталитарного периода в истории России, то не было бы и эмиграции, был бы просто переезд из одной страны в другую. Но описываемый феномен таков: постреволюционные эмигранты именно бежали, и бежали от конкретной угрозы – неминуемой смерти или тюрьмы. Позже, в 60–70-е годы, будущие эмигранты частью были высланы из Страны Советов, другие сами покинули Россию, чтобы избежать ареста или психушки, сделав, по словам Довлатова, "несложный выбор между тюрьмой и Нью-Йорком". Третьи же очутились за рубежом по идейным соображениям: вкусив на родине все прелести тоталитаризма, мечтали глотнуть свободы.

Большинство эмигрантов сделало этот шаг добровольно. Как утверждал Иосиф Бродский в беседах с Соломоном Волковым: "Для русского человека нового времени нет более естественной мысли, чем о побеге... Я, например, помню, что в тюрьме и ссылке половину времени думал о том, как бы сбежать. Впрочем, как и находясь на свободе. У меня были всякие проекты – например, убежать на воздушном шаре. Или на подводной лодке с моторчиком от пылесоса".

Писатель в эмиграции

"Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны", – утверждает Василий Аксенов в книге "В поисках грустного бэби". Ему вторили и другие писатели-эмигранты, сравнивая изгнание со смертью и загробной жизнью.

Современную западную цивилизацию невозможно представить без эмигрантов – людей, "переживших

© Тамара Церетели, 2005

собственную смерть". Эти "перемещенные писатели" никак не могут забыть о своем опыте перемещения – они сознают свою второсортность и напоминают о ней. Кто сам себе не напоминает, тому другие напоминают. Западные критики, говоря о Бродском, использовали такие выражения, как "поэт в изгнании", "гений в изгнании", "рожденный в изгнании", что весьма раздражало объект их анализа. Сам Бродский предпочитал говорить, что просто живет за границей. Вероятно, напоминания об изгнании были ему неприятны, что в общем-то неудивительно. Соломон Волков в "Беседах с Иосифом Бродским" писал, что эмиграция – страшная психологическая травма, незаживающая рана, даже если со дня отъезда прошло 60 лет. Некоторые стараются эту травму скрыть. Другие, напротив, охотно ее "психоанализируют". Из психоанализирующих одни сравнивают изгнание с сиротством, другие – с уплывающей землей.

На этом фоне неожиданными кажутся рассуждения о преимуществах изгнания. Одно из них – ощущение "вне-домности". "Глядеть на мир словно на чужбину – залог оригинальности мышления", – рассуждает об эмиграции американский культуролог Эдвард Саид [1]. Восприятие большинства людей ограничивается одной культурой, в то время как эмигранту знакомы как минимум две культуры, что способствует расширению его мировоззрения, выходу "за пределы провинций, государств, наций". Для обозначения этого типа мышления Саид ввел музыкальный термин "контрапунктическое сознание". Генрих Бёлль утверждал, что чем дальше письменный стол писателя от отечества, тем лучше для этого писателя. Василий Аксенов сближает сами понятия "писательство" и "эмиграция", считая, что в чужой стране автор становится носителем необходимого элемента творчества – пограничной ситуации. Сам Аксенов признается, что писать может только за границей, так как там у него "за письменным столом остается только один собеседник – В. П. Аксенов"[1].

Кроме всего прочего, изгнание дает автору возможность остаться с языком tête-à-tête. "Вне-домность" территориальная для писателей-эмигрантов оборачивается "домностью" в литературе. Теодор Адорно распространял это на все человечество, так как считал, что человек способен обрести свой единственный дом в литературе. Потому что в остальных сферах "дом устарел".

Сходные чувства испытывал герой Набокова Пнин, ощущавший себя комфортно лишь в "раю русской литературной стихии". О том же говорил Иосиф Бродский, настаивавший на том, что его дом – русская литература, откуда его уже никто не сможет изгнать. Более того, Бродский утверждал, что ощущение "Я где-то в стороне, за бортом"[2] сопровождало его всегда, недаром эта строчка написана им еще в Союзе. И тут он находил весьма интересное оправдание изгнания: "Иногда ты ощущаешь себя чужаком даже в своей собственной стае куда острее, чем когда ты просто вдалеке. Поэтому быть среди чужаков как-то даже здоровее, чем среди своих соплеменников"[3]. Схоже звучит принцип морали Адорно: "Не быть дома у себя дома".

Бродский также говорил, что благодаря изгнанию писатель получает "бесценный урок унижения". Эдвард Саид считает, что эмиграция порождает "нарциссический мазохизм", не дающий человеку освоиться в новой среде. Это приводит к тому, что "художник в изгнании – личность, безусловно, неприятная".

1. Э. Саид. Мысли об изгнании / Перев. С. Силаковой // ИЛ, 2003, № 1.

1. В. Аксенов. Американским писателем я не стал // ИЛ, 2003, № 1.
2. И. Бродский. Стихотворения. Эссе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2002. (Далее – цитаты стихов Бродского по этому изданию).
3. И. Бродский. Большая книга интервью. М.: Захаров, 2000. (Далее – высказывания Бродского по этому изданию).

Но на этот счет есть и полярное мнение "изгнанного художника" Иосифа Бродского: "Эмиграция, знаете, начисто избавляет от нарциссизма. И в этом, на мой взгляд, уже ее достоинство. Жизнь в чуждой языковой среде, со всеми вытекающими последствиями, — это испытание". Так писал человек, которого радушно приняли в Америке, осыпали премиями и признали лучшим из живущих русских поэтов, человек, названный "New York Times" "неотъемлемой частью нашего [т. е. американского] литературного пейзажа".

Двуязычие — это норма?

Многие эмигранты признавались, что для них в Америке не было ничего труднее, чем "басурманское наречие" (определение Бориса Шрагина) местных жителей. Но в самом трудном положении оказались литераторы — они приехали туда, где не понимают их языка, а стало быть, не могут читать их произведений.

Один из немногих русских писателей, перешедший на английский язык, — Владимир Набоков. Этому, несомненно, способствовало то обстоятельство, что он с младенчества владел двумя языками: английским и русским, в пятилетнем возрасте прибавив к ним французский. Сам он в интервью признавался, что доминирующего языка у него нет, и все три в нем сосуществуют: "Моя голова говорит на английском, сердце — на русском, а ухо предпочитает французский".

Несмотря на это, переход на английский Набоков назвал своей личной трагедией, "которая не может и не должна кого-нибудь касаться". Болезненность этого процесса он сглаживал переводами. Польская писательница-эмигрантка Эва Хоффман даже изобрела термин "переводческая терапия". Для многих литераторов перевод был одним из способов примирения в собственном сознании двух языков: "Я лечусь переводом, курсируя по разрывам и трещинам, не для того, чтобы срастить их, нет — для того, чтобы убедиться, что я <...> могу находиться по обе стороны пропасти"[1], — признавалась Хоффман.

Начав писать по-английски, многие писатели-эмигранты отмечали, что недостаточно точно передают не только мысли, но и эмоциональные состояния. Иногда дело доходило до абсурда. Та же Хоффман признавалась: "Когда я пишу (или думаю) по-английски, то не могу вести речь от первого лица. Дело не доходит до шизофренического "она", но меня непреодолимо влечет к двоящемуся сиамскоблизнецовому "ты". Схожие "шизофренические нюансы" испытывал и Бродский: "Иногда снабжаешь английское существительное русским суффиксом или в качестве рифмы к русскому слову выскакивает слово английское".

Однако были литераторы, не только "лечившиеся" переводами, но и писавшие на двух языках. Василий Аксенов, всю жизнь творивший на русском, решил, как он сам признается, пошутить и выпустил книжку на английском. Русский писатель думал этим приятно удивить американскую публику, для которой, как он полагал, станет сенсацией переход не-американца на английский. Но "хохма не сработала". Переход на английский был воспринят как само собой разумеющееся. Американцам, наоборот, казалось странным, что иностранец, живущий в Америке, писал на своем родном языке. "Русский пишет по-английски? — а как ему еще писать-то?! Давно пора, чего дурака валять", — озвучивал Аксенов реакцию американцев. Наш писатель обиделся и больше по-английски не писал.

Другой русский эмигрант, Иосиф Бродский, тоже стал писать в Америке по-английски, но, в отличие от Аксенова, ни на кого не обижался и писать не бросал. Бродский представлял собой редкий случай чело-

1. Э. Хоффман. Искусство потерь, или Опыт жизни в новом языке / Перев. А. Борисенко // ИЛ, 2003, № 1.

века, синхронно пишущего на двух языках; выбор языка у него зависел от жанра: стихи — на русском, проза — на английском. Это давало ему чувство полноты "или, скорее, самодостаточности", по его же определению. Двуязычие он считал нормой. Кроме того, в многочисленных интервью он утверждал, что начал писать по-английски "из-за восторга перед этим языком". Бродский не любил, когда его сравнивали с Набоковым. Он был глубоко убежден, что у него и Набокова были не только разные мотивы, но и разное отношение к английскому языку: "Для Набокова английский — практически родной язык, он говорил на нем с детства. Для меня же английский — моя личная позиция. Я испытываю удовольствие от писания по-английски. Дополнительное удовольствие — от чувства несоответствия: поскольку я был рожден не для того, чтобы знать этот язык, но как раз наоборот — чтобы не знать его".

Бродский, один из немногих русских эмигрантов, говорил, что любит английский, даже "может быть, слишком...". Дошло до того, что неудавшаяся английская строчка стала беспокоить его больше, чем неудавшаяся русская. Практикуя письмо на двух языках, он полагал, что возникни ситуация выбора между английским и русским, он бы ее не выдержал: "Это меня, мягко говоря, расстроило бы, если б не свело с ума".

Двуязычие, как известно, даром не проходит. Языковая креолизация неизбежно ведет к "креолизации сознания". Об этом еще покойные Сепир с Уорфом[1] говорили. По словам того же Сепира, выйти за рамки собственной культуры можно, лишь выучив другой язык. Бродский это вполне четко осознавал: "Культура начала становиться для меня "двойной" только с помощью английского. Но вся суть заключается в том, что она начала становиться не столько "двойной", сколько культурой".

1. Эдуард Сепир (1884—1939); Бенджамин Ли Уорф (1897—1941) — американские лингвисты и антропологи, создали теорию лингвистической относительности.

Русские "чудаки и чудики" в Америке

Отношение к американцам у многих эмигрантов было двояким: с одной стороны они смотрели свысока на "примитивных" американцев, с другой — уважали за качества, не присущие русским: исполнительность, пунктуальность, деловитость. По этому поводу Довлатов иронизировал в "Иностранке": "К американцам мы испытываем сложное чувство. Даже не знаю, чего в нем больше — снисходительности или благоговения. Мы их жалеем, как неразумных беспечных детей. Однако то и дело повторяем: 'Мне сказал один американец...' Мы произносим эту фразу с интонацией решающего, убийственного аргумента. Например: 'Мне сказал один американец, что никотин приносит вред здоровью!'".

По сравнению с "загадочной славянской душой" американская душа казалась нашим эмигрантам простой, предсказуемой, лишенной размаха. "Узость" американцев многих раздражала. Впрочем, как и "широта" русских. С широкими натурами замечательно пить, но в остальном нередко возникают неприятности: пропил последние деньги, проспал важную встречу. С американцами все по-другому.

Во-первых, они не пьют. Вернее, пьют, конечно же, но не в русском понимании этого слова, не с таким размахом (они ведь "узкие"). "Пить" в обыденном американском сознании вовсе не предполагает пробуждения в незнакомом подъезде, недельных запоев и дрожащих рук. Трудно представить себе американца, из-за хронических запоев ни разу не добравшегося в Нью-Йорке до статуи Свободы, подобно Веничке, несмотря на все старания, ни разу не видавшего московский Кремль. Вообще, как отмечали (с со-

жалением) русские эмигранты, американская обстановка не располагает к серьезной, "вдумчивой" пьянке.

Во-вторых, работать с американцами, как признаются наши эмигранты, — одно удовольствие. Американцы делами занимаются холодно и сдержанно, "без русских нежностей, но и без русского надувательства" (признание Довлатова). Не в пример русским, на которых тот же Довлатов жаловался в письме Игорю Ефимову: "...никто не в состоянии провести ни одного разумного и точного действия, на свидания являются произвольно, ничего не записывают, ничего не запоминают, обидчивые, веселые, шутят беспрерывно... — ни одного человека, хотя бы на секунду усомнившегося в своем совершенстве".

При ближайшем рассмотрении, кроме очевидных деловых достоинств, у так называемой "узости" американцев есть и другие, чисто человеческие, приоритеты. Например, избавление от переоценки человеческих отношений, отмечаемое Бродским: "Американцам действительно присущ более высокий уровень сдержанности и меньшая склонность к самопожертвованию, к раздиранию рубах на груди и посыпанию волос пеплом. Что кажется нам даже бессердечным, но по крайней мере избавляет нас от определенных разочарований, которые неизбежно возникают, когда тот самый человек, который рвал на себе рубашку и посыпал волосы пеплом, ничем не в состоянии тебе помочь. Поэтому лучше с порога знать, что ты ни на кого не можешь рассчитывать, кроме самого себя". В Америке действует принцип "у каждого свои проблемы", что нашими эмигрантами иногда расценивалось как бессердечность. Тот же Бродский констатировал: "Здесь [в Америке] отсутствует сострадание".

С русской точки зрения такая философия кажется жестокой и несправедливой. "[В Америке] тип беспризорного гения не в почете", — сокрушался Довлатов. Еще одно принципиальное различие жителей двух континентов отмечал опять же Довлатов уже в "Иностранке": "Если русские вечно страдают и жалуются, то американцы устроены по-другому. Большинство из них — принципиальные оптимисты". В России, наоборот, оптимизм — признак глупости, зато страдание — возвышенности.

Очень четко это выразила Людмила Улицкая в "Веселых похоронах": "Эта страна [Америка] ненавидела страдание. Она отвергала его онтологически, допуская лишь как частный случай, требующий немедленного искоренения. Отрицая страдание, молодая нация разработала целые школы — философские, психологические и медицинские, — занятые единственной задачей: любой ценой избавить человека от страданий. Идея эта с трудом ложилась на российские мозги Фимы. Земля, вырастившая его, любила и ценила страдание, даже сделала его своей пищей; на страданиях росли, взрослели, умнели..."

Более того, различаются даже отношения к смерти. Александр Генис в "Довлатове и окрестностях" вспоминал: "Милая редакторша из "Нью-Йоркера" сказала, что рассказы Довлатова перестали печатать потому, что он умер, а в Америке предпочитают живых авторов: мертвые — это те, кто проиграл. У нас, похоже, — те, кто выиграл".

Там же Генис отмечал, что "выигравший" Довлатов ценил в американской литературе "достижимость нравственных ориентиров". Это вовсе не означает, пишет Генис, что "по одну сторону океана к добродетели относились с меньшей любовью, чем по другую. Просто не зараженные гиперморализмом американские писатели умели отдавать должное соблазну". И тут же приводит фразу из "Похитителей" Фолкнера, которую невозможно представить в русской литературе: "Если я продал Сатане душу за чечевичную похлебку, то, по крайней мере, будь что будет, а я получу эту похлебку и выхлебаю ее".

Русские по сравнению с американцами казались неисправимыми

романтиками. Их романтизм невольно сталкивался с трезвым прагматизмом американцев. Эмигрантов там уверяли: "Это величайшая страна в мире. Надо только вкалывать". При последних словах русские вздрагивали. В России "вкалывать" — вовсе не добродетель. На это уходит много душевных сил, которые можно использовать на те же "вечные" вопросы". И потом, "работа — не волк". Генис, не без удовольствия, признавался, что с первой американской работы его выгнали через месяц — "за нерадивость".

Приехав в Штаты, наши эмигранты столкнулись не только с другим взглядом на жизнь, но и другим стилем существования. Установленный жизненный график поначалу был неприемлем для русского человека. Ему не хватало непредсказуемости (причем полной), элемента неожиданности и обязательной доли абсурда. У американцев все расписано, в том числе походы в гости. В то время как в России можно завалиться к кому-нибудь без приглашения, просто так, как снег на голову. В России непредсказуемость — норма, в Америке — боже упаси. В связи с этим Бродский жаловался: "В жизни не остается ничего волнующего, неожиданного".

"Предсказуемый Запад порождает типы, мы — безумные индивидуальности, чудаков и чудиков", — не без гордости заявлял Генис. Недостатка в "чудиках" из России не было. Как чудака американцы воспринимали и Бродского, снисходительно относясь к его русской прямоте. Бродский же саркастично язвил насчет их политкорректности: "Вы не должны говорить определенных вещей, вы должны следить, чтобы не обидеть ни одну из групп. И однажды утром вы просыпаетесь, понимая, что вообще боитесь говорить". Хотя сам Бродский позволял себе высказываться, и ему это сходило с рук.

Чудаком в свое время считали и Пнина. Такое впечатление, что Пнин 40-х годов перекочевал в 80-е. Если русские писатели вышли из гоголевской "Шинели", то русские эмигранты вышли из набоковского "Пнина".

"Лишний человек — это звучит гордо!"

Довлатов в интервью уверял Виктора Ерофеева, что живи он в Европе, он чувствовал бы себя там иностранцем. Совершенно другое дело Америка: "Единственная страна на земном шаре, где человек непонятного происхождения, владеющий восточноевропейским языком, будет чувствовать себя естественно, — это Америка". Раньше Америка для Довлатова была почти как рай — "прекрасна, но малоубедительна" (по воспоминаниям Гениса). Поэтому больше всего в Америке его поразило то, что она есть — живая, настоящая. По свидетельству того же Гениса: "Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке", то есть в стране, воспроизведенной им самим по американской литературе, прочитанной в Союзе. США у него не выходили за пределы очерченного круга любимых писателей. Впрочем, это не помешало ему прийти к выводу: "...говна здесь не меньше, чем в Ленинграде. Что приводит к философским обобщениям" (из письма И. Ефимову).

Такого же мнения придерживался и Бродский:

> Куда ни странствуй,
> всюду жестокость и тупость
> воскликнут: "Здравствуй,
> вот и мы!"

Он утверждал, что по прибытии в Америку не пережил никакого культурного шока. Более того, Бродский считал, что американская среда ему "абсолютно созвучна":

> А что насчет того, где выйдет
> приземлиться,
> земля везде тверда: рекомендую
> США.

В Америке он чувствовал себя "чрезвычайно естественно... не скажу, что как рыба в воде, но так не чувствует себя здесь никто". Бродский уверял многочисленных американских интервьюеров, что Америка для него — вовсе не другое измерение, а все то же, старое: "Думать иначе — значит дурить себе голову". Но иногда он все же дурил себе голову. В беседе с Соломоном Волковым он признавался: "То, что творится здесь [в Америке], находится как бы в другом измерении. И освоить это психологически, то есть превратить это в свой собственный внутренний ритм, я думаю, просто невозможно".

О "созвучии среды" говорил и Набоков. В своих интервью симпатию к Америке он выражал весьма недвусмысленно: "В Америке я счастливее, чем в любой другой стране... В интеллектуальном отношении я чувствую себя в Америке дома. Это мой второй дом в подлинном смысле слова". Возможно, одной из причин такого позитивного отношения к своему "второму" дому является отсутствие дома "первого". Дореволюционная Россия была уничтожена, а если и оставалась, то лишь в памяти отдельных людей. К современной ему России Набоков был неумолим: "Я никогда не вернусь [в Россию], по той простой причине, что вся Россия, которая мне нужна, всегда при мне: литература, язык и мое собственное русское детство. Я не вернусь никогда. Россия стала невероятно провинциальной за эти сорок лет".

Ностальгию по России, которую писатель так культивировал в своих книгах, Набоков постепенно стал проецировать и на Америку, когда переехал в Европу. Корреспонденту журнала "Life" он признавался: "Мне кажется, я стараюсь развить в себе, попав в эту приятную ссылку, ту же плодотворную ностальгию по Америке, моей новой родине, какую развил, в первые послереволюционные годы своего западноевропейского изгнания, по России, родине старой. Конечно, я скучаю по Америке".

Бродский неоднократно повторял: "Чтобы жить в чужой стране, нужно что-нибудь в ней любить". Следуя этой формуле, Довлатов называл американскую литературу и джаз. Для Бродского это были американская поэзия и "дух ее [Америки] законов". Причем под "духом ее законов" он подразумевал не столько демократию, сколько идею индивидуализма (наверное, сказалось коммунальное детство поэта).

Индивидуализм для советского человека был небывалой роскошью, поэтому попадавшие в Америку русские с жадностью наслаждались им. О нем они кричали чуть ли не на каждом углу, восторгались при любом удобном случае. Это бросается в глаза и в художественных произведениях, и особенно в интервью (с этой точки зрения забавно читать беседу Бродского с Юзом Алешковским, где они каждый на свой лад расхваливают тот самый "дух").

Идея индивидуализма привлекала не только Бродского. Ею "болели" многие, ценившие свободу выбора и демократию. Хотя и тут наши писатели усматривали подводные камни. Демократия, открывая возможности для каждого человека, тем самым всех уравнивает, ставит на одну доску. Бродский называл это излечением от "комплекса исключительности". Уравнивающая демократия воспринимается как безразличие, воспитывающее "такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением", — утверждал Генис. Развивая эту мысль, он писал: "Автономность и самодостаточность не исключают, а подразумевают затерянность в пейзаже. Демократия, как болото, все равняет с собой... Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение — в стиль, одиночество — в свободу". По этому поводу художник Бахчанян шутил: "Лишний человек — это звучит гордо!" При этом каждый из них болезненно переживал собственную "лишнесть": "Я — этнический писатель, живущий за 4000 км от своей аудитории", — с воспитанным в Америке смирением писал Довлатов.

Русские по профессии

Размышляя о положении писателя-эмигранта, Генис, быть может, жестко, но вполне реально оценивал ситуацию. У "перемещенного" писателя есть два выхода, утверждал он: жить либо прошлым, либо будущим. Тем самым исключая чужое настоящее. С будущим все было не так просто. "Поскольку самой примечательной чертой этого будущего является наше в нем отсутствие, большинство предпочитало писать о том, что было. Попав на Запад, писатели не столько говорили, сколько договаривали то, что им мешали сказать дома". "Договаривая", они неизбежно продолжали жить в прошлом. Бродский по этому поводу писал: "Писатель в изгнании, в общем и целом, ретроспективное, глядящее вспять существо"[1].

Память преследовала всех: одни пытались избавиться от нее, другие, напротив, культивировали. Набоков, например, прославлял достоинства долгой памяти. В "Других берегах" он скрупулезно возрождал свое детство, воссоздавал мельчайшие его подробности, погружая читателя в собственную ностальгию. Впрочем, по поводу ностальгии существовали разные мнения. В России было принято считать, что русские писатели прямо-таки умирали от ностальгии. Сложилось мнение, что именно она была причиной ранней смерти Бродского, Довлатова, "не смирившихся" с потерей родины. При этом забывали, что самыми яркими воспоминаниями того же Бродского были психушки, ссылка, антисемитизм, коммуналка... Довлатов тоже был сыт прелестями советской действительности, сделав свой "несложный выбор". Так что мнение об убийственности ностальгии у многих вызывало сомнения. Среди сомневающихся были и сами эмигранты. Генис писал об этом с откровенным сарказмом: "Набокова она [ностальгия] не смогла добить до 78 лет, Бунина — до 83. Пожалуй, для русских писателей ностальгия безопаснее пребывания на родине".

Что бы ни говорили о ностальгии, но внутренняя связь с "опасной родиной" у эмигрантов оставалась. Острее всего это ощущалось на уровне самоидентификации. Набоков, проживший за границей почти 60 лет, по его выражению, стал "таким же американским, как апрель в Аризоне". Переход на английский и стремление стать американским писателем не помешали ему в конце жизни заявить, что чувствует он себя русским. И все, что он делал, — это своего рода дань России. Что касается Довлатова, то он даже не стремился внедриться в американскую словесность, утверждая, что никогда не перейдет на английский язык и не будет писать об Америке. Хотя об Америке он все-таки писал, но это была не простая, а "русская" Америка. В "Иностранке" действие происходит в "русской резервации" Нью-Йорка, в "Филиале" — в Калифорнии на конференции славистов, собравшей всю окололитературную эмигрантскую братию. Соответственно персонажи этих "американских" сочинений — русские эмигранты. Американцы у Довлатова появляются крайне редко. А если и появляются, то оказываются либо бывшими одесситами, либо типами, придуманными ради улыбки русского читателя: "интеллигентный негр Руди, специалист по творчеству Ахматовой".

Интересный феномен — восприятие Америки и России у одних и тех же писателей было двояким: в зависимости от того, в какой географической точке они находились. Живя в СССР, они считали себя ярыми американофилами, носились с американским джазом, Хемингуэем и Фолкнером. Но оказавшись гражданами США, они с удивлением обнаружили, что их больше интересует русская литература. Генис вспоминал, как они часами спорили о Гоголе, сидя с Вайлем и Довлатовым в

1. И. Бродский. Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро / Перев. Е. Касаткиной.

нью-йоркском кафе и доведя официантку до полного изумления. "О чем можно говорить четыре часа?" – не выдержала она. "О Гоголе", – с удовольствием ответили они.

Так и получилось, что, живя в России, они были "бóльшими американцами, чем сами американцы" (признание Бродского), но, оказавшись в Америке, ощутили себя русскими. Объективно так оно и было. По языку, культуре, ментальности, привычкам, месту рождения они принадлежали России. Однако со всем "русским народом" они себя не отождествляли по той простой причине, что не отождествляли себя ни с каким народом. Они могли любить этот народ, презирать, спасать его, но сами им не были. Понятие "народ" иногда может скатываться до страшного слова "толпа", а в интеллектуальной среде не было оскорбления более обидного, чем "толпа из одного человека".

Писатели, поэты (особенно в России) всегда ощущали себя избранными. Они – "аристократы духа". Даже работая дворниками и сторожами, они считали себя элитой, "непризнанными гениями" (а если и признанными, то в узком кругу таких же непризнанных). Их социальный статус не имел никакого значения для них самих. Наша интеллектуальная элита идентифицировала себя только с себе подобными, ощущая свою "русскость", она ничего общего не хотела иметь с тетей Маней из булочной. Сходным образом, Бродский, глядя на Брежнева, говорил: "...если он человек, то я не человек".

В России писатели были сторонними наблюдателями происходящего, как посетители зоопарка. Хотя они были не только наблюдателями, но и описателями (или о'писателями).

Не отождествляли они себя и со всей русской эмиграцией в Америке. Тут опять же мешала избранность и элитарность. Генис насмешливо описывал русских эмигрантов, играющих в шахматы на берегу моря, не снимая ушанок. Тем самым, автор, сам того не сознавая, провел линию водораздела между собой и "ними" – русскими эмигрантами: вот, позорятся перед всем Нью-Йорком в ушанках, а я не такой. Довлатов снисходительно и, как всегда, с иронией писал о русской эмигрантке, говорящей об афроамериканцах: "Ехали бы в свою паршивую Африку". Довлатов тут же язвительно добавляет, что сама она из города Шклова, но "жить предпочитает в Нью-Йорке". В насмешке чувствуется отделение себя от этой эмигрантки: она – расистка, а он – нет. Он интеллектуал, любящий джаз – "черную музыку" и, соответственно, любящий черных. Бродский на свой лад иронизировал над русскими эмигрантами, пытающимися найти в Америке начальство, силу, которой можно подчиниться, как это было в Союзе. Может, так он хотел показать их "рабскую" психологию. Сам он восхищался американским "духом индивидуализма" и не уставал радоваться (притом вслух), что его все оставили в покое. Тем самым он противопоставлял себя – свободного человека – "рабам". "Освобожденный человек не есть свободный человек", – уточнял он в эссе.

Но американцами наши писатели тоже отказывались себя осознавать. В Америке, кроме "духа индивидуализма", было еще многомиллионное население, обозначаемое словом "народ" – тем самым словом, с которым наша элита не могла себя идентифицировать ни дома, ни в эмиграции. Американцы подкупали своей приветливостью, но отталкивали своей "простотой". Писатели могли чувствовать общность с американской интеллигенцией, но не с персоналом бензоколонки. Вышло, что в Америке они стали такими же сторонними наблюдателями, как дома.

И тут дело не только в элитарности. Каждый из них по-своему приспосабливался к новой среде. При этом кто-то смог вжиться в нее и ощутить себя пусть не американцем, но частью Америки, а кто-то еще острее и отчетливее осознал, что он русский. Здесь уже сказывалась индивидуальность. Это касается и вос-

приятия собственной личности в Америке, и восприятия Америки в целом — переживания неизбежного для эмигранта культурного шока. Аксенов, кажется, ярче всего выразил свой культурный шок в книге "В поисках грустного бэби". Может, оттого, что острее переживал этот шок, отчаяннее других пытался вжиться, а не отстраниться. Во-первых, он сразу поехал жить не в Нью-Йорк — резервацию русских эмигрантов, а в Вашингтон. Это давало возможность общаться с американцами (а не только с соотечественниками) и освоить язык. Во-вторых, чтобы стать американским писателем, как уже было сказано, Аксенов перешел на английский. Эксперимент закончился без потерь для русской литературы — Аксенов вернулся к родному языку и остался русским писателем. Более того, сейчас перебрался в Европу.

Довлатов, в отличие от Аксенова, и не стремился стать американцем. Наоборот, он утверждал, что живет не в Америке, а в русской колонии — в Нью-Йорке. В городе, половина населения которого говорит по-русски ("Строчки 'Там русский дух... там Русью пахнет!' можно отнести и к Нью-Йорку"). К тому же, Довлатов неважно владел английским, так как общался либо с русскими, либо с американскими славистами (естественно, говорившими по-русски). Такое "ограждение" себя от Америки, возможно, способствовало меньшему переживанию культурного шока.

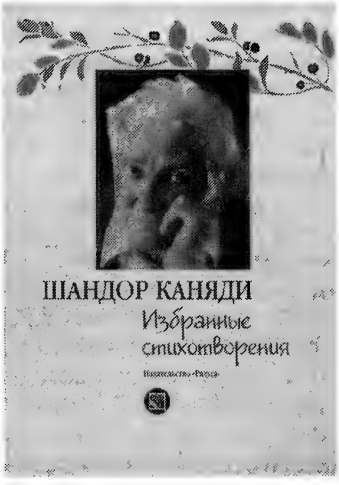
Но наибольших успехов в самоотстранении все-таки достиг Бродский. Его принцип "жить на отшибе, на краю прихода" распространялся и на Америку. Культивируемая им "внедомность" помогла не только преодолеть культурный шок, но и внушить себе, что такового вообще не было. А если и было что-то, то он трактовал это на свой лад: "Новая земля. Новые люди. Но небо все то же. И я тот же". И все жутковатые события своей жизни: ссылку, эмиграцию, разрывы с людьми — он склонен был рассматривать как еще один шаг к собственной автономии. Автономии — "если и не небесного тела, то, во всяком случае, космического снаряда".

В Америке каждый из писателей-эмигрантов находил то, что сам искал (осознанно или неосознанно): Аксенову надо было приехать в Америку, чтобы понять, что он — европеец; Довлатов, в Советском Союзе никак не могший определить свою национальную принадлежность (варианты — армянин, еврей, русский), в США наконец сформулировал ее: "русский по профессии" (то есть автор, пишущий по-русски). Кроме того, именно в Америке он понял, что русская литература его интересует больше, чем какая-либо другая. Бродский в Новом Свете нашел подтверждение своей абсолютной и беспросветной "вне-домности". Не Америка диктовала, как воспринимать ее и как воспринимать себя в ней, они сами себе все надиктовали. Их культурная самоидентификация слишком тесно была связана с самоидентификацией личностной, и определялась она принадлежностью к писательскому цеху.

"Влюбленный рассказ о подлиннике"

Слово переводчикам стихов Шандора Каняди

На этот раз в нашей рубрике выступают создатели русских версий стихов Шандора Каняди[1], одного из крупнейших современных поэтов Венгрии. Его книга — "Избранные стихотворения" — вышла в издательстве "Радуга" в конце 2004 года, к 75-летию со дня рождения автора.



Шесть текстов, публикуемых ниже, — не только размышления мастеров поэтического перевода о тайнах ремесла, о поисках решений, о желании и необходимости перевоплощения и других проблемах высокого искусства. Все шесть текстов — еще и признания в любви к Шандору Каняди, поэту "трагическому и ироничному", "светлому и веселому", чью лирику отличает душевная чистота и словно бы наивное — только на первый взгляд — мироощущение.

Каждый из переводчиков — наши читатели это легко заметят, — яркая творческая индивидуальность, и каждый из них увидел по-своему и попытался бережно воссоздать на русском языке необычный художественный мир Шандора Каняди.

Юрий Гусев

Мне всегда (во всяком случае, с тех пор, как у меня сложилось некое общее представление о венгерской литературе) казалось, что Трансильвания для Венгрии, для венгерской культуры — приблизительно то же самое, что Одесса для русской.

Разумеется, разумеется, весьма приблизительно; разумеется, мне известно, что Одесса — город, а Трансильвания — целый край; ну и так далее.

И все же, и все же...

В последние полтора десятилетия сходство усугубилось еще и тем, что Одесса для России теперь тоже "отрезанный ломоть". История как хирург во фронтовом госпитале: она часто режет по живому, безжалостно (но, в отличие от хирурга, без большой необходимости), отделяя границами то, что представлялось неотторжимой частью организма. Эрдей (таково венгерское имя Трансильвании) в восприятии венгров — это некая особая концентрации "венгерскости", один из очагов, где на протяжении многих столетий созревал, расцветал венгерский дух, сохраняясь и в самые тяжелые, катастрофические для народа периоды. То, что этот очаг почти столетие назад был отсечен от тела страны, остается незаживающей травмой венгерского национального самосознания.

Одесса и Эрдей похожи прежде всего тем, что и там, и там в тесном

1. Читатели журнала могли познакомиться с его творчеством по публикациям в "ИЛ": 1980, № 8; 1991, № 6; 2000, № 11; 2003, № 11.

соседстве живут представители разных наций, подчас очень далеких друг от друга по языку, по характеру, по мироощущению. Такое сожительство, особенно если оно долгое, многовековое, очень помогает избавиться от национального себялюбия, ксенофобии, вырабатывает такую необходимую в нашем мире черту, как взаимная толерантность. Эрдей, например, известен своими давними традициями веротерпимости, которая еще в середине XVI века была закреплена здесь законодательно (об этом рассказывает обстоятельная книга — ее я в настоящее время перевожу — Гезы Саваи "Секлерский Иерусалим").

Но для нас сейчас важнее другое — соседство, общение, взаимообогащение, взаимопроникновение разных культур, которое ведет не к нивелировке, не к взаимоуподоблению, а к расцвету их самобытности, к полному выявлению их неповторимых, своеобразных черт.

И не менее важно то, что представители разных наций, постоянно общаясь с носителями иных языков, обретают некую особую чувствительность к языку своему, родному. Не хочу углубляться в вопрос о том, парадокс это или логическое следствие, но факт, что языковая теснота, пестрота не притупляет слух, а, напротив, обостряет его, повышает восприимчивость к языковым нюансам, развивает способность к языковой игре, словотворчеству, учит радоваться языковым находкам и радовать ими других.

Не надо, наверное, напоминать, сколько великолепных мастеров, настоящих виртуозов слова дала в одном лишь XX веке русской литературе Одесса! И какой свежей и мощной струей влилось в реку русской изящной словесности искрометное, ироничное, веселое творчество писателей-одесситов, от Бабеля до Жванецкого.

В Одессе национальная пестрота и многоязычие породили своеобразный — одесский — юмор (может быть, соседство ласкового моря сыграло тут свою роль). В Эрдее, в этом мрачно-красивом горном крае, среди скал и лесов, людям свойственна скорее некая мечтательность, их взгляд направлен чуть выше реальности, они умеют и любят в обычном видеть необычное, сказочное, фантастическое.

Начало XX века в венгерской литературе ознаменовалось появлением яркой, как комета, мощной, странной, до сих пор, мне кажется, до конца не разгаданной, почти не поддающейся адекватному переводу поэзии Эндре Ади, выходца из Эрдея. Потом были его земляки: прозаики Арон Тамаши, Йожи Енё Тершанский (чей герой, веселый прохиндей Марци Какук, то есть Марци Кукушка, — словно родной брат нашего Остапа Бендера) и многие другие.

Эрдей до сих пор не перестает подпитывать венгерскую литературу своими неповторимыми талантами. Своеобразие нынешней ситуации в том, что после бесславного краха диктатуры Чаушеску венгерские писатели Эрдея (Трансильвании) свободнее общаются с "материнской" культурой Венгерской Республики. Некоторые из них перебираются в Венгрию на постоянное жительство (перебирались и раньше, при Чаушеску, но в те времена это была крайне тяжелая, подчас смертельно опасная операция). Другие свободно перемещаются туда и сюда, как бы олицетворяя собой единство венгерской культуры на территории, занятой "титульной" нацией, и за ее пределами.

К последним относится и один из самых больших современных венгерских поэтов, Шандор Каняди, несколько крупных вещей которого мне посчастливилось перевести совсем недавно.

Поэзия Каняди, мне кажется, красноречиво подтверждает то, что сказано было выше о венгерской литературе Эрдея. Его творчество — живое воплощение той неистощимой энергии, которой полны душа и характер этого прекрасного горного края. В стихотворениях и поэмах Каняди главное, что покоряет читателя, — это свежесть, нестандартность

поэтического видения мира. Причем свежесть эта ничего общего не имеет с натужным изобретательством, стремлением удивить, ошеломить читателя. Свежесть и непреходящая новизна Шандора Каняди органичны, как органичен, естествен сочный, красивый, полнокровный венгерский язык, которым написаны его вещи. У Каняди тоже силен тот элемент сказочности, надреальности, который, как я уже говорил, присущ эрдейским писателям вообще. Это бросилось мне в глаза, когда я работал над переводом его поэмы "Грива и череп". Главные герои поэмы, мудрая кобыла Пегая и пес Цыган, — почти волшебные персонажи, словно явившиеся из каких-нибудь старых сказок или легенд. Скорее всего именно этот, открытый к фольклору, к доисторическому видению мира аспект побуждал автора строить поэму так, чтобы в ней, в ее стиле и образной ткани соприсутствовали древность и современность. Поэма эта — своего рода мозаика, где порой слышится ритмичное бормотание шамана, потом его сменяет чистая, светлая лирика, переносящая нас в современность, в конец XX — начало XXI века.

Приплыл из кухни запах кофе
любимая поднос внесла
поцеловала улыбнулась
ушла и на ветвях вдоль улиц
взбухает почками весна.

Поэма эта, собственно говоря, реквием; реквием по четвероногим друзьям поэта, верным спутникам его жизни, делившим с ним не только радости, но и трагедии, которыми так насыщен был минувший век. С их смертью уходит в прошлое гармония добра и спокойного, несуетливого труда, наполнявшего жизнь простых людей. Но реквием этот светлый; в нем больше благодарности, чем уныния, и даже размышления об удручающих перспективах исторического развития не приводят автора к черному пессимизму.

Еще в одном реквиеме — "Из писем отцу" — приподнят над действительностью образ отца. Поэма изображает истинно народный, крестьянский характер, в котором исторические зигзаги и катаклизмы лишь укрепляли человечность и вырабатывали мудрость; суть этой мудрости — лишенное всякого надрыва сознание необходимости выполнять, несмотря ни на что, извечный крестьянский долг сеять хлеб, растить детей — то есть обеспечивать преемственность человеческого рода на Земле.

Подобные "почвеннические" позиции у Каняди не переходят в узколобый национализм, и причина здесь, очевидно, все тот же стабильный многонациональный уклад Эрдея (так и в Одессе ведь нет национализма; во всяком случае, пока в жизнь людей не вмешивается политика). Каняди спокойно и с интересом относится к любым "чужим", то есть невенгерским явлениям, взглядам, мыслям, лицам, если обнаруживает в них то, что свойственно, близко ему самому: любовь к жизни и людям, внимание к исконным ценностям бытия, к тому, что роднит народы, а не разъединяет их. Вот еще один реквием — поэма "Еретические депеши", героем которой является польский поэт Збигнев Херберт; в нем Каняди почувствовал родственную душу и проникся к нему глубокой симпатией.

Пожалуй, красноречивее всего органическое, общечеловеческое, чуждое националистическим предрассудкам мировосприятие Каняди проявляется в его отношении к румынским поэтам: следуя своему здоровому, конструктивному отношению к людям, он видит в них не представителей диктаторского режима, а поэтов — и, исходя из этого, оценивает их. Особенно часто встречается у него — в посвящениях, в переводах, в явных или скрытых цитатах — имя замечательного поэта Никиты Стэнеску.

И еще один момент поэтического мира Шандора Каняди вызвал отклик у меня в душе (может быть, потому, что я сам об этом в последние годы много размышляю). Это — его отношение к Богу. Каняди, как я могу судить, человек верующий. Но такие

понятия, как, скажем, набожность, богобоязненность, молитвенное благоговение, к нему никак нельзя приложить. Бог для него — часть того надреального, немного сказочного мира, в котором поэт чувствует себя (по-видимому, не только в стихах, но и в жизни) свободно, по-свойски. Да, у Бога там особое, верховное положение; тем не менее он — не запредельная сущность. Бог для Каняди — человечен, а потому поэт может обратиться к нему и с недоуменным упреком, и попенять ему за упущения. И — послать довольно дерзкие, "еретические" депеши в царство небесное. В конце концов, если на Боге лежит ответственность за состояние дел в мире, то, по естественной логике вещей, и спрос с него должен быть немалым...

В стихах Шандора Каняди, как у любого большого поэта, есть загадки, но они не вызывают досады и раздражения: он по сути своей поэт светлый и веселый, а потому поиск ключей к его загадкам — это открытие новых источников радости. Может быть, поэтому стихи Каняди так органично ложатся на русский язык.

Натэлла Горская

"...попьет пернатый гость и ввысь взлетев возносит благодарственный напев..."

О месте этого стихотворения скажу позже. Прежде всего мне хочется отождествить переводчика, в данном случае себя, с "пернатым гостем", возносящим "благодарственный напев". Гость — это понятно; переводчик и есть гость в стихах иноязычного поэта. А "пернатый"... Что ж, такой допуск возможен, ведь пишем мы пером, которое некогда было гусиным. Что касается "благодарственного напева", то здесь дело обстоит куда серьезнее. Взмывать ввысь получается, когда переводишь Стихи. Говоря о поэзии Шандора Каняди, не буду рассыпать эпитеты, ее характеризующие. Скажу кратко: это — Стихи (с большой буквы).

Почему с большой? Да крупно он берет и в большом диапазоне, этот венгерский поэт, родившийся в Трансильвании.

Нет у него мелкотемья, нет охов и вздохов, зачастую присутствующих у поэтов, далеко не лишенных таланта. (Оговорюсь заранее. Речь идет только о стихах, которые довелось перевести мне. Но это пласт немалый — более тысячи строк, и думается, что поэт и в других стихах не изменяет своим, увидившимся мне в ходе работы, творческим принципам.)

Так вот, о диапазоне. Стоит лишь перечислить названия стихов или их первые строки, чтобы понять широту охвата поэзии Шандора Каняди.

И это не нарочитое перескакивание от одного к другому с желанием тайным или явным показать читателю разнообразие своих поэтических возможностей. Это органика, это своего рода взаимодействие сил центростремительной и центробежной, когда к поэту стекается вся информация от окружающего его мира и, осмысленная и переработанная творчески, возвращается стихами в мир.

В поэзии Каняди много боли, ибо такова информация. Но чем острее боль, тем ощутимее жизнеутверждающий лейтмотив его творчества — выстоять вопреки всему, шаг за шагом отвоевывая право на жизнь и поэзию. А этих "вопреки" немало: война ("В тот вечер", "Провинциальные стихи о мире"), геноцид ("Открытки из Дахау", "Дым", "Книжная закладка"), разочарование, крушение надежд ("Куплеты о красном трамвае", "Из дневника"), потери ("Желтый цветок", "К концу").

И, так сказать, оборотная сторона все тех же "вопреки" — преодоление и, через это, радость-гордость за всех несломленных, и за себя в том числе.

Очевидно, не стоит перечислять и расшифровывать посвященные той или иной теме стихи. Вышедшая в свет в издательстве "Радуга" книга Шандора Каняди достаточно полно представляет его

творчество, и свежее личное впечатление куда убедительнее, чем скрупулезное анатомирование выборочно изъятого стихотворения.

Но о любви, о любви поэта к миру и людям – своеобразной фуге в полифоническом творчестве Каняди – хочется сказать особо. Ее голос звучит все время, как правило, без пылких излияний, а ненавязчиво вытекая из контекста. В стихах "Под созвездием Южного Креста", "Армянские надгробия" (цитата из этого стихотворения приведена мною в самом начале), "Послеполуденное наречие", "Из дневника" и других перед читателем возникают индейцы, армяне, цыгане, свои "кровные" венгры... И, коснувшись судеб, таких разных и таких схожих, любовь концентрируется в маленькой Трансильвании:

Есть несказанный край такой
где горечь силой колдовской
преобразуется в бальзам
чтоб сладость дать моим губам

А там, в этом краю, родилась еще одна любовь – к женщине, о которой поэт говорит очень сдержанно, потому что "слова поистерлись", но с обезоруживающей убедительностью: "... мы с тобой рядом, как парные строчки..." Надо ли что-либо добавить к этому... Разве что – полвека рядом. Всю жизнь.

И еще раз о диапазоне. О разнообразии форм, присущем поэтике Каняди. У него есть все или почти все: от строго организованных рифмованных стихов до верлибров, порой лишенных и пунктуации; от фольклорных мотивов с их строем и образной системой до кратких поэтических эссе; от памфлетов, пронизанных иронией, до стихов-заклинаний ("От дерева к дереву"). Разные этапы творчества, разные настроения и в поэтике отражаются по-разному. Что ж, все правильно: как говорится, хозяин – барин.

И в заключение вернусь к началу, к "благодарственному напеву", то есть к работе переводчика.

Переводить стихи Каняди было интересно. Все вышесказанное объясняет этот интерес. Другими словами, в процессе работы все время возникало желание перевоплощаться. По всем параметрам творчество переводчика сродни актерскому. Естественно, актер не может полностью отождествить себя с автором пьесы, так же как и переводчик не может превратиться в переводимого им поэта. Он всегда гость в его стихах. Но гостю порой хочется войти в предлагаемую сферу, почувствовать себя органической составляющей предлагаемых обстоятельств, иными словами, стать лирическим героем того или иного стихотворения. Если это удается, или хотя бы кажется, что удалось, тогда и возникает настоящая увлеченность работой, заканчивающаяся "благодарственным напевом".

Что ж, спасибо за встречу с Шандором Каняди. Этот крестьянский мальчик, взяв "посох и дудку", прошел с ними по жизни и вырос в большого поэта.

Олег Россиянов

Шандор Каняди? Меня сразу захватила его поэма "Вена. День поминовения". Всей своей атмосферой, интригующей формой.

Это ведь, если можно так выразиться, своего рода детектив. С самого начала – загадочность. Во всем интонационном, даже грамматическом строе. Усеченные фразы, двоящиеся образы, прерываемая речь.

День поминовения... но кого? Похороненного когда-то в Вене венгерского короля (упоминаемого, кстати, лишь гораздо позже)?.. Это его когда-нибудь "венком роскошным увенчают"?.. Или самого автора (для которого, впрочем, тогда уже "чужим все станет ледяней / той венской улицы холодной", по которой направляет он пока свои шаги)?.. Или увенчают отошедшего в мир иной его вдоволь намучившегося за свою жизнь отца?.. И этот "реквием", которому в венском храме внимает поэт, тоже по доброму королю? Или, с не меньшим правом, и по отцу, и во-

обще по безвестным, без воздаяния усопшим "сиротам" земным, всем "труждающимся и обремененным", переходя на библейский язык?

И много еще других намеков на что-то более значительное, нежели внешняя, отрывочная повествовательная канва. Эпизоды, сценки, воспоминания, лирические отступления беглыми вставками словно освещают истинную — эмоционально-психологическую "детективную" — интригу. Разыскивается, собственно, смысл жизни. Далеко не однозначный, который не сразу и приоткрывается.

Автору совершенно чужд тот громогласно-обязательный оптимизм, который недаром звался у нас "казенным". Равно как и та не слишком обнадеживающая премудрость, которую более философически выражал известный афоризм "Все действительное разумно". Нет, скорее уж все трагично, подсказывает поэма. В самом течении жизни заложено некое роковое противоречие. Конечно, она улучшается; но слишком уж мучительно медленно, на протяжении целых веков. А у одного поколения и сил-то надеяться подчас не остается. На ум невольно приходят надрывные строки другого венгерского поэта, еще начала XX века, Эндре Ади: "Прыгать? / Через костры?.. Нет, довольно. / Сделайте жизнь сноснее! Тогда и взгляну веселее. / Только скорее, скорее!"

И в самом деле, какая-то бесконечная цепь тянется. Отцу поэта вспоминаются предводитель венгерской революции Кошут, его незавидное изгнанничество после ее поражения, поиски им убежища и поддержки в других странах. А самому поэту — горькие отцовские унижения, которые приходилось претерпевать от хозяев деревни. А судьбы других крестьян, гонимых нуждой на сей раз в Америку?.. И безвинно погибающие потом в войну под бомбежками дети... И — новая нависающая надо всеми напасть: атомная угроза, вселенский пожар.

До отдельного человека никому дела нет. "Что и кому твой жалкий след..." Это уже автор о себе, сопричисляя свой жребий общему уделу. Уносит и уносит одного за другим река вечности. "Плывет гроб плывет / по Дунаю вниз вниз / в мореокеан..." Руки почти готовы опуститься. "Уж не спешит длань для пожатья / не раскрываются объятья/ и взгляд вперяют в никуда..." Не знаю даже, где еще в поэзии столь органично и впечатляюще воплощает это полное отсутствие знаков препинания горестную растерянность пред лицом времени, его бесстрастного, безостановочного потока.

Но, оказывается, совсем убить, отнять надежду тоже невозможно. Даже малый просвет, немудреная житейская радость — и ожил ее новый росток, подняла голову вера, что не все потеряно. Жизнь не оставляет без мимолетной ласки, нежданных подарков. Какая-нибудь незатейливая трапеза после дневных трудов — и уже почти праздник. "Стук корчаг звяк-бряк горшков / И внятный всем понятный зов". Дух манящий, необлыжный, мамалыжный. И вместо реквиема словно хвалебная "месса-сказка" льется: "Бело молоко / бульк-бульк молоко / сладко-легко", "Вечер счастья / как причастье"...

Такая вот почти до наивности нетребовательная вера-надежда. Полупатриархальная, но неистребимая — извечная, прирожденная. И что там ни говори, а она нет-нет да и согреет, поможет жить. Пусть иногда это лишь воображаемое сочувствие много бурь вынесшей березы, которая "долгим взглядом" проводит поэта (стихотворение "Старая береза"). Пускай просто весенние ручьи зажурчали — и в унисон уже изливается безыскусный гимн всеобщему пробужденью, которое, ликуя, славят и солнечные лучи, и "горы и леса", и "малютка жаворонок/ взмыв высоко в небеса.../ радость радость-то какая/ славно как без страха жить" ("В путь-дорожку"). Малое и великое вопреки всему обнимаются, обретая друг друга, создавая нерасторжимый лирический диптих.

Да, и век наш короток. И любовь не вечна. И всегда ли в мире торжествует справедливость? "Заползает червь сомненья..." Поэт отлично понимает: от поступательного хода цивилизации не скрыться. Ее сверхзвуковых самолетов "уж не догонишь" ("Вена. День поминовения"). Придется с ней уживаться, с ее благами и невзгодами. Как и с неказистой деревенской архаикой: "кря-кря-кря утиным/ хрю-хрю поросячьим.../ ребятней босою/ спьяну зачатою". Но — ценя и храня самое лучшее, исконное, неподавимое: прекрасное детство души.

Своеобразное слияние постоянно бодрствующего интеллекта с почти фольклорно-наивным мироощущением, со всеосветляющей душевной чистотой — вот в чем главное очарование лирики Шандора Каняди. Хотелось его и в переводе донести до читателя.

Марина Бородицкая

Сперва показалось, что этот Каняди вообще не мое амплуа и никакая система Станиславского тут не поможет. Неуютно мне было в его шкуре, холодновато и темновато. Как воздуха, не хватало вещества радости. Даже смех сильно горчил.

Хорошо, что внутри каждого человека водится сразу несколько человеков разного возраста и пола. Есть из кого выбрать. Вот и у нас отыскались общие персонажи: ехидная старуха ирония и стойкий оловянный подросток.

Старуха хмыкала:

Ложка, вилка, стакан и чашка,
смотришь, стали частями тела,
стул взирает на нас устало —
как на мебель, по сути дела,

и ухмылялась:

свобода она идеал
позапрошлого века
а идеал
века двадцатого пенсия.

Мальчишка геройствует гекзаметром:

Ночь напролет мы держались.
Пытались вычерпать воду,
в ребра скрипевшей ладьи
упирались ногами, плечами...

И постепенно всё у нас наладилось. Так мне кажется. Спасибо, Шандор, было чудесно.

Наталья Ванханен

Перевод с подстрочника — неблагодарное занятие. В самом слове "подстрочник" есть что-то легковесное. Что греха таить, в нашем подсознании оно не слишком далеко ушло по значению от слова "халтура". Эдакое неозвученное признание: языка не знаю, а берусь — жизнь заставила!

Ведь сам по себе подстрочник, даже самый лучший, оставляет от налитого яблока поэзии одну сухую сморщенную кожицу — поди-ка верни ей сладкий сок жизни!

Действительно, человек, работающий по подстрочнику, что-то вроде слепоглухого (но не немого!), который должен рассказать о своих впечатлениях от того, чего он не видит и не слышит. Или вот: человек с хроническим насморком, призванный поведать об аромате поэзии, аромате в прямом смысле слова "нездешнем", то есть тамошнем — английском, испанском, венгерском. Какая незавидная участь!

Между тем в моей жизни, в тех немногих случаях, когда мне пришлось переводить по подстрочнику, я воспринимала эту вдруг представившуюся возможность как некую оказанную мне честь. Вот как дело было.

Существовала в ныне почившем гигантском государственном издательстве "Художественная литература" редакция "Литература социалистических стран Европы". Все мы тогда втайне предпочитали капиталистическое: книги, фильмы, сигареты, — а от социалистического заранее ожидали унылых прелестей конъюнктуры. Однако в данном слу-

чае дело обстояло иначе. Редакция отличалась независимым, свободолюбивым нравом, умела отстаивать хороших авторов. В ней работали высокопрофессиональные редакторы и смелые люди: Ольга Кутасова (Югославия), Стелла Тонконогова (Польша), Юлия Живова (Польша), Ирина Иванова (Чехословакия), Ника Глен (Болгария), Наталья Подольская (Польша). И — Елена Малыхина (Венгрия), организатор и вдохновитель нынешних переводов Шандора Каняди. В качестве переводчиков привлекались лучшие поэты. Здесь получала переводы опальная, лишенная возможности публиковаться Анна Ахматова. Здесь давали работу отлученному от всех издательств Юлию Даниэлю, печатавшемуся под псевдонимом Ю. Петров. Здесь переводили Иосиф Бродский, Борис Слуцкий, Николай Глазков, Давид Самойлов, Владимир Корнилов, Юрий Левитанский, Анатолий Гелескул, Анатолий Найман. Надо ли говорить, что переводчик, которому предлагали поработать рядом с мастерами, чувствовал себя польщенным. И, конечно, очень старался. Дают подстрочник — значит, доверяют!

Другой случай — это переводческий семинар, организованный замечательным литератором и бесконечно дружелюбным человеком Элиазбаром Георгиевичем Ананиашвили. Под его руководством мы, тогда молодые переводчики, переводили грузинских поэтов. С подстрочника, разумеется. Было много встреч, разговоров, веселья. И все мы очень старались, ведь мы учились, и хотелось быть на высоте и друг перед другом, и перед учителем.

Словом, вопреки всем неудобствам, процесс перевода по подстрочнику оставил у меня достаточно благоприятные впечатления, о которых я вспомнила, получив предложение поработать над стихами Шандора Каняди.

Шандор Каняди прежде всего лирик, тонкий вдумчивый наблюдатель души. Его маленькое стихотворение "Вздох" уже стало песней, поэтому, переводя его, я особенно старалась сохранить песенную легкость человеческого голоса. Чисто технически здесь был очень важен размер — пусть и по-русски тоже поётся. "Сумерки", "Осенняя элегия", "Осина", "На набережной" требовали деликатного подхода со стороны переводчика. Хотелось не нарушить гармонию, точно взять ноту, дать нужную громкость. Эти стихи — мысли вслух, мгновенные и одновременно неспешные, как тающие в небе следы отгоревшего салюта.

Есть у венгерского поэта и совсем другие стихи — написанные человеком, которого не миновало в XX веке все то горькое, тяжкое, что от этого века, к сожалению, неотделимо. Здесь другая интонация, но все тот же голос: не крик с трибуны, а короткая дневниковая запись, в которой всё — боль.

> На Дунае падают под танки
> дети революции, подранки.
> Для чего в упор без разговора
> расстреляла ты меня, "Аврора"?

Я привожу тут свой вариант перевода этого четверостишия, в котором обида, недоумение, боль за свой народ, горькое чувство крушения веры. Четыре строчки, а за ними и отражение страшного ввода советских войск в Венгрию, и вся биография автора. Кажется, человек, горестно обхватив руками голову, раскачивается, сидя на стуле. Не стихи — стон. Собственно, эту позу, жест и надо передать в переводе. Как? А кто его знает, но надо! Та же сложность и со стихотворением "Бог наказывает, кого любит".

Как испанист, я с удовольствием работала над "Романсом, сочиненным венгерским бродячим певцом для порванных гитарных струн Федерико Гарсиа Лорки" и стихотворением "Венец". По большому счету в этих двух непохожих вещах одна тема — страстотерпцы. И не важно, что в одном речь о страсти-любви, а в другом о страсти-страдании (в значении "страсти Христовы"). По сути, для поэта это одно и то же: душа должна выдержать то, что ей дано, пронести свой крест без жалоб, не отречься. Та-

кое мироощущение очень близко испанской поэзии, и, видимо, недаром испанский мотив прозвучал в обоих стихах.

В стихах Шандора Каняди "Всё – ненадолго", "Книга Екклесиаста" снова слышится голос человека, пережившего все беды своего столетия. Как у Ахматовой:

> Я была тогда с моим народом,
> там, где мой народ, к несчастью,
> был.

Думаю, наибольшую вольность я допустила, переводя "Увлечение". Про то, что человек охотно влюбился бы в смерть, будь она молодой и красивой. Тут так явственно послышались мне отголоски средневековых "Плясок смерти", так зазвучали в ушах мотивы пира во время чумы, что я не удержалась от некоторого, может быть, перекоса в сторону озорной лирики вагантов. При этом хотелось не уйти в стилизацию, которой, скорее всего, нет в подлиннике, сохранить современное звучание слова. Вот такая была трудность.

Написала я все это и думаю: много пластов в одном человеке, и переводчик в меру своих возможностей пытается эти пласты поднять, не оставив втуне ни одного. Работа не из легких. Упражнение на внимание. К автору. К поэзии.

Татьяна Бек

Да здравствует перевод непереводимого!

Это было не первое мое обращение к стихам Шандора Каняди. Давно, теперь уже кажется – в другой жизни, я работала над переводами его стихотворений из цикла "Есть край такой" – как раз для журнала "Иностранная литература" (1991, № 6).

Основная просодия этого поэта, трагического и ироничного, – это неназойливо, словно бы сквозным пунктиром, слегка прорифмованный верлибр. Главной для меня интонационной задачей при переводе новых стихов Каняди было соблюсти меру в близости стиха к ритмизированной прозе и при этом наметить, вспышками, его склонность к внутренним созвучиям. Большую роль в харизме такого стиха играют инверсии и рефрены. Как мне кажется, необязательно делать синтаксические и композиционные кальки – пускай эти музыкальные зигзаги, пробелы и скрепы возникают в другой точке, но с тем же (к этому надо стремиться) эмоциональным эффектом.

Перевод, тем более с подстрочника, даже замечательно подготовленного и откомментированного, – дело, в сущности, безнадежное. Как писал поэт Александр Межиров, вдохновенно переведший множество стихотворений с малоизвестных ему языков: "И вновь из голубого дыма / встает поэзия. Она / вовеки непереводима/ родному языку верна..."

Непереводима? Однако и непереводимое переводить необходимо, и никогда это безнадежное дело не прервется.

Давайте назовем эти переводы из прекрасного поэта Шандора Каняди нашим влюбленным и близким к оригиналу "рассказом" о подлиннике. Мои версии дают о венгерском поэте представление... Я надеюсь.

Геннадий Киселев

Скромное очарование перевода. Премия "Гринцане Кавур" как итальянское зеркало русской литературы

Кульминацией торжественной церемонии вручения одной из самых престижных литературных премий Италии "Гринцане Кавур" стало выступление Евгения Евтушенко. В конце января этого года премия, основанная почти четверть века назад известным туринским интеллектуалом Джулиано Сориа, вручалась по нескольким номинациям. Главные из них – "Самый читаемый поэт" и "Выдающийся переводчик" выпали на долю русского поэта Евгения Евтушенко и переводчицы русской литературы Серены Витале. Свои стихи разных лет многоопытный декламатор читал в переполненном зале Академии изящных искусств на итальянском. Следует признать, что этот эффектный, хотя и рискованный трюк, вполне удался. Отменное знание языка позволило классику установить живую связь с едва ли не самой благодарной аудиторией – итальянскими слушателями, прощающими иностранцу допустимые огрехи речи. И только кончив чтение и водворившись на место, поэт спохватился и вывел на поклон застенчивую и неприметную даму. Она-то и была автором *итальянского* переложения прочитанных стихов...

Что такое перевод? Заранее выношу за скобки и ни в коей мере не оспариваю техногенные формулировки, которыми изобилует, как ей и полагается, лингвистическая теория перевода, где перевод – это "трансформация текста на одном языке в текст на другом языке". Впрочем, сама эта формулировка вызывает ощущение какой-то недопереведенности. Замени автор "трансформацию" на "преобразование", и все встало бы на свои места; иначе перед глазами возникает видение некой трансформаторной будки, в которой происходит таинство перевода. Но по счастью, слова – не электроны, и обладают не магнитным, а магнетическим полем, которое вырабатывает не киловатты, а килоэмоции. Общая теория перевода предлагает различные модели перевода, не давая при этом ни малейших гарантий успеха самой этой затеи, как и любая, пусть самая подробная инструкция для начинающих фокусников. И если физик-теоретик по сути неотделим от физика-практика (вспомнить хотя бы дачную лабораторию на Николиной горе академика П. Капицы), то теоретик перевода обычно не является его практиком. Тут можно вспомнить о знаменитых работах и К. Чуковского, и Н. Любимова, и Л. Гинзбурга. Но они не думали создавать теорий. Они лишь обобщали практику. Последние двое в основном собственную.

Так что такое перевод? По моим ощущениям, перевод – это главным образом великое искушение. Хотя бы потому, что с одной стороны противится вавилонскому смешению языков, а с другой – подыгры-

© Геннадий Киселев, 2005

вает ему. Или, как заметил Асар Эппель, перевод дает возможность стать официальным дистрибьютором формально не своего, но чудного мгновенья. И чем выше образчик – отправная точка перевода, называемая оригиналом, – тем сильнее чары этого искушения, тем оно сладостнее или мучительнее. Каждый новый перевод – новая для себя вершина. Искушение растет по мере того, как растет желание взять эту вершину и страх сорваться, так и не добравшись до нее. Сила падения прямо пропорциональна заданной высоте. Срываются все. Или почти все. В числе немногих продолжающих восхождение – блистательная итальянская переводчица, литературовед и писатель Серена Витале.

была сдержанна и немногословна, как икона, сказав о главной награде своей жизни – дарованном ей счастье воспроизводить на итальянском языке великие голоса из хора русской литературы. Позволю себе "дополнить" ее слова цитатой из статьи, написанной С. Витале специально для каталога выставки "Россия–Италия. Сквозь века": "Искусству русских иконописцев, по большей части безвестных, я обязана другим – увлекательнейшим ремеслом перевода литературных текстов Пушкина или Набокова, Цветаевой или Есенина. Чудо и таинство искусства, Текст (всегда сакральный, даже когда он оказывается самым что ни на есть 'мирским'), а перед ним – мастеровой-толмач, который не может

Вручение премии "Принципе Кавур" Серене Витале

Автор более тридцати крупных работ, среди которых достаточно назвать переводы из Пушкина и Бродского, Достоевского и Набокова, С. Витале по праву считается одним из ведущих славистов Италии. Вышедшая несколько лет назад книга Витале "Пуговица Пушкина" стала европейским бестселлером. (Правда, на русский книга загадочным образом переведена с английского.) В ответном слове на туринской церемонии Серена Витале

допустить ничего произвольного. Напротив, он должен добиваться успеха через уважительное отношение к источнику, через ответственность и самоотречение".

В чем же заключается неуловимая притягательность этого призрачного искусства или высокого ремесла? Возможно, в том, что перевод – это настойчивая попытка дважды войти в одну и ту же воду. Это бесконечное стремление воссоздать испытанное нами чудное мгно-

венье. Помните, как у "солнца русской поэзии"? "Ricordo il magico istante / Davanti m'eri apparsa tu, / Come fuggevole visione / Genio di sublime bellezza" (перевод Дж. Джудиче). Художественный перевод – это заветное желание произвести измененный лингво-генетический продукт творчества на благо Литературы. После каждого такого сеанса белой литературной магии выясняется, что никакого "другого" Пушкина или Гоголя, кроме русских, все же нет. И никакого Данте и Петрарки, кроме итальянских, тоже нет, потому что не может быть никогда. Но выясняется и другое, а именно то, что с этим никак невозможно смириться! Видимо, есть лишь один текст, равнозначно переданный на всех языках – это Священное Писание. При всей "несвободе" перевоплощений библейского текста и при всех его уже канонических казусах, вроде выражения о верблюде, которому легче пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в *царствие небесное*. По одной версии, верблюд – это не верблюд, а "толстый корабельный канат"; по другой, верблюд – это верблюд, а игольные уши – узкие и низкие ворота в стене Иерусалима; по третьей, верблюд на арамейском – почти то же самое, что "комар". В любом случае, это буквальный или буквалистский перевод древнееврейской пословицы. После вавилонского столпотворения перевод, наверное, можно уподобить как верблюду, который норовит протиснуться в игольное ушко оригинала, так и самому этому ушку, сквозь которое иногда так нелегко пробиться оригиналу. Но не будем забывать, *куда* все-таки можно войти, проделав этот путь. Желательно в компании лауреатов премии "Гринцане Кавур".

Турин – Москва

Франкенштейниана Лоренса Даррелла: от абсурдного к банальному

Л. Даррелл *Бунт Афродиты. Tunc*: Роман / Перев. с англ. В. Минушина. — СПб.: Азбука-классика, 2004

Л. Даррелл *Бунт Афродиты. Nungam*: Роман / Перев. с англ. Л. Володарской. — СПб.: Азбука-классика, 2004

В жизни любого, даже самого даровитого писателя неизбежно случаются периоды творческого застоя: "бесплодное проходит вдохновенье", свежих идей нет, ничего нового своему читателю он уже не может сказать, но в силу инерции и ради поддержания профессионального статуса попрежнему пишет — пишет, по известной боборыкинской формуле "много и хорошо", пишет, перепевая самого себя и выдавая на гора тысячи тонн второсортной словесной руды.

Вероятно, нечто подобное случилось и с Лоренсом Даррелом в середине шестидесятых, когда он, всемирно известный автор "Александрийского квартета", едва-едва не получивший Нобелевскую премию, засел за сочинение очередного шедевра.

"Как ужасно — снискать успех у публики: все ждут, что ты повторишь его, еще раз написав то же самое"[1], — жаловался Ларри в письме Генри Миллеру, сообщая о работе над новым романом и желании отойти от "александрийской" модели. Отчасти писатель осуществил свое намерение и сотворил вещь, по многим параметрам предвосхитившую популярные ныне технотриллеры. Хотя полностью избежать самоповторов ему не удалось. Во всяком случае меня при чтении "Бунта Афродиты" не оставляло ощущение deja lu[1]: слишком много старых ингредиентов здесь использовано.

Как и в "Александрийском квартете", нас до отвала потчуют пряной средиземноморской экзотикой (действие "Tunc" (1968) разворачивается главным образом в Афинах и Стамбуле), приперченной разного рода пикантными мерзостями: к нашим услугам и братоубийство, и мазохистские услады посетителей афинского борделя, и приправленный садистическими забавами инцест ("Джулиан сказал: "Раздвинь ноги, хочу тебя поцеловать", — но вместо этого он потряс подсвечником и безжалостно залил ее кипящим воском"), и оскопление, и препарирование трупов, и т. п.

Персонажный пасьянс разложен точь-в-точь как в "Александрийском квартете": тут вам и интеллигентный герой-повествователь, мечущийся между двумя роковыми красавицами, причем одна — коварная и взбалмошная соблазнительница, вроде Жюстин, а другая точь-в-точь как Мелисса — добродетельная проститутка, не отличающаяся крепким здоровьем; тут вам и два брата-антипода, втягивающие протагониста в смертельно опасные интриги: один — уклончивый, утонченно-извращенный интеллектуал, напоминающий Нессима, другой — "почвенный", полуграмотный и прямодушный малый с железной деловой хваткой

1. The Durrell-Miller Letters, 1935–1980 / Ed. By Ian S. Mac Niven. — London, Boston: Faber&Faber, 1988, p. 405.

1. Уже прочитанного (*франц.*).

(клон Наруза); имеется и гротескный старик извращенец (заместителем Скоби выступает отставной клоун Сипл), и герой-рупор, чья главная функция заключается в изречении фирменных даррелловских афоризмов (роль Персуордена отдана русскому эмигранту с хорошей русской фамилией Кёпген).

По сравнению с героями тетралогии персонажи "Бунта Афродиты" кажутся бледными тенями, одномерными созданиями, лишенными запоминающейся внешности и психологической начинки. Да и многие апофегмы, которые Даррелл вкладывает в уста своих марионеток, не радуют глубиной мысли: "Половой акт не воспламеняет, если в нем не участвует душа" — сентенция, достойная Ипполита Ипполитыча из "Учителя словесности".

Не воспламеняет воображения и расхлябанный сюжет дилогии — эдакой гремучей смеси научной фантастики с "Александрийским квартетом" и разжиженными мотивами из Гофмана, Мэри Шелли и Кафки.

Всемогущая корпорация, опутавшая своими щупальцами полмира, добирается и до ученого малого Феликса Чарлока, выдумавшего немало разных высокотехнологических штучек-дрючек (среди них портативное подслушивающее устройство, транскрибирующее человеческую речь). С изобретателем заключают вроде бы фантастически выгодный договор; ему обещают финансовую поддержку во всех научных исследованиях да еще в нагрузку женят на экстравагантной и порывистой Бенедикте, сводной сестре совладельцев фирмы. По окончании кругосветного свадебного путешествия молодые поселяются в Лондоне; наш герой с энтузиазмом погружается в научные изыскания, но чем дальше, тем больше тяготится опекой фирмы, получившей эксклюзивные права на все его изобретения. Чарлок с маниакальной настойчивостью пытается встретиться с одним из ее хозяев, Джулианом, но тот, по прихоти автора (видимо, любителя Кафки), вплоть до середины второй книги успешно избегает встречи, отделываясь телефонными разговорами. Между тем семейное счастье протагониста рушится под напором приступов безумия, все чаще и чаще одолевающих Бенедикту. Бóльшую часть времени она проводит вдали от мужа, в закрытых швейцарских клиниках, где и рожает мальчика (за ненадобностью умерщвленного автором в последней главе "Tunc"). А тут еще всплывает давняя Феликсова зазноба — выбившаяся в кинозвезды афинская проститутка Иоланта. Воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь, Чарлок и Иоланта встречаются в Париже, где и выясняется, что новоиспеченная звезда экрана безнадежно больна раком, а неуловимый Джулиан столь же безнадежно влюблен в нее.

Конец первого романа дилогии отмечен чередой катастроф. В больнице в окружении бесцеремонных папарацци умирает Иоланта. Бенедикта становится и вовсе невменяемой: в припадке безумия она едва не пристрелила супруга, который, надо отдать ему должное, хорошенько отдубасил ее за это ясеневой тростью. После неудачной попытки Чарлока расторгнуть договор с фирмой его сажают под домашний арест, запрещая при этом заниматься наукой. Напрасно! В своем комфортабельном заточении главный герой сооружает суперкомпьютер, а затем, имитируя самоубийство, бежит из Англии и на некоторое время исчезает из нашего поля зрения.

В начале "Nunqam" (1970) мы обнаруживаем Чарлока, лежащим с проломленной головой в швейцарской психушке. (О том, что с ним приключилось, можно лишь догадываться.) Больного трога-

тельно опекает исцелившаяся женушка, а затем на сцене появляется и сам Джулиан (по признанию Бенедикты, в юности оскопленный по приказу отца за связь с ней). Одержимый страстью к умершей Иоланте, магнат упрашивает Чарлока создать ее копию, наделенную искусственным интеллектом, и тот, поломавшись для порядка, принимается за работу. Словно гётевский Вагнер, он вызывает к жизни симпатичного гомункула — робота, начиненного проводками и батарейками, внешне ничем не отличимого от прежней Иоланты и куда более прыткого и разговорчивого, чем, скажем, гофмановская Олимпия из "Песочного человека".

"Чего желать? Сбылась мечта наук. С заветной тайны сорваны покровы..." Однако, в соответствии с традицией, Иоланта-2 сбегает от своих создателей и начинает вести самостоятельное существование — уличной проститутки. После бесплодных поисков Джулиан и Феликс случайно встречают беглянку в соборе Св. Павла. Далее — типично голливудская развязка: погоня, потасовка, гибель Джулиана, свалившегося с Галереи Шепотов, уничтожение не в меру разошедшейся электронно-пластиковой Галатеи. Феликс назначается главой фирмы и, судя по всему, транснациональному монстру скоро придет конец.

Скромно потупившись, замечу: при пересказе даррелловская франкенштейниана кажется куда более увлекательной, нежели при чтении, когда приходится преодолевать необязательные сюжетные ответвления и терпеливо сносить многочисленные диалоги словоохотливых персонажей. Как вы понимаете, смущает меня не гиньольная фабула (из любой развесистой клюквы можно сделать шедевр), а ее топорная обработка.

Завязывая сюжетные узлы и не спеша их развязывать, автор слишком долго вынуждает читателя двигаться на ощупь и не дает ему ни малейшего ориентира или приманки, способной разжечь любопытство и поддержать интерес к чтению; между эпизодами порой зияют ничем не оправданные смысловые разрывы; внутренняя логика изображаемых событий приносится в жертву дешевым мелодраматическим эффектам; поступки героев зачастую лишены не только психологической убедительности, но и сюжетной мотивировки. Сюжет, без особой нужды отягченный громоздкими эссеистическими вставками, периодически буксует: герои то и дело разражаются длиннющими монологами — настоящими лекциями, не имеющими отношения к делу и никак не работающими на развитие действия: об архитектуре, о секретах бальзамирования, о психологии игрока в рулетку и т. п. "Он любит поиграть идеями, но, попадая в лирические водовороты, они <...> теряют интеллектуальную энергию"[1], — язвил в своей рецензии на "Nunqam" Энтони Бёрджесс, назвавший Даррелла "легковесным развлекателем, наделенным поэтическим даром; певцом, исполняющим остроумно-глуповатые непристойности в сопровождении вагнерианского оркестра"[2].

Кстати, стихотворные вкрапления (особенно в первой книге, в превосходном переводе Валерия Минушина) и впрямь хороши:

Можешь, Боже, забрать свою
искру,
Я расстанусь с ней без вопроса,
Оставь лишь способность
выдать струю
Словесного поноса.

1. A. Burgess. Durrell and the Homunculi // Saturday Review. 1970, March, 21, p. 41.
2. Ibid., p. 30.

Моим книгам плевать на ушаты грязи,
Моей славе не будет сноса
Пока я смогу выдать струю
Словесного поноса...

Я не мог не привести хулиганскую "Издательскую застольную", исполненную героями в начале "Tunc", — не выражает ли она самоощущение Даррелла эпохи "Бунта Афродиты"?

Впрочем, мне чужд разоблачительный пафос — "А был ли мальчик?", — с которым Бёрджесс и другие англоязычные рецензенты накинулись на автора "Бунта Афродиты", но трудно не согласиться с тем, что даррелловской дилогии, претендовавшей, видимо, на синтез высоколобого модернизма с остросюжетным чтивом, не хватает ни "интеллектуальной энергии", ни драматического напряжения, ни композиционной слаженности.

"Как всегда, я пытался идти от абсурдного к возвышенному", — писал Даррелл в послесловии к "Nunqam". Похоже, что в "Бунте Афродиты" он все же пошел "другим путем" — от абсурдного к банальному.

Николай Мельников

Встреча через годы

Жан Маре *Непостижимый Жан Кокто* / Перев. с франц. Е. Турышевой — М.: Текст, 2003

Жан Маре написал книгу о Жане Кокто — своем друге, учителе, спутнике жизни, и эта книга переведена на русский. Что ж такого? Сколько всего выходит сейчас, сколько переводится. И все же что-то невероятное есть в реальном существовании этой книги. Словно черная ласточка — знакомая эмблема издательства "Текст" — принесла мистическую весть из другого мира, весть ожидаемую, но в которую именно поэтому трудно верится.

Больше сорока лет, как нет на свете поэта, художника, режиссера, мистификатора Жана Кокто. Несколько лет назад не стало Жана Маре. И тот, и другой — легенда.

Легенда Жана Кокто только сейчас достигает наших берегов[1]. Совсем недавно пришли к нам его пьесы, стихи, статьи, фильмы, пришли спустя десятилетия после смерти автора, когда многое из него растаскано, разобрано по частям другими и оттого кажется уже где-то виденным, слышанным.

Что нам было доступно? Фильм "Орфей", оглушавший печальной и зловещей поэзией, соблазнявший тонким и ядовитым юмором и чудесами съемки, сотворенными самыми примитивными средствами. Вот руки в магических перчатках вскрывают поверхность зеркала, которое — дверь в мир иной ("зеркала — это двери, через которые входит и выходит смерть"). Ох, эти перчатки, от вида которых сердце обрывалось в сладком ужасе! Сколько в них одних было тайны: без них сквозь волшебное стекло на тот свет — никак! И невдомек счастливым посетителям заветного кинотеатра "Иллюзион" — только там, а не в широком прокате шел сюрреалистический, а следовательно чуждый нормальному зрителю "Орфей", — что перчатки лишь вынужденная хитрость: руки Орфея-Маре входят в тазик с ядовитой ртутью, имитирующей амальгаму. Так-то вот жили без компьютерной графики. Обходились!

1. В последнее время изданы "Петух и арлекин" — М.: Прест, 2000; "Тяжесть Бытия" — СПб.: Азбука-классика, 2003; трехтомник — М.: Аграф, 2001-5 (3-й т. в печати).

Настоящая легенда Кокто в России только начинается — что ж делать, отстали!

А вот Жан Маре — другая история.

День в начале весны. Март? Апрель? Толпа вываливает из черного зала на улицу. Как светит солнце! Как пахнет ветер! Никогда, никогда еще такого не было. Что-что? Это папа что-то говорит мне. Я не понимаю, не слышу. Перед глазами по-прежнему по пояс голый граф Монте-Кристо, идущий по одноименному острову, и он же, затянутый в шелковый с разводами длинно-полый халат, щеголяющий тонкой талией и невероятными плечами. Мне восемь. Я влюблена впервые. И с максимальной интенсивностью.

Спустя несколько лет, когда раны переходного возраста делались несовместимыми с жизнью и назойливо повторялась мысль о спичках: наотламывать головок, настоять в воде да и выпить — и делу конец, одно удерживало, а как же Жан Маре в халате? Это что же, я его больше не увижу? Э, нет, так не пойдет.

Рецензент потому позволяет себе столь личные мотивы, что точно знает: он не одинок.

На одиннадцати панцирных сетках взлетают под потолок одиннадцать неприбранных девочек. Мелькают вверх-вниз разноцветные трусы, майки, ночные рубашки, выплясывают в экстазе простоватые хлопковые носки. Палата пионерлагеря разделилась: часть истошно орет: "Фи-лип! Фи-лип!" Другая дружно ревет по слогам: "Ма-ре! Ма-ре!" Ничего, вожатая с нами еще разберется. Я воплю: "Маре!" Справедливости ради надо сказать, что Жерара Филипа я пока ни разу не видела. Роман с ним еще впереди. Несколько десятилетий наши женщины делились на филиппинок и маренисток. Совмещать умудрялись немногие.

И вот — с ласточкой! — нам весть от нашей любви, долгожданное письмо, голос самого героя, а не дублера. Вдобавок эту книгу, посвященную глубокой душевной привязанности, вполне можно считать письмом любовным. Ура! Мы дождались, нам перепало!

Жан Маре сразу признается: он не писатель. Что с того. Мы это и так знали, и любим мы его не за это. Книга "Непостижимый Жан Кокто" — проявление любви и дань дружбе, недаром ей предшествует эпиграф из Альбера Камю: "О человеке можно судить по преданности его друзей". Жан Маре рассказывает о том, как работал Кокто, как он умел дружить и с каким благородством прощал обиды даже в тех случаях, когда, по мнению автора, делать этого не следовало. Вовсе не любитель эпатажа, как выходило по некоторым другим воспоминаниям, а свободный и раскрепощающий других человек предстает перед нами на страницах книги Маре: "...всем своим творчеством Жан Кокто разрушил мир условностей и привычек, мир страхов и опасений. Каждое из его новшеств было фейерверком надежды, рассыпавшимся в небе, которое посредственность людей сделала безнадежно пустым".

Маре бережно и восторженно относится к поэтическому миру Кокто. Скрытые и явные цитаты из поэта рассыпаны по всей книге. "11 октября 1963 года Жан Кокто прошел сквозь зеркало. Я убит," — пишет Жан Маре. А вот говорит сам Кокто: "Я поверяю вам тайну тайн. Зеркала — это двери, через которые входит и выходит Смерть. Не говорите этого никому. Впрочем, если вы всю жизнь будете смотреться в зеркало, вы увидите, как Смерть работает, подобно пчелам в стеклянном улье".

Преклоняясь перед поэтом и поэзией, Маре произносит по

этому поводу слова почти еретические: "Я смею утверждать, что истинные поэты не нуждаются ни в школах, ни в церквах, ни даже в академиях. Они принадлежат другому миру и оказывают нам неслыханную честь, живя среди нас, нося перчатки, галстук, маску с тем, чтобы, растворившись в толпе, не дать нам возможности разглядеть в них божественную сторону, отличающую их от нас".

Автор бывает несколько расплывчат в своих рассуждениях или, напротив, чересчур сосредоточен на отражении враждебных выпадов против Кокто, которые в свое время несомненно задевали, а теперь представляются скучноватым частным казусом, не увлекающим читателя, во всяком случае иностранного. Тем радостнее натолкнуться на живую деталь, говорящую о поэте больше, чем любые отвлеченные речи: "Всем известно, что ящерица — одно из самых пугливых существ. Так вот, мне довелось наблюдать, как ящерицы взбирались по ноге Жана Кокто и позволяли гладить себя по голове тросточкой".

С большим юмором Жан Маре рассказывает о том, как Кокто работал на него в качестве литературного негра. Актер признается, что поэт с удовольствием предоставлял прессе умные ответы, которые Маре потом выдавал за свои. Тут, может быть, немножко не хватает нужного тона переводу: Маре искренне потешается над самим собой и своей готовностью "надувать щеки", а переводчик говорит об этом излишне серьезными словами.

В книгу включен также текст моноспектакля по произведениям Жана Кокто. Спектакль этот был задуман и осуществлен Жаном Маре и Жан-Люком Тардье к 20-й годовщине со дня смерти поэта и шел в парижском театре "Ателье". Вот его начало: "У меня для тебя важная и печальная новость: я умер." А его общий тон: "Король умер. Да здравствует король!"

И, разумеется, подобно любому мемуаристу — даже желающему остаться в тени, как в данном случае Жан Маре, — автор поневоле проговаривается о себе. "Для меня, как говорится, пришла пора. Старость стоит у порога, и моя дверь широко распахнута перед ней. И сейчас я, по крайней мере, знаю одно: слава — ничто по сравнению с дружбой и любовью. Единственную истинную славу дает нам любовь, и нельзя создать ничего стоящего, прекрасного и полезного без этого чувства, включающего как понимание, так и терпимость. Да, все достигается благодаря взаимопониманию. Настолько, что я, человек совершенно далекий от политики, знаю, что лишь одна причина могла бы заставить меня встать в ряды борцов, это — расизм. У всех у нас кровь одного цвета, и, так же как Жан Кокто, я говорю, что ненавижу только ненависть".

В фильме "Парижские тайны" один из героев произносит фразу, которая, перекликаясь с этими словами, удивительно подходит всем образам, сотворенным Жаном Маре, и хоть отчасти объясняет нам, что же мы в нем так неистово полюбили: "Если в мире чего и не хватает, так вовсе не ума, а смелости и доброты".

Наталья Ванханен

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Ларошфуко Ф. де. Максимы / Лабрюйер Ж. де. Б Характеры, или Нравы нынешнего века / Сент-Эвремон Ш. де. Избранные беседы / Вовенарг Л. де. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы / Шамфор Н. Максимы и мысли / Сост., вступит. ст. и примеч. М. С. Неклюдовой. — М.: АСТ; НФ "Пушкинская библиотека", 2004. — 796 с. — 5000 экз. (п)

Французских моралистов XVII-XVIII вв. у нас издавали не так уж мало, но не всех и не всегда так, как должно. Паскаля или Вовенарга выпускают иногда даже маленькими книжечками в бумажных обложках с тематическим подбором — "О душе", "О теле", "О морали" и проч. В таких случаях моралисты вырываются из своей эпохи и подаются как авторы "ста полезных советов" на все времена. Между тем они писали "портреты человеческого сердца" в строгом соответствии с представлениями своего времени, которые емко и тонко описаны в предисловии М. С. Неклюдовой. Моралисты часто говорили об "анатомии" нравов или души, и отсюда многие свойства их письма: исследование человеческих качеств без сведéния в строго последовательную систему; демонстрация их, словно на театральных подмостках или на анатомическом театре; выработка словаря для передачи оттенков чувств... Добавим, что в том вошли никогда не переводившиеся на русский язык "Избранные беседы" Сент-Эвремона и новый перевод "Максим" Ларошфуко.

Престовиц К. Страна-изгой. Односторонняя полнота Америки и крах благих намерений / Пер. с англ. А. Кириллова. — СПб.: Амфора, 2005. — 606 с. — (Новая Эврика). 5000 экз. (п)

Очередной американский автор пытается ответить на вопрос: "Почему все ненавидят Америку?" Карл Престовиц — не левак вроде Майкла Мура, он матерый консерватор, входил в правительство и представлял США в разных международных организациях. Он подробно рассматривает каждый упрек, который выдвигают в адрес Соединенных Штатов, оценивает и выносит вердикт: где претензии несправедливы, а где к ним стоит прислушаться. Добавим, что в отличие от большинства критиков Америки, Престовиц пишет не только о внешней политике США, но также об экономике и экологии, и, например, Киотскому протоколу отведено столько же места, сколько войне в Ираке. Общий итог книги: мы (то есть США), конечно, не всегда правы, но и другие не лучше. В общем, так держать, хотя курс и придется немного подкорректировать.

Урбан М. Семь храмов: Роман / Пер. с чеш. И. Безруковой, С. Сковрида. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2005. — 432 с. 5100 экз. (п)

Страшный-престрашный готический роман, действие которого разворачивается на улицах современной Праги. Недоучившийся историк и отставной полицейский, скрывающийся под кафкианским псевдонимом К., шатается по чешской столице. А вокруг происходят жуткие убийства и непонятные происшест-

вия. То отставную работницу муниципалитета найдут повешенной на столбе, то обнаружат на флагштоке около конгресс-центра отрезанные ноги пропавшего архитектора. Другому архитектору повезло больше: его всегонавсего подвесили за ногу к церковному колоколу. Еще К. посещают видения: он может наблюдать за разными ужасными событиями из прежних времен, например, за тем, как безбожники-гуситы в XV в. рушили пражские соборы. Уж не сам ли город стал совершать эти убийства в отместку за дебоши праотцов?

Роудс Д. Антропология и сто других историй / Пер. с англ. Е. Андреевской, Ю. Клименова, О. Лапонина и др. — М.: Эксмо, 2004. — 176 с. — (Парад уродов) 3000 экз. (п)

101 история про 101 девушку Дэна Роудса. В основном про то, как они его бросали. Или погибали самым нелепым образом. Или самым диковинным способом объяснялись ему в любви. Например, одна девушка Дэна свернула себе шею, и он заказал из нее чучело. Другая девушка так любила веселить иностранцев, что однажды вскочила на комнатный вентилятор, но не удержалась и вылетела в окно. А третья очень любила выпиливать фигурки из дерева и, обнимая ночью героя, сладостно шептала ему на ухо: "Буратино!" Роудс — это Хармс XXI века, скрестивший детские страшилки с анекдотами про блондинок. Кстати, в каждой из историй Роудса ровно 101 слово.

Кондон Р. Маньчжурский кандидат: Роман / Пер. с англ. Б. Жужунавы. — СПб.: Ред Фиш, Амфора, 2005. — 511 с. 4000 экз. (п)

Настоящий реликт холодной войны — написанный в 1959 году роман о промывании мозгов. Американский сержант Реймонд Шоу во время войны в Корее попал в плен к коммунистам. Китайский доктор-изувер Йен Ло, последователь профессора Павлова, зомбировал Реймонда и превратил его в хорошо законспирированного убийцу. Вернувшись из плена домой, Реймонд ведет размеренный образ жизни, работает в газете, а попутно убивает по приказу из Кремля. Идеальный убийца — ведь у зомби не бывает мук совести, а значит, он не может допустить ошибку. Вообще-то роман Ричарда Кондона в большой мере пародийный; сам автор к историям про зомби относится скорее иронически. Тем не менее "Маньчжурский кандидат" послужил основой для двух экранизаций и в свое время много способствовал укреплению мифа о "промывании мозгов".

Оппель К. Серебряное крыло: Роман / Пер. с англ. О. Жаковой. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — 272 с. 5000 экз. (п)

Отличная канадская сказка про летучих мышей. В день великой битвы птиц и зверей летучие мыши не присоединились ни к тем, ни к другим. И за это на них наложили страшное проклятие: под страхом смерти ни одна мышь не имеет права смотреть на солнце. За соблюдением закона наблюдают хищные совы. Но есть пророчество: однажды проклятие падет. Юный и любопытный летучий мышонок Шейд готов рисковать жизнью, чтобы приблизить момент освобождения для своего племени. Книга Кеннета Оппеля — это история про отверженных. Летучие мыши — раса, от которой весь животный мир не только отвернулся, но и готов истребить их окончательно. Хотя и среди мышей есть свои парии: это мыши, окольцованные людьми. Считается, что кольца приносят несчастье. А может, наоборот?

Великобритания

Одинокие клоны

Кадзуо Исигуро можно без преувеличения назвать одним из самых именитых современных английских прозаиков. В свои 50 лет он лауреат нескольких национальных премий, в том числе престижного Букера, кавалер ордена Британской империи и французского ордена "За заслуги в области искусства и литературы". Портрет Исигуро одно время украшал лондонскую резиденцию премьер-министра, а во время визита японского императора писатель присутствовал в качестве почетного гостя на правительственном банкете.

Недавно в издательстве "Фабер" появился последний, шестой по счету роман писателя "Не отпускай меня", который моментально привлек внимание критики (перевод будет опубликован в "ИЛ").

Главная героиня книги, 31-летняя Кэти, вспоминает о годах, проведенных в школе-интернате в английской глубинке. Читатель не сразу догадывается, что речь идет не об обычных сиротах, а о клонах, чьи органы будут пересажены богатым пациентам. Рано или поздно Кэти и ее приятелей вызовут на операцию. Но подобные мрачные мысли лишь изредка тревожат 15-летних подростков, чувствующих себя вполне уютно в том замкнутом мирке, который создала для них школа. Клонов не пичкают знаниями, они вволю занимаются спортом — здоровье залог их будущей пригодности, — читают книжки, увлекаются художественным творчеством. Однако их эмоциональная сфера крайне бедна, что, по сути, и отвечает задаче интерната: вырастить воспитанников покорными, равнодушно относящимися к предрешенной участи. Едва ли не единственное чувство, которое дозволено им испытывать, — это страх перед открывающимся за воротами интерната миром, с которым им, однако, придется познакомиться, когда они станут взрослыми.

Хотя некоторые критики уже поспешили причислить книгу к жанру научной фантастики, автор считает такую оценку крайне упрощенной. "Меня больше интересовало другое. Мироощущение моих персонажей, поиск смысла жизни. До какой степени они вольны распоряжаться собственной судьбой? Что для них главное, а что второстепенное? Эти вопросы касаются не только Кэти и ее приятелей, но и каждого из нас, просто героям книги отпущено меньше времени для раздумий".

Волшебный полет Питера Пэна

К концу этого года в книжных магазинах Великобритании появится необычная новинка — продолжение сказки о Питере Пэне. Инициатива принадлежит попечителям лондонской детской больницы, которой Джеймс Барри завещал авторские права на свою знаменитую пьесу. Таким необычным образом лечебница хочет поправить свое финансовое положение, а также — пусть и с небольшим опозданием — отметить столетний юбилей "Питера Пэна", первая постановка которого состоялась в Лондоне в 1904 году.

Кто станет автором новой сказки о приключениях "вечного" мальчика и его друзей, решит жюри. Но уже известно, что в проекте не примут участие трое ведущих английских детских писателей: Ф. Пулман, Ж. Уилсон и Дж. Роулинг. Пулман, в частности, объяснил свой отказ тем, что ему претит сама мысль писать по заказу.

Что же до прочих кандидатов, пожелавших испытать свои силы и посоревноваться в мастерстве с Барри, то им в качестве отправной точки предложено использовать небольшое приложение к повести "Питер и Венди", написанное в 1911 году. В финальной

Джеймс Барри

главе Питер забирает с собой в чудесную страну Никогданию дочь Венди, а затем, когда девочка подрастает, теряет к ней интерес и прилетает уже за внучкой.

Канада

Новая канадская классика

Какие книги считать классикой? На этот счет вот уже двадцать лет с завидным упорством ведут спор канадские литературоведы и критики. Впрочем, их дискуссия касается в основном проблем политкорректности — например, некоторые из них считают, что в когорте "живых и мертвых классиков" явно не хватает женщин и представителей меньшинств.

Руководители канадского отделения знаменитого издательства "Пингвин" смотрят на вещи более традиционно. Для них книгой, выдержавшей испытание временем, считается та, которая переиздается как минимум на протяжении двадцати лет. С 1970 года издательство выпускает серию "Современная классика". На сегодняшний день она включает 175 наименований, среди них — романы И. Во, Д. Г. Лоуренса, С. Беллоу, Ф. С. Фицджеральда, Д. Стейнбека. Книги издаются в красивой серебристой обложке, каждая из них снабжена обширным предисловием именитого критика. Единственный недостаток серии — отсутствие канадских авторов.

Недавно "Пингвин" взялся исправить это упущение, объявив о зачислении в "Современную классику" девяти произведений четырех канадцев.

Столь высокой оценки удостоились крупнейшие прозаики страны: Элис Манро, Мордекай Рихлер, Робертсон Дэвис и Тимоти Финдли. Выход всех девяти книг приурочен к отмечаемому 1 июля национальному празднику — Дню Канады.

Маргарет Этвуд — изобретательница

Видимо, устав от поездок по миру и внимания публики, лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд решила облегчить себе жизнь, придумав устройство, которое позволяет давать автографы, не выходя из дома. С его помощью канадская писательница намерена подписывать книги не только соотечественникам, но и поклонникам ее творчества, живущим за границей. Идея, по словам Этвуд, пришла ей в голову прошлой весной, когда она представляла в Великобритании свой нашумевший роман "Орикс и Коростель" — антиутопию, рисующую последние дни нашей цивилизации.

Приспособление, которое изобрела Этвуд, будет действовать следующим образом: читатель помещает книгу в специальную приставку, которая соединена с компьютером, писательница нажимает кнопку, и на первой странице появляется факсимильное посвящение, выведенное электронным пером.

Изобретательница считает, что электронный раздатчик автографов может оказаться весьма полезным начинающим авторам, чтобы наладить связь с читателями, не прибегая к помощи агентов.

Франция

Фотография и оккультизм

В Париже в Европейском доме фотографии прошла необычная выставка "Третий глаз. Фотография и оккультизм", на которой были представлены 250 снимков конца XIX — первой трети XX века из частных коллекций, государственных собраний и архивов оккультных обществ.

Призраки, духи, парящие в воздухе тела и предметы, светящиеся ауры, излучаемые людьми флюиды — фотографии, запечатлевшие все эти паранормальные явления, правильнее было бы отнести к области мистификаций. Впрочем, ни французские, ни американские кураторы (в подготовке экспозиции принимал участие нью-йоркский Метрополитен-музей) не ставили перед собой задачу разоблачить шарлатанов прошлого. Их цель — продемонстрировать способность фотографов создавать мир иллюзий.

Неизвестный автор (Германия). Медиум. Около 1900 г.

"Спиритические" снимки появились в 60-х годах XIX века в США, а десятилетие спустя — в

Эжен Тьебо (Франция). Анри Робен и призрак. Рекламная фотография. 1863 г.

Европе. "Фотография — это средство, которым воспользовались Духи для того, чтобы дать нам неопровержимые доказательства своего существования", — писал неизвестный оккультист. В первом разделе выставки собраны работы медиумов, которые якобы обладали сверхъестественным умением "материализовывать" души умерших. Во втором демонстрируются изображения флюидов — "психических токов", которые, по представлению спиритов, излучают люди. Согласно одной из оккультных теорий, флюиды, действуя на фотографическую пластинку, оставляют отпечаток, соответствующий эмоциям человека, его мыслям и даже мечтам. Разумеется, критики оккультизма уже в те времена прекрасно понимали, что появление необычных пятен на фотоснимках имеет вполне тривиальное объяснение и связано с несовершенством техники фотодела, а порой и обычной неаккуратностью фотографа.

Завершают экспозицию изображения медиумов — как правило, они запечатлены во время спиритических сеансов.

К открытию выставки издательство "Галлимар" выпустило каталог, в который наряду с фотографиями вошли статьи искусствоведов, психологов и социологов.

"Иностранка" по-французски

В одном из последних номеров "Магазин литтерер" опубликовал интервью с Венсаном Жори — главным редактором журнала "Трансфюж", на сегодняшний день единственного издания во Франции, полностью посвященного иностранной литературе.

Профессиональный историк Жори некоторое время работал журналистом, прежде чем решился испытать себя на новом поприще. "Трансфюж" был основан — при содействии мецената из мира кино — в начале 2004 года. Сейчас он выходит раз в три месяца тиражом 3 тысячи экземпляров и распространяется только по библиотекам.

Задача журнала — знакомить с новинками переводной литературы, число которых в последнее время во Франции увеличилось. Спектр охвата весьма широк — от Голландии и Ирана до Узбекистана и Кубы. Журнал публикует критику, обзоры, интервью. Регулярно в нем появляются перепечатки из английского "Таймс литтерери сапплимент", с которым редакция установила партнерские отношения. Часть каждого номера отдана под тематические подборки, посвященные либо национальным литературам (китайской, польской, английской, русской), либо крупным современным писателям (Амосу Озу, Норману Мейлеру, Филипу Роту). Сложился у "Трансфюж" и круг собственных авторов — это философы, лингвисты, историки и начинающие литераторы.

Судя по реакции критики, похвально отозвавшейся как о содержании, так и о качестве материалов, идея журнала оправдала себя. Однако Жори не намерен останавливаться на достигнутом. В его ближайших планах — наладить диалог с писателями, которые могли бы поделиться с читателями своими суждениями о литературном процессе.

Свен Тюрк (Дания). Летающий стол. Около 1953 г.

По материалам газет "Гардиан" [Великобритания], "Глоб энд мейл" [Канада], еженедельника "Кензен литтерер" [Франция] и журнала "Магазин литтерер" [Франция].

Мишель Фейбер
Michel Faber
[р. 1963]. Английский писатель голландского происхождения. Лауреат нескольких национальных премий.

Автор романов *Побудь в моей шкуре* [*Under the Skin*, 2000; рус. перев. 2003], *Алый лепесток* [*Crimson Petal and the White*, 2002] и др.
Публикуемые рассказы *Sheep* и *Nina's Hand* взяты из сборника *Кажется, дождь собирается* [*Some Rain Must Fall*. Edinburgh: Canongate Books, 1998].

Павел Хюлле
Paweł Huelle
[р. 1957].
Польский писатель.

Автор сборников рассказов *Первая любовь* [*Pierwsza miłość*, 1996], *Другие истории* [*Inne historie*, 1999]. В *ИЛ* были опубликованы его рассказы из сборника *Рассказы на время переезда* [*Opowiadania na czas przeprowadzki*, 1994, № 11], роман *Вайзер Давидек* [*Weiser Dawidek*, 2000, № 5], повесть *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу* [*"Mercedes-Benz". Z listów do Hrabala*, 2004, № 1].
Публикуемый роман печатается по изданию *Castorp* [Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004].

Альдо Нове
Aldo Nove
[р. 1967]. Итальянский поэт и прозаик, главный редактор журнала *Поэзия*, лидер рок-группы *Христианская демократия*.

Автор сборников стихов *Возвращаясь в твою кровь* [*Tornando nel tuo sangue*, 1989], *Луна, увиденная из Виджу* [*La luna vista di Viggiu*, 1994], книги рассказов *Вубинда и другие истории без счастливого конца* [*Woobinda e altre storie senza lieto fine*, 1996]. В *ИЛ* [2000, № 8] печатались его рассказы из сборника *Супервубинда* [*Superwoobinda*]. Публикуемые рассказы взяты из сборника *Самый большой мертвый кит в Ломбардии* [*La pire grande balena morta della Lombardia*. Torino: Einaudi, 2004].

Георгос Сеферис
[Георгиос Сефериадис]
Giorgos Seferis
[1900–1971]. Греческий поэт, лауреат Нобелевской премии [1963].

Автор книг стихов *Поворот* [*Στροφή*, 1931], *Водоем* [*Η Στέρνα*, 1932], *Роман-миф* [*Μυθιστόρημα*, 1935], *Гимнопедия* [*Γυμνοπαιδία*, 1936], *Тетрадь упражнений* [*Τετράδιο γυμνασμάτων*, 1940], *Судовой журнал-I* [*Ημερολόγιο καταστρώματος, Α'*, 1940], *Судовой журнал-II* [*Ημερολόγιο καταστρώματος, Β'*, 1944], *"Кихли"* [*"Κίχλη"*, 1947], *Судовой журнал-III* [*Ημερολόγιο καταστρώματος, Γ'*, 1955], *Три сокровенных поэмы* [*Τρία κρυφά ποιήματα*, 1966], *Стихотворения* [*Ποιήματα*, 1972], романа *Шесть ночей на Акрополе* [*Εξι νύχτες στην Ακρόπολη*, 1974, рус. перев. 2002], а также многочисленных эссе, собранных в трехтомное издание [*Δοκιμές*, 1974].

Ирина Игоревна Ковалева
Филолог-классик, переводчик с греческого и английского языков, критик. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2004].

Автор стихотворных сборников *В прошедшем времени* [2002], *Кукольный ящик* [2002] и *Юбилейный гимн* [2003]. Переводила стихи и прозу Г. Сефериса, К. Кавафиса, стихи О. Элитиса, М. Сахтуриса, Т.С. Элиота и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи Ага Шахида Али [2003, № 1], К. Кавафиса [2004, № 8], Г. Павлопулоса [2005, № 1].

Владимир Владимирович Аристов
[р. 1950]. Поэт, эссеист, прозаик. Лауреат премии им. А. Крученых [1993].

Автор книг стихов *Отдаляясь от этой зимы* [1992], *Частные безумия вещей* [1997], *Реализации* [1998], *Иная река* [2002], *Реставрация скатерти* [2004], романа *Предсказания очевидца* [2004]. Его стихи переводились на французский, английский, немецкий, шведский, итальянский и др. языки. В *ИЛ* опубликована его рецензия *Утверждение ветра* [1996, № 11].

Тамара Константиновна Церетели
Антрополог, сотрудник Института мировой культуры МГУ.

Автор статей о современной литературе, опубликованных в периодических изданиях. В *ИЛ* публикуется впервые.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Илья Валерьянович Кормильцев
[р. 1959]. Поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков.

В его переводе издавались роман Н. Кейва *И узре ослица Ангела Божия*, "малая проза" Дж. Р. Р. Толкиена, рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премии *ИЛ* [1986], лауреат премии польского ПЕН-клуба.

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Е. Анджеевского, М. Хласко, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, К. Филиповича, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Пильха, О. Токарчук и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3-4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7-9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], Т. Конвицкого *Чтиво* [1996, № 1], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1], Е. Пильха *Монолог из норы* [1999, № 1] и др.

Геннадий Петрович Киселев
[р. 1955]. Переводчик с итальянского, лауреат премии им. Цецилии Кин [1996], премии жюри независимых критиков *зоИЛ* [2001], кавалер ордена "За заслуги перед республикой" [Италия], лауреат Государственной премии Министерства культуры Италии за перевод [2004-2005].

Переводчик произведений Т. Ландольфи, А. Савинио, М. Бонтемпелли, И. Кальвино, М. Луци, Л. Малербы, У. Эко, А. Моравиа, А. Пикколомини, А. Барикко, Д. Буццати, Дж. Томази ди Лампедузы, А. Нове и др. Составитель антологий итальянской прозы XX века, сборника рассказов Т. Ландольфи *Жена Гоголя и другие истории* [1999]. Автор учебных пособий. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Михаил Леонович Гаспаров
[р. 1935]. Филолог, переводчик, академик РАН. Лауреат Государственной премии РФ [1995], премий *ИЛлюминатор* [1995], малый Букер [1996], Пушкинской премии РАН [2004] и др.

Автор книг и статей по античной литературе, стихосложению и поэтике, в том числе сборника *Экспериментальные переводы* [2003]. Переводил Пиндара, Овидия, латинских вагантов, *Неистового Роланда* Ариосто, басни Эзопа и др. В *ИЛ* в его переводе печатались стихи Г. Гейма [1989, № 2], *Три тайные поэмы* Г. Сефериса [совместно с Е. И. Светличной; 1996, № 7].

Евгения Ивановна Светличная
Литературовед, переводчик, кандидат филологических наук.

В *ИЛ* в ее переводе печатались *Три тайные поэмы* Г. Сефериса [совместно с М. Л. Гаспаровым; 1996, № 7].

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дери [1997].

В его переводе были опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Л. Немета, *Старомодные истории* М. Сабо, *Градооснователь* и *Соучастник* Д. Конрада, повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада *Тяжелый день* [1991, № 4], дневники *Шандора Мараи* [1993, № 12], роман С. Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], главы из романа Д. Ийеша *Гунны в Париже* [2003, № 7], стихи Д. Петри [1998, № 10], И. Оравца [2001, № 3], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2].

Натэлла Всеволодовна Горская
Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда, Ш. Каняди, Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, И. Арифа, Я. Пилински, К. Ковича и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи Ш. Каняди [2000, № 11], А. Йожефа [2004, № 5] и др.

Олег Константинович Россиянов
[р. 1921]. Переводчик с венгерского, литературовед, доктор филологических наук. Кавалер ордена *Малый крест Венгерской Республики* [1997].

Переводил романы и повести Т. Дери, М. Йокаи, Д. Костолани, Д. Круди, К. Миксата, М. Сабо и др., а также стихи М. Бабича, Ш. Вёреша, Д. Ийеша, А. Тота и др. Автор книг *Творчество Эндре Ади. Трагедия и романтика* [1967], *Реализм в новой венгерской прозе* [1979], *Два века венгерской литературы* [1997] и многих статей о венгерской литературе. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Обладатель диплома Британского Совета за двухтомник А. Гарнера [1997].

Автор стихотворных сборников *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], а также книг для детей: *Последний день учения* [1989], *Ракушки* [2001] и др. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Честертона, Г. Лонгфелло, Р. Бернса, П. Ронсара, П. Верлена, Э. Фарджен, А. Милна и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Г. Честертона, Дж. Чосера, Д. Паркер, В. Набокова, К. Ковича, Р. Фейнлайт и др.

Татьяна Александровна Бек
[1949—2005]. Поэт, критик, эссеист. Лауреат поэтических премий года журналов *Звезда* и *Знамя*, а также Всероссийской премии Союза журналистов *Золотой гонг*.

Автор семи стихотворных книг [последняя — *Сага с помарками*, 2004], а также сборника мемуаров, эссе и бесед *До свидания, алфавит* [2003]. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи М. Башевой [1997, № 8], Ш. Каняди [1991, № 8], послесловие к повести Н. Гинзбург *Дорога в город* [2005, № 2].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины итальянского художника Джорджо де Кирико [1888–1978] *Философ* [1924].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.05.2005
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1117.
Тираж 8300 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

В следующем номере:

Как я стал идиотом – роман двадцатитрехлетнего французского писателя Мартена Пажа о молодом человеке, мечтавшем быть "как все". Переводчик – **Ирина Кузнецова**.

В поисках Клингзора – удостоенный премии "Библиотека Бреве" роман известного мексиканского писателя Хорхе Вольпи, где жизненные перипетии молодого американского физика причудливо вплетаются в сложные и жестокие взаимоотношения немецкой научной элиты времен нацизма, разгрома Германии, Нюрнбергского процесса. Переводчик – **Николай Жаров**.

Лауреат Нобелевской премии 2004 года Эльфрида Елинек в эссе ***Досужими путями мышления*** рассуждает о месте писателя в современном обществе, строя свою аргументацию на изысканной словесной игре и превращая в метафоры картинки нашей бытовой повседневности. Переводчик – **Евгения Белорусец**.

В рубрике **"Полемика" В. Вебер** и **Д. А. Пригов** дискутируют о современной русской литературе, оценивая ее нынешнее состояние и то, как она воспринимается западным читателем. Два взгляда – две совершенно разные картины.

---

[7] 2005

РОМАНЫ МАРТЕНА ПАЖА "КАК Я СТАЛ ИДИОТОМ" И ХОРХЕ ВОЛЬПИ "В ПОИСКАХ КЛИНГЗОРА"/ СТИХИ РЕЙМОНДА КАРВЕРА И ХОРХЕ ГИЛЬЕНА / АВСТРИЙСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ЭЛЬФРИДА ЕЛИНЕК В РУБРИКЕ "НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ" / СКАЗКИ И ИСТОРИИ ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА / ВАЛЬДЕМАР ВЕБЕР И Д. А. ПРИГОВ В РУБРИКЕ "ПОЛЕМИКА" / ЭССЕ ТАТЬЯНЫ ВЕНЕДИКТОВОЙ "КУЛЬТУРА СПОРА" УСТАЛА ОТ СЕБЯ?

Журнал ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО **ИНОСТРАНКА**

ИНДЕКС 70394

ВСЕ, ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ СЕГОДНЯ

Лучшие авторы – в лучших переводах

Серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №3, 6-288